



Ольков Николай Максимович

с.Бердюжье (Тюменская область)

Родился 24 августа 1946 года в селе Афонькино Казанского района Тюменской области. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького Союза писателей СССР в 1976 году. Работал в районных и областных газетах нескольких регионов страны. Возглавлял районный отдел культуры. Был предпринимателем. Построил православную церковь в селе Бердюжье Тюменской области, где сейчас живёт и работает.

Автор девяти романов, четырнадцати повестей и около пятидесяти рассказов.

Член Союза журналистов СССР и России, член Союза писателей России.

Ещё с вечера захороводило, загуляли разные ветры – то южный полыхнёт с остатками летнего зноя, то вдруг повернётся и закрутит сиверок с невесть откуда взявшейся прохладой, поднимают пыль, выметаю улицы, ломают косматые ветки разнежившихся тополей, валят дощатые заборы. Августовский туман тяжело опустился на озеро, только ветер не дал ему отдыха, стал приподнимать от воды, рвал на куски и разбрасывал по окрестностям, заодно потревожил расположившихся на привычный ночлег заживевших гусей, они тревожно подняли гордые головы на длинных шеях, словно всматриваясь в знакомые берега и ища у них объяснения. Природа разволновалась. Коровы, подкормленные и подоенные хозяйками, уже завалились на свои крутые бока и вынули лакомую свою жвачку, но зашевелились, тяжело переваливаясь, вставали и издавали протяжные жалобные мычания. Воробьи забились под крыши сараев и наохлились, скворцы загоняли свои выводки куда подальше от стихии, и только ласточка, взмыв высоко к небесам, щебетала что-то тревожное, то ли собирая семью, то ли просто предупреждая друзей.

Солнце уже село, и только верхний его фитилёк снисходительно освещал большое село, красиво разместившееся на взметнувшемся меж озёр языке нетронутого ранее чернозёма, выходящем из высокого взгорья и потерявшемся в буйных травах поймы широкой реки. Деревянные дома, крытые шифером, образовывали солидные усадьбы с постройками для скота, банями и гаражами. Оставшиеся с колхозных времён несколько избушек только подчёркивали красоту и современность селения, в них доживали такие же ветхие старики и старухи, бывшие когда-то ударниками и стахановцами. Трёхполосный флаг на бывшем сельсовете, едва видимый в вечерних сумерках, такого напора ветра не выдержал и раскрылся на несколько лоскутков.

Одинокaя машина ворвалась в улицу с большака, резко сбросила скорость и остановилась у сельской администрации. С правой стороны открылась дверца, молодой мужчина лет тридцати, с усами и портфелем, одетый в добротный чёрный костюм с галстуком, по-хозяйски вышел, глянул на флагшток и крикнул водителю:

– Игорь, завтра с утра замени флаг. Хрен его знает, хоть железный вешай, на неделю не хватает.

– Понял, Роман Григорьевич, сделаем.

Роман Григорьевич открыл дверной замок своим ключом, включил свет в коридоре и ещё раз щёлкнул ключами в двери с табличкой «Глава сельской администрации Канаков Р. Г.». Он ещё не остыл после крупного разговора на совещании в районе. Обсуждали подготовку к выборам президента, глава района Треплев сам накануне вернулся из области и был настроен категорически:

– Такого позора, как в прошлый раз, мы допустить не можем, скажу больше: нам этого не простят. Тогда сняли двух глав, до меня очередь не дошла, на процент выше показатель. И мы освободились от некоторых товарищей, которые исподтишка смущали людей и допустили в урнах большой процент за коммунистов и прочих. Предупреждаю: такого быть не должно. Особо по тебе, Канаков. Папаша твой в коммунистических активистах, посади его дома, пусть кактусы растут, а с политикой и без него разберутся.

Роман усмехнулся воспоминаниям, даже улыбнулся: «Папашу дома посадить! Поди, попробуй, он так посадит, что до конца избирательной кампании чесаться будешь».

Выложив все бумаги на стол и спрятав портфель в шкаф, Роман пошёл домой. Он уже привык и не замечал, как толково и складно устроил всё отец Григорий Андреевич, расселив детей вокруг своего родового гнезда, и теперь крестовой дом его был на бугре над всеми тремя сыновними домами, точно так, как и он сам всё оставался старшим и главным в большом семействе.

Григорий Андреевич Канаков, бывший колхозный и совхозный механизатор, потом бригадир полеводческой бригады, был мужиком крепким и рослым, столь с виду суровым, что даже трактористы его опасались. Поговаривали, что в первые годы вся его воспитательная работа сводилась к хряскому удару по шее провинившегося, от чего тот падал, а, отдышавшись, всячески бригадир избегал. Потом Канаков вступил в партию. Агитировали его долго, всё не соглашался, но ходил в библиотеку и дома ночами читал толстые книги Маркса и Ленина, предупредив библиотекаршу, чтобы никому ни звука.

Да и внешне Канаков был мужик завидный: густая шевелюра темно-русых волос, крупные и правильные черты лица, прямой, не очень удобный взгляд серых глаз, видевший самые глубины человеческой натуры, и голос – властный, громкий и жёсткий.

А вот дома для жены своей Матрёны Даниловны не было человека удобней и внимательней. Дрова, ровненько наколотые, всегда грудкой лежали в тёплых сенях, две фляги воды для хозяйства всегда полны. Если надо муки в селяницу принести – сходит и принесёт, двухведёрную кастрюлю заквашенной капусты до слова вынесет на мороз. Во двор Матрёна выходила только корову подоить да малышей накормить-напоить: телят, поросят, ягнят, да и птицу тоже.

Канаков гордился, что родился именно на этом месте, что после войны и гибели отца полтора десятка лет кантовалась семья в завалившемся дедовском ещё тереме, от которого уже не осталось украшений, и лестницу на второй этаж убрали ещё при коллективизации, чтобы не злить партактив. В шестидесятые, когда немного окрепли после войны, выписал передовой колхозник Канаков красного леса через колхоз и срубил крестовой дом, развалив родительские гнилушки.

Дом рубили артельно, помочами, когда собирались все родственники и товарищи, хозяин сразу распределял, кто чем будет заниматься, чтобы не толкались без дела и не мешали друг дружке, как случалось порой на колхозной работе, а каждый бы знал своего напарника или место в сторонке, если работа такая. Жену свою Матрёну с сестрами поставил бревна шкурить, какие ещё остались от каждодневной вечерней работы, эта работа несложная, под штыковой лопатой вся корка с сосны отскакивает. Четыре крепких мужика сочиняли обвязку, укладывали на чурки брёвна–окладники в полобхвата, вымеряли шнуром диагонали и дружно перемещали бревна, чтобы получился правильный угол. Ошибись они хоть на четверть – мука будет потом для строителей, и крышу не свести, как следует, тем более, что мужики уже видели под сараем несколько стопок шифера, а под него крыша должна быть как ельчик. И с полами-потолками потом замаешься, клинья вшивать – позорное дело для путного плотника. Не зря говорили: как бы не клин да не мох, так и плотник бы сдох.

А как окладники врубили, стали примерять бревна, Филипп Киприянович, авторитетный строитель, бегал с «чертой», такое чудное название у приспособы, а без неё не обойтись. Положили бревно на окладник, лес справный, ловко будет паз вырубать, вот и ведёт Филипп

свою двупалую «черту», одним концом по верху окладник копирует, а второй черту проводит на верхнем бревне, да с обеих сторон. Ещё с утра Григорий Андреевич вместе с мастером пошире развели «черту», потому что паз надо вырубать широкий, чтобы стена была толще, не продувалась, не промерзала, в Сибири живём, не на югах. Вот по этой черте и рубят потом паз мужики, сперва поперёк насечки сделают, а потом садятся попарно на бревна, которые тоже на чурках, садятся в концах спиной друг к другу и пошли топорами хлестать. Топоры на круге точены, брусом правлены, волос положи – по обе стороны лезвия свалится. На такую работу самые толковые мужики садятся, потому паз получается, как корытце для холодца, как жёлоб – округлый, чистый, и не вдруг скажешь, что топором рублен. Сошлись спинами рубщики – слезят с бревна, расправляют спины, а другие уже подхватили и на место поставили. Хозяин смотрит: как тут и было, спичку не всунуть, комар нос не подточит. Доволен: потом мох толстым слоем положим – красота!

В новый дом перетащили дедовскую ещё кровать, широкую, хоть вдоль, хоть поперёк ложись, два старинных сундука с носильным барахлом, огромное, в полстены, зеркало, местами облупившееся, но красивое, старинное, с точёными завитушками по всей раме. Столько годков прожили с Матрёной, вроде старались, а детишек всё не было. Сестры Григория заговаривали, что порчена Матрёна и потомства не даст, а если и случится, то непременно уродцы.

– Брось её, Гриша, не будет у тебя семьи.

– Знамо, не будет, порча на ней, да и не в девицах, поди, и взял-то.

– Цыть все, пока по мордам не получили! Про Матрёну худого слова чтоб больше не слышал. А ты, Евдинья, если сама до Проньки все бани спознала, по себе не меряй. Матрёна со мной бабой стала, к тому же после свадьбы. Хотя какая там свадьба, так, одно название. В аккурат с похоронами товарища Сталина совпало. Меня тогда чуть из партии не погнали, дескать, нашёл время для гулянки и услады, когда весь советский народ в великом горе. А я как-то и не подумал, что моя женитьба с политикой спутается.

А в новом доме каждые два года приносила Матрёна по парню, да всё такие здоровые, что кое-как выпрастывались из материнной утробы. А она, Христовая, хоть бы крикнула раз, хоть состонала – верила, что для Гриши великая радость, и тем спасалась. Медичка прямо изумлялась, все бабы орут, мужиков матом кроют, клянутся и близко к этому делу не подпускать, а эта только шепчет, если прислушаться:

– Для тебя, родной мой и единственный, для тебя терплю завещанное Еве, всё снесу, а деток у нас будет полный дом.

Три парня подряд: один в зыбке, другой на руках, а третий за подол держится. Сестры перестали дурить, на очередных крестинах Евдинья подняла стакан с бражкой, поклонилась Матрёне в пояс:

– Прости нас, Матрёна Даниловна, плохое мы про тебя думали, да и говорили мужу твоему, братцу нашему Григорию Андреевичу, не держи зла, а робят рожай, коль Бог даёт.

Григорий кашлянул, следовательно, надо помолчать:

– Бог, может, и даёт, только я тоже соучаствую, потому решаю так, что надо отдохнуть, мать, этих сорванцов подрастить. А там видно будет по жизни, ежели все правильно в партии продумано, то не сей день, так завтра коммунизм наступит, вот тогда большое облегчение получится трудовому человеку, тогда и детей можно родить каждый год по паре, и каждый будет ухожен и обогрет государством.

В семье никто с Григорием Андреевичем не спорил, как не спорили и в совхозе, где он хоть и был на хорошем счету по работе, но начальство не особо привечало, потому что Канаков мог в любое время и на любом собрании выступить и прямо всё назвать, как есть. Парторг с директором как-то об этой его странности говорили, и парторг, окончивший специальную школу КПСС, предположил, что не особо образованный товарищ начитался классиков марксизма-ленинизма, искренне поверил всем партийным документам и сегодня предъявляет ко всем такие требования, какие вычитал в уставе и программе построения коммунизма.

На общесовхозном профсоюзном собрании Канаков прямо говорил о том, о чём матом выражались мужики и бабы на производстве, но молчали при большом начальстве:

– До каких пор скотные дворы будут отдавать на ремонт кавказцам? Видимо, до тех пор, товарищи, пока прокурор не увезёт в «бобике» кого-нибудь из прорабов или мастеров. Это же никуда не годится, фермы промерзают, протекают, а у прораба дом растёт каждый год на троестен в разные стороны.

– Ты тоже, Канаков, второй дом строишь! – крикнул мастер стройучастка Веня Чмокунок.

– Строю, и ещё буду, потому что у меня три сына подходят. Но у меня, Веня, на каждый гвоздь бумажка есть, потому что я при социализме воспитывался, в котором прежде всего учёт. Так, ты мне больше не мешай. – А сам продолжал: – По какому такому праву управляющий центральной фермой и два его бригадира, Попов и Горлов, двойной тракторной тягой подтащили через огороды к своим дворам доброго лесного сена, а телятишкам совхозным шумиху ложат в кормушки? Все эти товарищи коммунисты, но забыли, что коммунисты так не поступают.

Канаков не знал, что точно такое же сено притащили директору и парторгу, потому совершенно искренне обратился к руководству:

– Обращаюсь к руководству, чтобы прекратить это безобразие. Беспартийные товарищи на все это смотрят и видят, и говорят обидные слова: что ни коммунист, тот начальник, что ни начальник, тот вор. Требую: сено вернуть, а товарищей разобрать на партсобрании, чтобы до слез.

Парторг, волнуясь и запинаясь, под тихие смешки в зале пообещал товарищу Канакову, что необходимые меры будут приняты. Когда после собрания вышли на крыльцо, Филипп Киприянович шепнул другу:

– Гриша, ты пошто как дитё малое? Ты разве не видишь, что они все за счёт совхоза живут? Григорий помолчал:

– Пока не вижу, что все. Узнаю – выведу на чистую воду.

– Ладно, пошли ко мне, у меня Варвара с ордой уехала к сестре в район, посидим. – Старый друг не стал напоминать, что Гришу давно уже по-за глаза «Чистой Водой» зовут в селе. Хозяин достал трехлитровую банку браги, ядрёной, отстоявшейся, Варвара у Филиппа мастерица что по дому, что по огороду, что в банки закатать, что в бочоночке ещё бабкином бражку поставить на пшенице.

– Мастерица, слов нет. А помнишь, когда брагу слили последнюю из бочонка, ты пшеницу на ограду вывалил, а куры наклевались...

Было такое. Размокшая пшеница сразу привлекла петуха, он подбежал к корытцу, долбанул носом, потом ещё прострочил в нескольких местах, поднял голову кверху и издал мощный призывный клич. Куры – народ воспитанный, сразу кинулись исполнять команду, и скоро вросшее в землю кормящее корытце опустело. Но и с курами неведомо что стало происходить,

они вдруг закудахтали, словно снесли по яичку, потом стали с разбегу подлётывать, а кончилось всё небывалой дракой, самый разгар которой захватила открывшая калитку Варвара.

– Я до смертыньки перепугалась: куры в кровь исхлестаны, с ног валятся и кудахчут, а петух лежит поперёк корытца и рот открыт, словно издох. А потом винный дух зачуяла, поняла, что мужики над птицей погалились, – рассказывала она потом соседкам.

Сели за стол, хозяин нарезал солёного сала, пару луковиц очистил и раздавил – так положено, глазунью на большой сковороде поджарил.

– Григорий, я прямо дивлюсь на тебя, дивлюсь и не узнаю. Ты же нормальный мужик, делай свою работу, и пропади оно всё пропадом! – воспитывал Филипп от электроплитки. Взглянул на гостя – сидит и ухом не ведёт. Выпили по стакану, зажевали.

Григорий Андреевич долго обдумывал, что другу ответить. Ведь не один же он видит безобразия, все видят, но молчат или судачат по зауголью. Почему он встаёт и вслух говорит о том, что все знают? Не посчитают ли его дураком после этого или просто чудачком? Нет, вроде слушают и поддакивают.

– Филя, ты почему понять не можешь, что неправильно мы живём? Вот ты плотник, твоей работе цены нет, потому что с бревном – не с бабой, оно не пособит. Для совхоза дома рубишь, базы ремонтируешь. А чего тебе за это платят? И я тебе скажу: ровно столько, сколько прыщавой бухгалтерше в конторе. Разве так справедливо? Я, Филипп, как в партию вступил, стал специальные книжки читать, и многое увидел совсем не так, как раньше. К примеру, читаю у товарища Брежнева, как и что должно быть с оплатой трудящегося человека: человек должен жить достойно, для этого и создавали советскую власть. Там, наверху, всё понятно, а пока до нас доходит, всё утрачено, вычеркнут и генеральную линию перевернут.

Филипп слушал молча, ему такие разговоры казались странными и ненужными, они ничего не меняли. А раз так – зачем говорить?

– Ишь ты! – возмутился Григорий. – Помалкивать, значит, а они будут жировать на нашем молчании. Филя, родной, пойми ты, что образовалась у нас в стране и у нас в совхозе такая (как бы тебе объяснить?), во! прослойка, которая вид состроит, что за народ и за партию, а думает только о своём животе.

– И что ты с ней собрался делать? – вполне серьёзно поинтересовался хозяин.

Григорий вздохнул:

– Ума не дам, как быть, не должно, чтобы кто другой, поразумней меня, этого не понял. Я вот думаю поехать в район к самому первому секретарю, он, когда мне партбилет вручал, сказал, что я рабочий класс, на мне партия держится, ну, не на одном конечно, чего ты лыбишься? Мол, надеюсь, что ты будешь настоящим коммунистом. Правда, он со мной на вы. А что такое настоящий коммунист? Я так понимаю: кто честно работает на благо, кто в семье достойно ведёт сам себя, кто не уворует у государства и другому не даст, в случае чего выведет на чистую воду. Вот так вкратце.

Далеко уводят русского человека свободные кухонные разговоры о политике, ещё пара стаканов, и он уже ощущает себя хозяином страны, и все, кто крутятся под ногами, ленятся лишний раз литовкой махнуть, лишнюю копну сена на стог подать, кто вместо пахоты заглушит трактор и проспит смену в кабине, а утром отвернёт какой-нибудь болт и объяснит без зазрения, что из-за поломки простой случился – лоботрясы и умом дети малые. Вместо того, чтобы всем миром... Особо достаётся в таких случаях местному начальству, которое себе отдельные дома стало строить, на совхозных легковушках баб и семейства свои развозят, сенов не косят, а

бескормицы не знают, бычков в совхоз на откорм сдают, а мясо со склада, да не по себестоимости, а как на общественное питание. Помаленьку выходят и на самый высокий уровень, начинают разбираться с кремлёвским руководством. Чаше всего ругают, что порядка нет, местные князьки выпряглись, живыми в руки не даются. И управы на них нет. Конечно, сразу вспоминают товарища Сталина.

– Да, суровый был мужик, но – иначе нельзя с нашим братом. И что ему досталось? Разруха, соха да евреи. Это же надо всё разгрести. А тут Гитлер. После войны тоже добра мало, полстраны погорельцев.

– А Никита его взял и в грязи измазал за личность. Вот зачем, скажи, пожалуйста? Нет, Никита в вашей партии тоже много чего натворил.

– Филипп, что нагрезил, то правда, но вот уважаю Никиту Сергеевича за сельское хозяйство, которое он первым увидел и об нём озаботился. В Америку не поленился съездил, нагляделся, теперь вот у себя кой-чего пробуем. Но, скажи на милость, зачем он дедушку из мавзолея выбросил? Ну, нашли культ, обсудили, разобрали, выговор ему не объявишь, и пусть бы лежал. Народишко ходил, глядел, жалел, потому как при Сталине... А он выкинул. Нехорошо.

Друг к этому относился спокойно:

– Себе алтарь готовил, думал, помрёт, его всякой мурой натрут и в музей.

– Мавзолей, сельпо!

– Пусть в мавзолей, и будет лежать, медальками придавленный.

Григорий покачал головой:

– Не любишь ты, Филипп, партию и её начальство, а это нехорошо. В своей стране живём.

– Да, – сказал Филипп и выпил стакан браги.

Роман частенько возвращался из района поздновато, но знал, что жена его Маринка уже всё управляла. Глава сельской власти, хоть и имел приличную зарплату, но от домашнего хозяйства не отказался, держал корову с приплодом, парочку поросят, десяток овец, кур и гусей, гуси были с детства увлечением супруги. Все у неё получалось, посадит трёх гусих ранней весной, под каждую подкатит по одиннадцать яиц, тогда уж в доме запрещено курить, одеколоном пользоваться, в ботинках наваксенных заходить. И выйдут в один день, как в сказке, тридцать три жёлтеньких комочка, забота и забава хозяйки с детишками. Конечно, во дворе управа на мужчине, навоз вывезти, снег из ограды убрать, сена из стога накидать в запасник, чтобы даже десятилетний сын Бориска мог скотине разнести.

С Борисом получилось неловко. Рождение его совпало с двумя событиями, одно государственного масштаба, Ельцина избрали президентом, другое местного, ему, Роману Григорьевичу, бывшему совхозному парторгу, глава района Треплев Ермолай Владимирович предложил возглавить сельскую власть. В полупьяной эйфории от рождения сына и повышения и с поддержкой приехавшего по такому поводу районного начальника Роман записал сына Борисом. Под холостяцкую закуску выпили бутылочку коньяка. Вечером его поджидал у калитки отец:

– И как же ты сына своего первенца, внука моего единственного назвал, сукин ты сын! Именем Бориса, продавшего партию и советскую власть! Как ты мог, мой сын, упасть в угодники!? – И отец хлётко ударил сына по лицу, тот ойкнул, захватился руками, но кровь пошла и через пальцы. – Забыли отцовское слово, сукины дети! Забыли, как в морду получать, ежели творишь неладное!? Переименуй завтра же, придёшь и доложишь.

Отец широким шагом пошёл к своему дому, сын долго останавливал кровь и дрожь в руках. Утром с постели поднял звонок, Треплев поинтересовался, как спалось одному, спросил, не заметил ли хозяин в доме чужой расчёски:

– Неловко без расчёски, надо зайти, купить, да и в чужом доме такую вещь оставлять нельзя. Ничего, Роман, мне кажется, мы с тобой сработаемся. Ты с советами не лезешь, молодец. Есть новости?

Роман поделился:

– Ермолай Владимирович, вы же отца моего знаете, вчера мне выволочку сделал за имя для сына.

Треплев долго соображал:

– Что ему не понравилось? Как мы сына назвали?

Роман напомнил:

– Борисом, в честь президента.

Треплев опять задумался:

– И что тут такого? Борис есть Борис. Он что, не любит президента, он, поди, ещё и против президента голосовал?

Роман старался смягчить разговор:

– Ну, как он голосовал, я не знаю, а вчера крепко сказал: никаких Борисов в нашей породе не будет. Меняй имя.

– А ты что решил? – Треплев икнул.

– Не знаю, – несмело ответил молодой папаша.

– Зато я знаю, – оживился Треплев. – Сменишь имя – ищи работу, и с моей стороны не жди внимания. Всё. – И положил трубку.

Имя сыну менять не пошёл и к отцу на доклад не явился. Когда привёз Ларису из роддома, пригласил братьев, подошёл к дому отца. Мать вышла, видела, что сын побежал по родне, поняла:

– Не заходи, Рома, не пойдём мы, отец сердит, в мастерской что-то колотит.

– Ты бы уговорила его...

– Рома, я в эти дела не лезу, да и он не любит. Отгуляйте, может, отойдёт.

Но Григорий Андреевич с того дня не замечал старшего, мимо пройдёт – как рядом с пустым местом, ни скажет, ни спросит. Зная отца, Роман назло не лез. Замирило их горе, когда вдруг потеряла сознание Лариса, и в районную больницу прилетали на вертолёте врачи из области, сутки с ней возились, только этим и спасли. У постели больной дежурили посменно, отец молча пришёл и бросил сыну:

– Иди, поспи, я сутки пробуду.

С тех пор кое-как восстановились отношения, но что-то всё-таки между отцом и сыном было, Роман это чувствовал. Однажды за столом, когда всей большой семьёй отмечали Новый год, Роман подсел к отцу:

– Папка, объясни, ты почему такой стал?

– Какой? – уточнил Григорий Андреевич.

Сын стушевался:

– Чужой какой-то. В чем моя вина, скажи.

– Скажу, коли сам напросился. Мне эта власть не по душе, я секрета не делаю, а ты на моей родине и есть эта власть. Вот как мне людям в глаза глядеть и чего говорить, если вы всё

изнахратили, обещали золотые горы, про крестьянское фермерство наплели, народ вроде кинулся, а там шиш с маслом. Пособия люди месяцами не получают, пенсии тоже. Что это за власть, если она человека не видит?

Роман молчал. Да и что он мог ответить человеку, всю жизнь отдавшему сначала колхозу, потом совхозу в родной деревне, а при ликвидации получившему пять гектаров неизвестно где находящейся земли да «долю» в рублях, а те рубли в технике и скотобазах, которые в несколько дней приватизировали толковые мужики. Правда, среди удачливых оказался сын Никита, работавший в совхозе главным агрономом, его мужики пригласили возглавить крестьянское хозяйство, в которое сволокли все свои пай и доли в конкретной земле и технике. Получилось, что центральное отделение стало самостоятельным кооперативом, а Никиту стали именовать председателем. И над названием не долго думали, раз совхоз был «Кировский», значит, и кооператив таким должен остаться. На этом настоял отец, он член-пайщик, присутствовал на собрании.

Когда стали разбираться со структурой нового хозяйства, Никита вдруг предложил отказаться от животноводства:

– Вы все знаете, что молоко и мясо почти всегда были убыточными, но то государство давало дотации и покрывало убытки, а сейчас ждать нечего, каждый живёт, как может.

Старший Канаков спросил с места:

– И какие у тебя предложения? Коров разобрать по дворам, как после войны? Или на колбасу и завтра же создать изобилие?

– Но другого выхода нет, Григорий Андреевич, – развёл руками сын.

Григорий встал:

– Тебя какой подлец этому научил? Ты же вечно деревенский, деревня всегда на корове выезжала, да корову в пору русскому человеку священным животным сделать, как в Индии, а ты под нож! Ты сейчас рассуждаешь, как Гайдар с Чубайсом: это выгодно – наше, это убыточно – в расход. Если бы коммунисты так рассуждали, нам бы никогда из разрухи не вылезти. Ты теперь наш руководитель, должен свою голову на две половинки разделить, пусть одна экономит, а другая следит, чтобы от этой экономии людям польза была. Вопрос о скотине надо снять, он глупый и вредный. Новому председателю объявить внушение, чтобы обдумывал впредь свои предложения.

– Верно сказал, Григорий Андреевич, – встал с места Иван Лаврентьевич, когда-то лучшим механизатором был в совхозе. – Я по части скота поддерживаю. Ликвидируем, а людей чем занять, баб, то есть женщин? Никак нельзя без скотины. А ещё вношу: ввести в правление Григория Андреевича, для порядку.

Народ зашумел:

– Верно!

– Избрать!

– Тут мы дали маху!

Пришлось вставать, за добрые слова поблагодарил, но сказал:

– Для правления и одного Канакова хватит, а коли я есть отец и член партии, то контроль обеспечу, в чём и ручаюсь.

А когда уже второй урожай собрали, приехали перекупщики, молодые ребята на иностранных машинах, правда, изрядно поношенных. Зашли в кабинет, в котором в бытность партторгом сживал брательник Роман, сели вокруг стола:

– Наше предложение такое: мы прямо у тебя в складах закупаем все товарное зерно, конечно, проверим качество, цена вот такая. – Старший написал на бумажке цифру и показал Никите. Тому цифра не понравилась.

– Нет, мужики, по такой цене отдать зерно – голыми останемся. Что я людям скажу?

Гости засмеялись:

– Ты о себе думай, начальник, а о людях партия и правительство позаботятся. Имей в виду, я пошёл по мизеру, могу накинута, причём с каждой тонны тебе копейка отдельно. Думай. Ладно, если цены будут, а если спроса не окажется, мы же не одни работаем, всё связано, не будем брать зерно, и сиди с ним до весны. А людишки требуют, ребяташки голодные, женщины в пустые кастрюли колотят. Тогда как?

У Никиты ладошки вспотели, воткнулись в мозг слова о копейках, которые ему с каждой тонны. Гонит мысль, а она упрямо крутится. Сказал сломавшимся голосом:

– Назовите свою окончательную цену.

Старший опять пишет на листочке:

– Но это вместе с бонусом. Тебе сколько с тонны? Мы можем сейчас выдать, авансом, под расписку, правда, баксами, деревянных не держим. А остальное – как только зерно заберём, сразу фирму закроем, нас нет. Так что никакой проблемы.

Старший открыл дипломат, отсчитал нужную сумму, постучал по столу: расписку! Никита взял лист бумаги.

– Пиши: получено наличными от предъявителя... сколько там? Сумму прописью. Всё, хлеб наш, деньги привезём, когда машины пригоним под зерно.

Гости поочередно пожали Никите руку и вышли. Он открыл ящик стола и сгрёб туда деньги. Было стыдно и страшно. Выглянул за дверь – никого. Сложил деньги в папку с бумагами, которые всегда возил с собой и вышел.

Так опустил первый раз, была даже мысль сдать завтра в кассу как аванс от покупателей, но папку открыл, посмотрел на зелёные бумажки и сник. Жене ни слова, спрятал в ящике для ружья, она туда не лазит.

пробел

Самый младший, Прохор, после института остался было в городе, открыли фирму, у отца денег занял для учреждения, сказал, что с первой сделки вернёт. Григорий Андреевич усмехнулся: «На том свете угольками...» Но вышло ещё проще: на первой сделке ребят нагрели, Прошку поставили на счётчик, с чем он и явился в родной дом.

– Ты мне по-человечески можешь объяснить, какой такой счётчик? Что ты такое натворил? Выкладывай, я все равно дознаюсь, – грубо спросил отец.

Сын неумело выкручивался:

– Попали мы, папка, на бандитов, они и товар забрали, и денег не дали, да обложили данью, надо к двадцатому привезти аванс, а к первому числу всю сумму.

– И сколько?

Прохор сказал. Отец ударил в стол кулаком:

– Подлец! А ну подойди сюда поближе. – Прохор сделал шаг вперёд, отец щёлкнул его по щеке: – Это тебе аванс. – Щёлкнул по другой: – А вот это – получка! Куда ты с русской мордой полез в коммерсанты, ты посмотри, какой там народ, по телевизору показывают – нет там ни одного русского, кроме тебя, дурака. Вот и проучили. Пошёл вон, будешь у Никиты

скотником работать, это тебе самое то, станешь первым скотником с верхним образованием по федерации вашей.

Отец не знал, что Никита дал брату денег и тот съездил в город, погасил долг. Не с руки было Никите родного брата в скотники определять, пошёл к Роману за советом, и тот вспомнил о давнем товарище по партшколе Юрочке Пирожкове, умнице, остряке и гуляке, который вместо партийной работы пошёл в торговлю и вскоре стал заведующим огромной продовольственной базой, занимавшейся снабжением Северов. У Юрочки перед праздниками все друзья машинами закупали деликатесы для себя, знакомых и даже для детских подарков от профсоюза. Недавно говорил с ним по телефону, все передрыги пережил, удержался, Москва базу приватизировать не даёт, частники могут так вздуть цены на продукты, что все нефтяники разбегутся.

– Вези своего брательника, познакомимся, договоримся.

Проход Юрочке понравился, прошлись по складам, шеф советовал присматриваться, с каких товаров начать, чего в вашей деревне нет.

– У нас село, – поправил Проход.

Юрочка раскатисто засмеялся.

Пришлось Роману поехать в район, поугovarивать то одного, то другого чиновника, в конце концов, оформили в аренду закрытый год назад сельповский магазин, большой, кирпичный, ещё с купеческих времён лавкой был. Все трое пошли к отцу. Матрёна Даниловна, увидев сыновей, поняла, что серьёзное дело пришли обсудить, кивнула: «В горнице он», сама принялась собирать на стол.

– Здравствуй, папка, – почти хором выговорили мужики, отец повернулся от стола, отложил газету. Роман заметил: «Советская Россия», советовал же не выписывать, в органах все подписчики на учёте. Оглядел сыновей, отложил газету, предложил:

– Ну, размещайтесь кто куда, раз пришли. У кого что стряслось?

– Почему обязательно стряслось? – недоуменно спросил Никита.

– Дак вы же по другому поводу не ходите гуртом, если вместе, стало быть, серьёзное дело, а в наше время серьёзное дело непременно неприятность, так что я готов, излагайте.

Говорить было поручено Роману:

– Мы знаем, папка, как ты переживал, когда Проход попал в неприятность. Мы это дело закрыли, сейчас у тех ребят к нему претензий нет. Но надо же парню чем-то заниматься, да и не мальчик, жениться пора, а то один в доме, как этот...

– Ромка, я тебя ещё в партторгах учил: отвыкай в речах большой разбег делать, говори суть дела, а то, пока ты последние слова говоришь, я первые уже забыл.

– Хорошо, – кивнул Роман. – Есть возможность открыть продуктовый магазин, помещение арендовали, с торговой базой договорились. Мы предлагаем, чтобы этим делом занялся Проход.

Григорий Андреевич скинул очки, солнечный зайчик испуганно прыгнул от них на стенку:

– Прошку – в торгаши!? Как вам это только в ум пришло, чтобы Канаковы за прилавком карамельками торговали и деревенских баб обсчитывали? Ловко придумали! А я-то думаю, что Прошка на ферму каждое утро уходит, общественно полезным трудом трудится, а он изучает, как за прилавком мошенничать, в торгаши готовится! Вот что я вам скажу, ребята: из вашего рая не выйдет ничего.

И тогда Роман вынул туза козырного, специально уговорил девчонок в архиве, чтобы такую справку выдали:

– Папка, а ты напрасно торгашей за людей не считаешь, я вот специально в архив ездил, несколько дней в бумагах рылся, а все-таки нашёл, что прапрадед наш в начале девятнадцатого века числился по купеческой части и имел три лавки в волости. Вот, почитай.

Григорий Андреевич взял бумагу, точно, районный архив, «Канаков Демид сын Иванов в ревизских сказках за ... годы числится по купеческой части, налоги в казну вносит исправно, владеет тремя лавками...» Печать, подписи.

Григорий Андреевич повертел бумажку, посмотрел на сыновей:

– А скажи, Роман, отчего тогда отец мой был крестьянин, а не купец?

– Какой же он крестьянин, если земли имел три сотни десятин, ты же сам говорил, да скота своего сотню и неизвестно, сколько перекупал у киргизов петропавловских? Возможно, просто сменили бизнес.

– Чего сменили? – не понял отец.

– Род занятий, – неумело поправился Роман. – Так что Прохор просто вернётся к тому делу, которым когда-то наши родичи успешно занимались.

Григорий Андреевич ещё раз повертел в руках бумажку, положил её на стол и спросил:

– Какой магазин оформили?

– Каменный, бывший хозяйственный.

– Хорошее место, людное. Но сам за прилавок не лезь, найди девчонок поприличней.

Обожди, я про главное-то упустил: а на какие вши ты собрался товар закупать? Теперь ведь фондов нет, по доверенности не получишь, кончился социализм.

Никита подсел поближе к отцу:

– Сейчас, папка, есть такая форма отношений как дача товара на реализацию. Мы же в своём хозяйстве даём хлеб, мясо с последующим расчётом. Так и Прохор будет работать, пока на ноги не встанет. Конечно, мы с Романом на первых порах поможем деньгами. Что ты нам скажешь, папка?

Григорий Андреевич долго молчал, посмотрел на Прохора: вчера был ребёнком, из института приезжал, как будто праздник привозил, и вот в торгашу собрался. Торгаши уже есть в селе, народ иначе как спекулянтами не называет, потому как цены такие, что дешевле в район съездить и купить. Опять же за куском мыла да кульком сахара не поедешь, вот и давят из бедного крестьянина...

– Не хочу я, чтобы и про нас такие разговоры были на селе, как про Инночку со Светкой. И бумажку, Роман, ты напрасно привёз, не было у нас в роду торгашей, не должно быть. Но, коли дело так повернулось, то я даю согласие, но на условиях. Первое: водкой не торговать. Не дам народ спаивать. Второе: если увижу, что продаёшь дороже, чем кто другой, – лавку прикрою. Позора не потерплю.

Никита вскочил:

– Да сегодня деньги только на водке и делают, папка, как ты не поймёшь!? На карамельках, как ты сказал, прибыли не будет.

Григорий Андреевич тоже резко встал:

– Дак вы о прибыли в первую очередь думаете? А я думал – брата пристроить к делу, чтоб не болтался, и чтобы отец на ферму, в самом деле, не проводил. Моё слово последнее, а кто против, тот свободен, я тоже в ваших спекулянтских делах не большой охотник разбираться. И бумажку вы эту зря выхлопотали, вранье это. Всё.

Братья вышли, не попрощавшись, потом Роман вернулся, кивнул маме, что все нормально, а то будет беспокоиться, отец ведь ничего не скажет. Зашли к Роману, сели за стол под развесистой яблоней.

– Итак, что будем делать? – Роман выжидающе посмотрел на Никиту.

– А что ты на меня смотришь. Отец же сказал...

Роман аж привстал, наклонившись к братьям:

– Старик из ума выживает, неужели не видишь? И сколько мы будем на поводке ходить? И когда это кончится: чуть что – в морду. Мне четвёртый десяток, сельский глава, а он в рыло.

Никита хохотнул:

– Да тебя он не тронет, это нам с Прошкой перепадает.

– Не тронет? Да на прошлой неделе у самого носа его кулак поймал! Сказал ему, чтобы он на партсобрания поменьше выступал, ну остался коммунистом – это твоё дело, но меня же Треплев за его пропаганду предупредил, могу вылететь, вот в очередные выборы наберут большевики треть голосов – пойду с Прошкой торговать.

Проходор оживился:

– Вы все про политику, а как быть с торговлей? Без водки, в самом деле, навар не тот, ну по ценам легко всех обойдём, потому что я переписал на базе – крутить можно половину. Девчонок я присмотрю, чтоб посимпатичней, не старье же собирать. Никита, ты помоги мне договора составить на оплату и ответственность.

– Помогу. Только ты вот что имей в виду: тебе налоги платить, отчётность и прочее. Я подошлю своего человечка, он тебе объяснит, как и что. И в договорах указывай зарплату в пределах минималки, остальное будешь в конвертах, как говорят, выдавать. И не обещаю золотых гор, больничные там, декретные, отпуска.

– А как?

– А так, Проша, ты слышал, папаша сказал: социализм кончился.

К Роману Григорьевичу для подготовки к выборам приехал чиновник областной администрации, Парыгин Георгий Иосифович, аккуратный брюнет очаровательной наружности с выраженным желанием всеми руководить. С первой встречи Роману он не понравился, но уполномоченных не выбирают. Беседу за рабочим столом он начал с того, что Роману не надо беспокоиться о выдвижении кандидатов и всю свою деятельность сосредоточить на активной работе по линии своей партии, не давая возможности для пропагандистов и агитаторов других партий и объединений, в то же время делая вид, что перед законом все равны, в том числе и перед избирательным. Роман кивнул, но вспомнил, что в прошлые выборы, то ли президентские, то ли думские, он получил выволочку от Треплева за то, что разрешил коммунистам провести встречу с избирателями в Доме культуры:

– Ты бы для них ещё посиделки организовал с пением революционных песен.

Роман недоуменно пожал плечами:

– Ермолай Владимирович, а как я мог им отказать?

– Просто! Проще пареной репы! Перекрыть отопление накануне – сами откажутся. Назначить на это время репетицию драмкружка. Отключить электричество. Видишь, сколько возможностей, и это я сразу, без подготовки.

Уполномоченный оживился:

– Прав Ермолай Владимирович, он хотя и партработник в прошлом, но суть нынешних перемен схватывает на лету. Видимость, дорогой Роман Григорьевич, чистейшей воды видимость равных прав и возможностей, а на самом деле жёстко перехватить глотку всем, кто рвётся к власти, кроме своих.

Роман хотел уточнить, что Треплев партработником никогда не был, просто на финишной прямой КПСС, когда уже все было ясно, и ядреные секретари райкомов уже подбирали места понадежней, на открывшуюся вакансию второго секретаря друзья и двинули Ермолая Владимировича по его просьбе. Потому что колхоз, который ему доверили несколько лет назад, уже стоял на карачках, и перспективы там не было никакой. Через год партию прихлопнули, но Треплев уже обзавёлся связями в области и через несколько лет вернулся в райкомовский кабинет, но уже главой исполнительной власти. Хотел уточнить, но передумал, потому что боялся, откровенно боялся, что несколько лет работы парторгом ему могут припомнить и турнуть с должности. А куда пойдёшь? Не иначе, как к Никитке скотником.

– Вам надо собрать команду молодых людей, чтобы они за скромную плату чистили заборы. Что вы на меня смотрите? А, термин не понятен! Убрать все агитационные материалы наших противников! Ни одного портрета, ни одного призыва! Для встреч с избирателями мест приличных не давать под разными предлогами, а лучше избегать контактов с их представителями: уехал, занят, заболел.

Роман хотел возмутиться, но испугался своей дерзости и только пожал плечами:

– Задачу я понимаю, Георгий Иосифович, вот только встреч с населением боюсь, вопросов уйма, а ответ один: нет денег. Вы только посмотрите: детские не платим, бюджетники по три месяца ни копейки не видят. Трудно с людьми говорить.

Парыгин снисходительно поморщился, встал, закурил сигарету из красивой пачки («Кент», успел прочитать Роман), встал у стола, медленно привставая на носки дорогих ботинок. «Дыбки делает» – не к месту вспомнилось, как в деревне называют это движение ребёнка, который собирается сделать первый шаг в жизни.

– Дорогой Роман Григорьевич, я направлен в ваш район для обеспечения победы наших кандидатов. Вы меня провоцируете на откровенность – что ж, я скажу. Выборы мы выиграем, нам сейчас только этого не доставало, чтобы власть выбирало это быдло, не умеющее работать, умеющее только пить и бузотёрить. Ваши селяне или сельчане – как правильно? – свергли бы и вас, и Треплева, потому что им нужна советская власть, аморфная, проедающая национальное достояние, поощряющая бездельников и установившая всем одинаковую зарплату, на которую, извините, можно обновить только фуфайку. Мы же создаём общество, в котором каждый человек свободен, волен делать всё, что позволяет закон. К этому стремится всё человечество, а наш электорат надо убеждать. Да пропади она, эта агитация и пропаганда! Мы взяли власть, и мы теперь её никому не отдадим!

Роман слушал и боялся возразить, хотя слова ловил уже на вылете. Мелькнула мысль, что в партийные времена не было столь страстных ораторов, просто необходимости не было напрягать голос и рвать сердце, люди и так всё понимали. А тут... Георгий-то Иосифович, считай, почти на броневишке. Ему бы чуть прикартавливать – цены бы не было!

– Роман Григорьевич, я только что вернулся из столицы, было довольно узкое совещание в администрации президента, достаточно сказать, что от области я был в единственном числе! – Парыгин многозначительно поднял указательный палец. – Ребята в администрации нацелены так далеко, как вам и не снилось, они видят Россию завтрашнего дня, с заводами-автоматами, с

уникальными технологиями в сельском хозяйстве. Мощная банковская система, способная инвестировать в объекты любого масштаба. Мы сравниваемся и сроднимся со Штатами, и тогда никто в мире пикнуть не посмеет против России.

Роман тоже встал, достал и прикурил свою «Приму», подошёл к книжному шкафу, нашёл статистический справочник за 1982 год:

– Я с вами спорить не стану, только страной, против которой никто и пикнуть не смел, мы уже были, и, как видите, счастья это нам не принесло. Вот тут, – он показал книгу, – статистика по стране. Я когда-то готовился в аспирантуру, подковывался, но потом всё пошло наперекосяк, а книги остались.

Парыгин сел на сильно продавленный диван, оставшийся ещё от парткома, положил ногу на ногу, довольно картинно. Посмотрел на собеседника и засмеялся:

– Дорогой Роман Григорьевич, да вы так и остались большевичком, президента не любите, у вас даже портрета его нет, нынешнее время называете перекосяком, голосовать собираетесь за коммунистов...

Роман бросил на стол книгу:

– Я бы просил не передёргивать, Георгий Иосифович, а, если на то пошло, то это моё личное дело, за кого буду голосовать. И портрета президента у меня нет, потому что Треплев не дал, так и сказал, что у Канакова его всё равно снимут.

Парыгин устало махнул рукой, опять сел на стул. Роман заметил, что у гостя дёргается веко на правом глазу, тот даже несколько раз прижимал его незаметно платком:

– Действительно, это ваше право и ваше дело, за кого будете голосовать. Только я вас на берегу хочу предупредить: мы вас в свою лодку не пустим! Решительно! – Голос его зазвенел и набряк угрозой. – Мы в результатах выборов, в тех протоколах, которые вы привозите и тщательно переписываете для районной комиссии, на цифры будем смотреть, перед тем, как выбросить этот бумажный хлам, только для того, чтобы определить, наш человек сидит в самом низу вертикали или казачок посланный. Надеюсь, вы меня понимаете? И не вздумайте чудить. Я приеду к вам накануне голосования, уж больно вы меня заинтересовали. Говорят, у вас папаша в компартии состоит?

С трудом удержал себя Роман, кулаки сжал, но голосом не выдал:

– У нас, господин Парыгин, отцов папашами не зовут, за такое и на площади висеть могли в былые времена. И тоже, представьте, его право, мне он партбилета не отдаст.

Парыгин аж вскочил:

– А вы сами, дражайший Роман Григорьевич, к какой партии принадлежите? Нет-нет, про коммунистические убеждения я уже понял. А формально, как представитель власти? Вы в нашей партии состоите?

Роман кивнул.

– Я проверю. И вашу финансовую поддержку партии тоже посмотрю. Проводите меня до машины.

Уже из салона стального цвета «Форда» с нулями на номерных знаках он улыбнулся:

– Вы даже представить себе не можете, как я доволен нашей встречей, самым её фактом. Вы редкое явление для нашей системы управления. Сегодня вечером буду говорить с Анатолием Борисовичем, расскажу, чем Сибирь радуется, то-то повеселится мой московский друг.

Проход в торговлю ушёл с головой, взял у брата в хозяйстве грузовичок с тентом и сам ездил на базу к Юрику, который сразу предупредил:

– На людях зови по отчеству, Юрием Алексеевичем, а в кабинете или ещё где просто Юриком, так мне нравится.

В магазине полки сколотили из хорошо строганных досок, прилавков, холодильники и морозилку купил у того же Юрика по сходной цене. Две молоденькие девчонки, сестры-близняшки, Галя и Валя, только что школу окончили, в институты ехать – нет таких денег, и работы в деревне никакой. А тут услышали, что Канакovy магазин открывают, отправили отца к старшему, Григорию Андреевичу, они хоть и не ровесники, но работали вместе и по сию пору здороваются.

– Будь здоров, Григорий Андреевич. – Гость открыл калитку и остановился, увидев хозяина.

– Ты ругаться пришёл, что ли, в воротах стоишь. Дак я не в том духе сегодня, чтобы чубы рвать. Заходи. Или сразу в дом? Дело какое или просто покурить? Говори, Артюха, не стесняйся.

Прошли под навес, сели на плетёные кресла, любил из прутьев красоту вить старший Канак. Артём осмелел:

– А нам какого рожна сомущаться, мы не воры и не разбойники, честно жили и так бы продолжали, если бы не пятнистый.

– Артём, ты меня избавь от такого разговора, а то я опять ночь спать не буду.

– Понял, молчу. Прослышал я, Григорий, что вы с ребятами магазин начинаете.

– Стоп! Это кто тебе такое сказанул, что я в этом магазине участвую?

Артём оробел:

– Не то сказал, не серчай, хотел попросить тебя девок моих пристроить. Надо, чтоб они за зиму какую копейку заработали, чтобы поступать ехать, а там будем как-нибудь извёртываться. Школу прошли, обе как ударницы, а дальше никуда, средств нет. Было на книжке, все копил, думал учить их в городе, а оно вишь как, скукарикали денежки... Ну, понял, не будем об этом. А про девок мне с кем дело иметь?

Григорий Андреевич помолчал, соображая, как ему себя повести. С одной стороны, к торговле никоим образом приклеиваться нельзя, с другой – Артёму помочь надо, куда он пойдёт? И Прошка тоже не сообразит, может и отказать:

– Давай так, Артём Сергеич, я вечером с сыном переговорю, а ты утречком забеги. Чай пойдёшь пить?

– В другой раз, спасибо, Григорий Андреевич, на добром слове.

Вечером отец пошёл к Прохору. Не славно, конечно, что мужик уж настоящий, а все один, хозяйки в доме нет, только мать на стол наставлять начинает, Прошка уж тут, без спросу, без приглашения. Раз не утерпел Григорий Андреевич, ложку положил:

– Обожди, Проход, пусть суп остынет, больно горяч.

Хозяйка сунулась с объяснением:

– Дак с плиты сняла, оттого и горяч.

– Я, кажись, не с тобой. Проход, я гляжу, тебе такая жизнь глянется, выспался неизвестно с кем и где, натётёшкался, вынежился, у отца в доме без приглашения за стол упал, наелся и вперёд. Ты только что в туалет ко мне не ходишь.

Мать аж всплакнула:

– Отец, да разве объел он тебя?

Григорий стукнул кулаком по столу:

– Ты способен на вопросы отвечать или мать за тебя будет отдуваться? А ты не встрейвай, не доводи до греха! Или тебе, сынок, подзатыльник вломить, чтобы в сознание вошёл? Я хочу знать, собираешься семью заводить или нет? Если нет – дом продам к чёртовой матери и деньги Зюганову отправлю.

– Отправляй. – Прохор встал со стула.

– Сядь! – рявкнул отец. – Ишь, моду взяли, чуть что – в сторону. Сядь! И слушай меня внимательно, сынок, потому что я дважды повторять не умею. Если к октябрьским праздникам не соберёшься, я так тебя оженю, тогда уж точно век будешь отца помнить.

Прохор улыбнулся:

– Нету, папка, теперь таких праздников.

Матрёна Даниловна и охнуть не успела, как Григорий хлёстко ударил сына по шее, встал, зашагал по дому из кухни в горницу, дважды прихватил макушкой верхний косяк, вовсе обозлился:

– Сопляк, в моем доме ест-пьёт, и мне же в оппозицию, праздников таких у него не стало! Утрись, не убил, я пока ещё не Тарас, – повернулся к жене. – Ишь, волю взяли, а кто тебе, дураку, образование дал? Кто мать твою спасал, когда на эроплане хирурга привезли. Молчишь? Дак я за тебя отвечаю: советска власть. И при мне такие разговоры зажди, куда хошь язык засунь, но помолчи. Всё, обед испоганил, засранец. Но слово моё помни. А теперь иди, я отдыхать буду.

В тот же вечер, после разговора с Артёмом, пошёл к Прохору. И не с руки, вроде, в дела сына вмешиваться, но опять же просьбу человека надо уважить, известно ему, каково сегодня содержать двух девок, да у Артюхи, кажись, акромья есть. Прохор или в окно увидел, или сердце подсказало – на крыльцо выскочил:

– Проходи, папка, давно не бывал.

Григорий остановился посреди большого двора – тишина и чистота, корова не замычит, поросёнок не хрюкнет, курочка не скудахнет – ничего нет, по-городски живёт сынок.

– Дело у меня к тебе. Ты Артёма Сергеича знаешь, в МТМ работал раньше, хороший мужик. У него две девчонки, двойняшки, запомятовал, как зовут. Окончили школу, а дальше некуда, финансы не позволяют. Так вот, был у меня сегодня отец, просил, чтобы ты их продавцами взял. Я обещал походатайствовать.

– Ладно, папка, я подумаю и скажу тебе.

– А чего тут думать? Надо помочь человеку, девки они должны быть смышлёные, мать их толковая женщина, Артюша-то поскромней будет. Так берёшь или нет?

Прохор помялся:

– Пусть завтра к девяти в магазин приходят, порешаем.

– У-у-у, мерзкое слово, и откуда ты их нахватался: «Порешаем», стратеги хреновы. И не вздумай отказать! – Повернулся к калитке и краем глаза заметил – колыхнулась шторина. «Губу раскатил: сыновне сердце учуяло! Баба у него в постели, вот и вылетел на крыльцо! Женить надо подлеца, того и гляди истреплется».

Дом Прохору рубили всей семьёй, когда он ещё на практику приезжал в совхоз под руководство родного брата. Старший Канаков лично ходил на склад, отбирал нужные плахи, тесины, все аккуратно укладывал в сторонке, звал кладовщика и велел замерить с точностью. Тот в первый раз заотнекивался, мол, забирайте, Григорий Андреевич, а я на ремонт фермы отпишу потом. После первого же такого предложения Канаков ловко поймал его за грудки, подтянул к себе и в самое лицо выдохнул:

– Ты кому такую мерзость предложил, рыло твоё немытое! Ты думал, раз сын мой тут председатель, значит, я могу себе семь тесин на гроб и без счёту взять? Ишь, ты, расшиковались! Всех надо выводить на чистую воду! Я тебя чего-то не могу признать, ты не наш деревенский будешь?

Мужик отряхнулся, на всякий случай на шаг отступил:

– С Казахстана я, жена тутошняя была, да не пожилось на новом месте, в прошлом годе убралась.

Канаков сообразил:

– Дак ты Любы Москвички мужик будешь? Помню её молоденькой ещё, все в Москву собиралась, вроде как приглашают её в артистки. Понятно, никуда она не уехала, так Москвичкой и осталась. А потом в Казахстан подалась. Да, слышал про твоё горе. Ну, ты не сердчай, я тут погорячился малость, а кубатуру до грамма замерь, я проверю. И ещё ответь мне: отпускаешь без документов, бывает, что начальство велит? Говори, я всё едино прознаю, хуже будет.

Мужик огляделся по сторонам и шёпотом почти на ухо:

– Прораб больше велит, он потом и концы сводит.

Григорий Андреевич хохотнул:

– А директора ты не выдашь? Он у тебя ангел.

– Зачем буду на человека наговаривать? Новой раз черкнёт гумажку то на брусочек, то на плаху человеку. Тогда отдаю, а так – нет.

– Ладно! После обеда подойду, накладную напишешь, я рассчитаюсь и вечером ребят отправлю на своей самоходке, заберут.

– Зачем? У меня вечером машины придут с паклей, загрузим и привезём.

Канаков хотел рывкнуть, но воздержался, только пальцем погрозил:

– Ну, ты меня ещё поучи!

В серванте он безжалостно выбросил из ящика годами хранящиеся вилки, ложки и ложечки, чайные ситечки, бронзовые подстаканники, которые ещё на свадьбу им с Матрёной подбросил кто-то из родственников. Навалил полную коробку и позвал жену. Та со слезами села на стульчик:

– Гриша, и чем оно тебе все помешало?

– Не помешало, а всякая лишняя вещь в доме атмосферу портит. Но это я кстати. Весь этот хлам, будь моя воля, вывез бы на помойку и не ахнул. Но ты же под колеса ляжешь. Потому прошу указать, в какое место поставить коробку, чтобы ты при случае могла выволочь на стол вот эти подстаканники и потосковать. Мотенька, их уж лет тридцать не пользуют, отдай в школу, говорят, там музей собирают.

Матрёна брала по одной вещи из коробки и чуть не плакала:

– Гриня, вот эти рюмки нам подарила матушка твоя, вечная ей память! Они старинные, ты посмотри, какое стекло, как хрусталь. А ложки, Гриня, мы с тобой покупали в первый год, в

город ездили, я беременная была Никиткой, ты ещё шофёра ругал, что трясёт на кочках. А стаканчики, стаканчики, Гриша, ты же привёз, когда в Москву на выставку ездил. Тогда такие тонкие мало у кого были, мы любили из них морс пить и молоко парное. Неужто тебе не жалко такую память выбрасывать?

Григорий приобнял жену и вдруг подумалось: когда же я её вот так просто обнимал? И стало неловко, стыдно за себя:

– Мотенька, ты не серчай на меня, я же не со зла. Конечно, надо сохранить, потом будешь внукам и правнукам показывать. Это же только нам с тобой дорого, позови любого из внуков, засмеют нас с этими стекляшками. Ящик мне нужен для документов. Все квитанции на Прошкин дом в папке, уже вываливаются.

– И к чему ты их хранишь?

– Не хочу потом глазами перед народом моргать, когда спросят, на какие шиши дома понакатал, Григорий Андреевич? Вот тогда-то я бумажки эти и выложу, как козырных тузов.

Матрёна всё любовалась посудой, протирала фартуком залежалое стекло, помутневшие тяжёлые вилки и ложки. Подняла глаза на мужа:

– Кто с тебя спросит, кому это надо? Два дома поставили, и никто ни разичку ни одну бумажку не требовал.

Григорий даже обрадовался:

– Потому и не вязнут с ревизий, что знают: у Канакова в учёте полный порядок, он сам, кого хочешь, на чистую воду выведет. Куда приданое твоё поставить? Может, в подпол спустить, там у меня на полках места много.

После Нового года привёз Никита отцу путёвку в пансионат для пожилых людей. Время послерождественское, морозы завернули настоящие, ночи звёздные, чистые, тихие, днём чуть дымкой подёрнется горизонт, и три солнца образуются на промёрзшем небе. Григорий Андреевич хоть и крещён был, но веры не знал, в церкви ни разу не бывал, а вот такие явления его смущали. Слышал где-то, что сие бывает к худу. Под худом всё понималось самое нежеланное, он часто вспоминал деда своего Корнилу, как тот рассказывал домашним:

– Сплю я на спине, это привычка детская ещё, потому и храплю столь сильно, что вынужден уйти в избушку. А по-иному не умею, лягу на бок – жмёт, на другой – упеть неловко, на брюхе спать нельзя, из всякого зверья только свинья на брюхе спит. Ну, вот ночесь сплю вроде и не сплю, потому как есть кто-то в избушке, акромя меня. Чуть полежал, вроде курнулся, а он меня за шею ручищами ухватил и душит.

– Кто? – выдохнула молодая сноха, а сама со страху едва на ногах держится.

Дед Корнила перекрестился и говорит тихонько, как бы одной снохе своей:

– Это, дочка, не след вслух произносить, но тебе скажу: дедушка–суседушко приходил.

– Чей, дедо? – спросил младший внук.

– Ну, знамо, наш, нашего дому хозяин. Я, когда дом этот поставил, а до того мы со старухой, ей тогда и осьмнадцати не было, вот в такой же избушке при тятином доме жили. Никто, конечно, не прогонял. Сами изъявили, потому как молодняк, один грех на уме. Вот и поставили мы с тятей дом, он большой хозяин был, и дом заказал рубить о двух этажах. Два года только на молитву останавливались плотники да на паужну, потому как с лесом робить, это не из чашки ложкой, а труд шибко трудной. Когда дом готов, освятил его священник, и надо в дом вперёд всех приглашать хозяина, суседушку. Тут и вышла у нас с тятей разногласия: если я поведу дедушку, в отцовском-то дому кто останется? Так не положено. И тогда старики

сказали: «Корнила, бери икону, кланяйся в своей избушке во все углы и приглашай суседушку, уж коли вы тутакс с женой прожили уж больше года, должен у вас завестись свой хозяин». Я и пал на колени: «Дорогой мой хозяин, выстроил я тебе хоромы великие, не чета этой избушке, приглашаю тебя в тот дом хозяином и буду всякий раз пищу и питье всякое ставить тебе в подполе». Слышу, где-то скрипнула плаха, пошёл тихонько к дому, дверь отворил и жду. И что вы скажете? Прошёл мимо меня, даже ветерком охватило, крышкой сбрыкал и в подполье. Так с тех пор и живём. А как я в избушку ушёл, да и Лукерьюшку мою схоронили (царство ей небесное!), и стал он ко мне являться. Бывало, рядом сядет, надо, чтобы я чего-то рассказал. Я и рассказываю всякие истории из жизни. Новой раз рукой проведу – тут сидит, и мохнатый весь, чисто тулуп вывернул и надел.

А душить он меня принимался не единожды. Подобно тому, гневается, что из дома ушёл. Я ему как-то и присоветовал, мол, коль изба маленькая, так ты направь ко мне внушка своего. В ту ночь он меня и прижал, да так тяжело, что я уж с белым светом прощаюсь. А надобно в это время спросить суседушку, к худу ли к добру?

– Как это – спросить? – опять интересуется сноха.

– Дедушка–суседушко за просто так давить не станет. Значит, хочет чего-то сказать. Вот ты и испроси: к худу он к тебе пришёл или к добру? В этот раз я едва выговорил, он сразу отпустил и сказал ятно: «К худу!» Так и вышло. На другой день война началась с Гитлером, отец ваш Андрей Корнильевич ушёл и не вернулся...

...Вечером пошёл к Никите:

– Отдай бумагу доброму человеку, пусть едет, а я останусь дома.

Никита возмутился:

– Папка, я эту путёвку оплатил, она уже и заполнена на тебя. Чего ты заупрямился? Дома работы никакой, маме поможем, будем утро-вечер навещать. Да и срок там – две недели.

– Только две? Вот сволочи, и тут обманывают народ! Мотя, ты пять лет подряд после операции в Кисловодск ездила, на сколько дней?

А сам сыну кивает, дескать, слушай.

– На двадцать четыре дня. А у тебя?

– Да не у меня, а у них, у демократов, новых хозяев жизни: две недели! Попробуй, полечись!

Никита засмеялся:

– Ты же только что ехать не хотел, теперь тебе двух недель мало.

– Конечно, мало! День приезда пропал, день отъезда тоже пропал. Итого – двенадцать дней, ровно половина от советской путёвки.

Никита возмутился:

– Папка, да я тебя раненько утром на своей машине отправлю...

– Стоп! На какой это на своей? Мало того, что твоя жёнушка по выходным из неё не вылезит, так ты и отца родного хочешь в этот позор загнать? Машина не твоя, а совхозная, кооперативная, и шофёр совхозный. Зарплату получит и командировочные за то, что папашу начальника на курорт отвезёт? Да я пешком уйду, только избавь меня от этого!

Никита встал:

– Хорошо, я сам увезу тебя на своих «Жигулях» и оформлю этот день как отпуск за свой счёт.

Григорий Андреевич вскочил с места:

– Вот это правильно, молодец, сынок. И другие пусть видят и знают. Тогда я согласен.

В пансионат они приехали рано, автобус из областного центра, где собирались отдыхающие, ещё не пришёл. Никита договорился, что отца поместят в двухместный номер и соседа ему подберут спокойного и не очень старого, чтобы они могли поговорить. «Отец это любит», – добавил Никита и поставил с боку кресла регистраторши пакет с гостинцами. Та понимающе кивнула и велела помощнице проводить гостя.

Комната Григорию понравилась: стекла не застыли, видно двор, все ещё стоящую в центре высокую ёлку, тепло, есть горячая вода, душ, туалет.

– Ладно, Никитка, поезжай, маму успокой, что всё в порядке. За Прошкой смотри, а то у него каникулы опять до майских праздников затянутся.

Через час в комнату постучали, вошёл мужчина средних лет, с бородкой, поздоровался, представился Николаем, познакомились. Разложил свои вещи, вынул из сумки икону, поставил на свою тумбочку.

– Григорий Андреевич, вы не против иконы?

Григорий пожал плечами:

– Да нет, не против.

– Вы, должно быть, крещёный человек, судя по возрасту?

– Говорила бабка, что крестили, но на том всё и остановилось.

– В церковь не ходите? Хотя бы просто так, из интереса.

Канаков кашлянул: вот послал бог соседа, пожалуй, из секты, их много теперь развелось, он читал в «Советской России». Сам для себя решил: начнёт дальше гнуть свою линию, вроде как вербовать – попрошусь в другой номер. Искоса поглядывал – нормальный мужик, бородка аккуратная, волосы длинные. «Э-э-э, – подумал Григорий, – дорогой, а не поп ли ты?» Решил выяснить сразу:

– Вы, конечно, извините, если что не так: вы, случаем, не поп?

Николай улыбнулся:

– Вы совершенно правы, любезный Григорий Андреевич, я православный священник, служу в небольшом храме в городе. Надеюсь, что мы подружмся.

Григорий опять кашлянул:

– Сомневаюсь, что мы с вами друзьями сделаемся, но, думаю, две недели друг другу перетерпим.

Николай сел на свою кровать:

– Меня несколько удивляет ваша уверенность, что не подружмся. А что нам может помешать? Я не буду вас склонять к вере в Бога, ибо это или дано, или нет. Вот вы атеист, то есть не верите в Бога. Это ваше право. Я верю, и это моё право. В остальном, я думаю, мы найдём компромиссы?

– Чего найдём? – не понял Григорий.

Николай опять улыбнулся:

– Давайте так договоримся, Григорий Андреевич, мы здесь просто отдыхающие, будем принимать процедуры, гулять, насколько погода позволит. Вы не боитесь мороза?

У Григория чуть что-то резкое про мороз не сорвалось с языка, но вовремя поймал:

– Я крестьянин, мне морозы пережить нельзя, каждый день управа со скотом, так что привычны.

– Тогда мы сойдёмся. Я перед Рождеством занемог, весь потерялся, едва Крещения дождался. Трижды окунулся во Иордани и, представьте себе, воспрянул.

Григорий вспомнил:

– Обождите, в Крещение был сильный мороз, я даже скотину не гонял на прорубь, флягами воду возил и в бане грел.

– Стало быть, вы ни разу не купались в Крещение?

– Тонуть зимой доводилось, а чтобы сам – нет, не купался.

На второй день Канаков совершил обход пансионата, и уже через несколько минут у него появилось ощущение, что он когда-то тут бывал. Вот эта стайка берёз, одевшаяся в куржак, очень знакома, только почему-то берёзки стали выше и пушистей. И отвесный берег к застывшей под снегом реке тоже показался знакомым. А потом Григорий вышел на задний двор и улыбнулся: точно, бывал, дочка Никиты Лизанька была тут в пионерском лагере, а он за ней приезжал на новеньком «москвиче», только что полученном от ВДНХ за показатели по урожайности.

Пионерский лагерь новые власти прихлопнули, понятное дело: нет пионеров – зачем лагерь? Канаков вздохнул: сколько глупостей наворочали, прикрыли детскую организацию. Что в ней было плохого? Речовки про Ленина – уберите, если у вас аллергия на этого человека, но организацию оставьте! Как красиво ходили ребятишки строем да с песней на Первомайском празднике, в День Победы. Любо посмотреть. Глядел каждый и радовался: такая смена растёт, умные, красивые, нарядные. Он и тут, в лагере, налюбовался, как прощальную линейку проводили, сколько красивых слов сказали. Лиза всю дорогу дедушке рассказывала, как весело они жили, как вкусно кормили в столовой, какие костры они жгли на огромной поляне и песню пели: «Взвейтесь, кострами, синие ночи...»

В корпусе подошёл к дежурной, женщина немолодая, можно поговорить. Оказывается, она работала в том лагере воспитателем, он в восьмидесятые годы стал круглогодовым, тут ребята и отдыхали, и основные предметы изучали, чтобы не отстать от программы. А потом свернули, оставили только три смены летом, но через два года закрыли совсем, вроде бы купил его прокурор города, начали перестройку, собирались устроить базу отдыха для состоятельных людей. Один корпус даже перекроили на одноместные номера с двуспальными кроватями. Но кто-то вмешался, прокурора быстро перевели в другую область, а всю базу забрало управление социальной защиты. Вот, теперь пенсионеры в основном приезжают.

– Скажи, любезная, отчего путёвки такие дорогие? Ведь нельзя сказать, что тут такой комфорт.

Дежурная посмотрела на него внимательно, словно определяя, можно ли говорить, наклонилась через столик:

– Вам скажу, почему-то доверяю, что не продадите меня. База эта частная, а хозяин – заместитель губернатора, и вроде как государство у него арендует.

Канаков покачал головой:

– И вывести их на чистую воду некому. Ладно, извините за беспокойство, пойду, погуляю перед ужином.

Тяжёлые думы теснились в его изболевшейся голове. Как могло случиться, что сменились люди у власти, и всё пошло к смерти? И раньше менялись, умер один генсек, принимает второй,

но в стране-то ничего не меняется! Заводы дымят, сев идёт и уборочная. Понятно, что кто-то соболезнает, жалеет, кто-то зубы скалит, такой огромный народ, всякие людишки попадают. А тут что? Откуда они взялись, эти чубайсы, березовские, поди, под тем же прикрытием, как и Бронштейн пробрался в Россию товарищу Ленину помогать революцию делать, только фамилию переправил на Троцкого. Если так, то и добра не следовало ждать. Опять же Ельцин. Был начальником в Свердловске, говорят, ещё тогда талоны на мясо вводил, а сам погуливал. А потом бац! – в ЦК, потом на Москву. Разве не видели, что он за птица? Почему я за день могу определить, будет из парня механизатор, или так, только рычаги дёргать, а они там такой мощной компанией, всем политбюро – не разглядели. А может, не хотели разглядеть, может, знали, что за кот в мешке? Специально поближе к центру перетащили, чтобы в нужный момент вытолкнуть на танковую броню. Нет, не хватает ума, чтобы объять все эти события. Тут бы в своих домашних не запутаться. За Никиткой нужен глаз да глаз, у такого корыта его посадили, всё в руках, а хватит ли духу это испытание пройти? Ромка тоже нарасшарагу стоит, Треплев его сломит, и ляжет под него сынок, будет исполнять барскую волю, а народишко – как хошь, так и живи. Прошкина торговля поперёк горла Григорию Андреевичу, и вся жизнь его вольная. Женить его не удастся, он волю зачуял, теперь при деньгах, больше в городе трётся, да и тут потаскивает каких-то, народ видит. Лишь бы на тюрьму не наскочил с какой-нибудь лярвой, обвинит в насилии, трусики в целлофане пакете в прокуратуру притащит, и останется Прошка голяком, а то и поедет тайгу допиливать.

Вечером заговорил с Николаем:

– После процедур санаторная книжечка раскрытая на тумбочке осталась, вы, получается, совсем молодой человек, в сыновья мне годитесь. Вот вы про веру говорили, это я понимаю, у меня тоже есть своя вера, я коммунист. Во что я верю, мне всё понятно: все люди равны, все люди братья, надо честно трудиться на благо общества, и общество тебя отблагодарит достойной пенсией, вот этой же путёвкой, только тогда, при социализме, она стоила копейки. Коммунисты хотят счастья для всех людей на земле. Вот моя вера. А твоя? Ты учился в советской школе, наверное, институт закончил. Расскажи свою жизнь, и я буду знать, кто ты есть на самом деле.

Николай долго молчал, Григорий подумал даже, что он вообще не хочет эту тему шевелить, но Николай заговорил:

– Да, я окончил среднюю школу, в институт не поступил, потому что сразу призвали в армию. Служил неплохо, был комсомольским активистом, даже предполагалось, что после срочной экстерном сдаю экзамены в Ульяновском среднем политучилище и служу по политчасти. Но случился Чернобыль. Нас подняли ночью и привезли на объект. Никто ничего не знал, даже офицеры. Солдат бросали туда, куда гражданские просто не шли. Мы работали месяц, потом госпиталь, комиссия и домой. Умирать. Я к тому времени уже хорошо понимал, что с моим организмом. Доза, которую мы получили, с жизнью не совместима. Дома мама, отец, они очень умные и грамотные люди, пытались мне помочь, но все понимали, что помочь уже ничем нельзя. И однажды ночью я ушёл из дома. На окраине города был монастырь. Я не знаю, что меня туда привело. До этого я ни разу не был в этом монастыре. Меня приняли, подготовили к исповеди, я все рассказал. Старый монах, который меня исповедовал, сказал, что надо молиться и просить Бога о спасении. Надо думать, он не имел в виду моё физическое состояние, он говорил о спасении души. Меня причастили и увели в келью. Это после монах Тихон сказал, что он попросил поместить меня отдельно от других послушников. Я стал читать

молитвы, конечно, до того не знал ни одной. Отец Тихон дал мне Старый и Новый Заветы с параллельным переводом со старославянского на современный русский. Я не спал и почти не ел, скоро стал понимать старославянский, стал ходить на службы, потом и на работы. В это время во мне произошло странное разделение жизни физической, жизни тела, и понимание жизни души. Я не знаю, как это объяснить, но я перестал бояться смерти, потому что уже почувствовал жизнь души, и о ней заботился больше, чем о теле. Так прошёл год. Я обратился к отцу Тихону с просьбой постричь меня в монахи. Он отказался. Он сказал, что я не создан для монастыря, во мне сильно физическое, человеческое начало, он даже допустил такую фразу: «Насколько я тебя понимаю, ты человек общественный, если ты действительно хочешь служить Богу, тебе надо идти в храм, к людям». И я пошёл. По рекомендации отца Тихона меня взяли в церковь Николая Угодника псаломщиком, потом рукоположили в дьяконы.

– Прости, что перебиваю, дорогой мой, а болезнь твоя?

– Я о ней не думал. Да, плохо кушал, мало спал, но это освобождало дорогое для меня время молитвы. И я молился до службы, после службы, ночью. Это великое блаженство говорить с Господом на языке молитв, которые он знает. Святой Николай, а вы должны знать, что он был епископом в Мирликии и сильно страдал за веру свою, так вот, он стал моим покровителем, я часто обращался к нему. Ещё год прошёл, приехал к нам владыка, управляющий епархией, захотел со мной встретиться. Долго мы проговорили, и он предложил мне приход, вот эту небольшую церковь, раньше она была при духовном училище. Очень хорошо сохранилась, вот и служу.

– А в Бога-то, в Бога как поверил?

– К Богу много путей, самый верный – когда семья верующая и воспитала ребёнка в вере. Это, скорее, относится к старому, досоветскому времени. Теперь такое редко, разве что в семьях священников.

– Обожди, Николай, какие семьи, вам же нельзя жениться, запрещено.

Николай улыбнулся:

– Монахи, да, они отрекаются от всех благ земных, от богатства, от женщины, от семьи, это слуги Господа, воистину праведные люди. Есть путь через знания, когда великие люди, ученые высокого уровня вдруг все оставляли и уходили в монастыри, либо жизнь и взгляды свои круто меняли. Помните, был такой Дарвин, убеждал, что человечество произошло от обезьяны. С ним даже казус случился. Когда он опубликовал свою работу, мир пошатнулся, Дарвин стал знаменит: ещё бы, ниспровергатель Создателя. На балу к нему подошла красивейшая дама общества и громко спросила: «Мистер Дарвин, неужели вы, станете утверждать, что я тоже произошла от обезьяны?» Хитрый Чарльз ответил: «Да, мадам, только от очень красивой». Так вот, прошло время, теория уже охватила мир, а сам учёный вдруг понял, какую глупость сморозил, отрёкся от своего учения и остаток жизни молился.

– Тогда остаётся, что Бог слепил человека из глины?

– Я не вдаюсь в детали, я знаю одно: человека создал Господь, а потом понял, что создание несовершенно, наказал вероотступников и послал на землю сына своего Иисуса, дабы он показал людям пороки их, взял на себя все грехи человеков и взошёл на крест. Он принёс обновлённую веру, и предки наши славяне приняли её, как свою.

Григорий аж привстал:

– Но Иисус был еврей, и вера его еврейская, как это впарили её славянам? У них же были свои боги?

– Языческие. Но уже тогда были люди, понимающие, что народ должна объединять идея. Христианство – это мощнейшая философия, и грамотные люди, изучив её, приняли, как свою. Иисус предупредил, что в вере нет ни евреев, ни эллинов, никаких других наций, всё отменяет вера в Господа, и все люди равны, все имеют одинаковые права.

– Обожди, тут мы с тобой сходимся, что люди братья.

– Дорогой мой Григорий Андреевич, ваш моральный кодекс строителя коммунизма полностью списан с Христовых заповедей.

– Да не может такого быть! Да ты врешь! Неужто в ЦК бы этого не заметили?

– Не думаю, что не заметили, более того – знали, но нет другой морали, кроме Христовой, ну, перелицевали и сделали коммунистической. Теперь о моем пути. Это путь через физические и нравственные страдания. У меня не было выбора, либо гнить, либо молиться. Это соломинка. И она меня спасла. Как же я после этого могу не верить?

Григорий Андреевич вздохнул:

– Да, дорогой мой человек, перенёс ты много чего. Быть у смерти на краю и увернуться – это не каждому дано. А товарищи твои, с которыми вместе был в Чернобыле, они-то как?

Николай трижды перекрестился:

– Ушли. Все. У меня есть фотография первого дня на объекте, когда мы ещё ничего не знали. Взвод солдат, человек тридцать, всех знаю по именам. Когда прощались, адресами обменялись. Я с друзьями и их родителями связи не терял, они мне время от времени писали, за упокой кого молиться. Я крестиком отмечал. Все, один остался.

– Семья у тебя большая?

Священник вздохнул:

– Нет семьи, перед рукоположением во священники обвенчались мы, но не прожили и месяца, ушла моя жена. Я не предполагал, что... Чернобыль столь безжалостно встанет между мною и женщиной. А поскольку священник не может быть неженатым, владыка дал согласие на монашеский постриг. Вот, отдышусь тут, и в монастырь.

– Это где?

– Тот самый, куда и в первый раз приходил, под городом. Буду служить там.

– Там что, и церковь есть?

– Прекрасный храм, возрождённый из развалин, а освящён был в 1780 году. Намоленное место. Как обустроюсь, обязательно вам напишу, вы мне адресок оставьте. Может, доведётся бывать в наших местах, все-таки областной центр.

– Ладно, обещать не буду, но адрес дам. Мало ли что...

На третью ночь Григорию приснилась жена, да не сегодняшняя, а молодая, какой была она, когда ходила первенцем, чуть располневшая, большегрудая, медлительная. Гриша в то время души в ней не чаял, ведра воды принести не давал, все по хозяйству делал, даже корову доил сам. Матрёна смеялась, а в сердце такая радость была, такое счастье.

Она долго скрывала от мужа, что понесла, только в постели просила горячего Гришу не мять её, сторонилась крепких объятий, уже и не знала, на боли в каком месте сослаться. Дали Григорию три дня для сенокоса, уехали ещё потемну на колхозной Карюхе на свой родовой покос, Гриша быстро шалаш сделал, ямку под продукты, чтоб не сох хлеб, не скисло молоко, да и мясу солёному тоже надёжней.

Косил Гриша большой литовкой, Матрёне сделал маленькую, ловкую. Гриша один проход сделает, ей надо дважды идти, чтобы такую ширину взять. Матрёна старалась не отставать, но и торопиться боялась, живот хоть и прятала под широкими кофтами, но уже выпирал, того и гляди, Гриша заметит.

Пужинали простеньким супчиком, молочко допили, Гриша сказал:

– Ты ложись-ка, а я пройду, погляжу дальний покос.

Легла она на спину, так легко, и даже забылась чуток, вздремнула, а ребёночек легонько её толкнул, да ещё раз. Слезы покатались от радости, и прошептала:

– Да миленькой ты мой, как же долго я ждала тебя!

– Ты это с кем говоришь? – тихонько спросил муж, так незаметно прошёл в шалаш, что она и не слышала.

– Гришенька, в тягостях я уж четвёртый месяц, вот ребёночек и шевельнулся во мне.

Григорий чуть не вскочил во весь рост, встал на коленки:

– Чего же ты молчала, глупенькая моя? Или я не рад был бы ребёночку? Умница, сладкая ты моя бабочка. Все, откосила, будешь рядышком со мной, а потом в шалаш, перегреваться тебе тоже нельзя.

Полежал Григорий Андреевич, понежился в сладких воспоминаниях. Да, трое парней на радость родителям бегали по большому дому, росли, в школу один за другим, в пионеры, в комсомольцы. Гордился отец сынами, в открытую гордился, а потом случилась революция, сломалось государство, партия, народы разметало по сторонам и странам, люди переменились, и сыновья его тоже, он это заметил. Почему? Разве не было в доме жестокого порядка: не ври, не воруй, не завидуй. Было... Тогда почему почти вдруг ребята его тоже сломались, какая ржа съела их благородный стержень внутри? А может, надо было плюнуть на всё, пропади она пропадом и советская власть, и партия вместе с Зюгановым, если за всякое честное слово, за попытку вывести кого-то на чистую воду он платит сыновним отторжением? Молчал бы, занимался пчёлами, рыбачил, как добрые люди, не влазил в дела детей своих – самостоятельных мужиков – и жизнь была бы спокойней, и дети в порядке, и Матрёнушка моя пекла бы пироги да щи варила? Что, разве не так? Да так, только это не для него. Откуда эта непримиримость? Может, от того, что сам всегда жил честно и чужой копейки в руки не брал, может, потому и бесило его, что тащат не своё, тащат наше, общее, не спросясь, да ещё бахвалясь.

Оделся, вышел в коридор, постоял у окна. Интересно, могло ли в другой стране такое случиться, что кучка людей объявила себя властью, изобрела правительство, кто-то пытался вякнуть – расстреляла из танков. И все стали миллионерами, этими, холера, трудное слово: олигархами! А народ голый. И после размышлений приходил к выводу: нет, нигде такого быть не могло, только в России, потому что русский человек равнодушен, это Григорий и на партийных собраниях видел. Обсуждается серьёзный вопрос, а зал молчит. Выскочат три-четыре «звоночка», в парткоме написанные речи зачитают и голосуем: «Одобрить». А рядом сидит бригадир, третью лошадь казахам продаёт, и все падежом списывают с ветврачом. Пошёл к директору, тот чуть не выгнал: быть такого не может! А от безразличия до глупости один шаг, и мы его сделали. Да, страна наша такая, что судьба каждого человека невидимой пуповиной связана с судьбой всей страны. Когда-то это было хорошо, когда всей страной работали и на человека, и на страну. «Вот видишь, – подумал Канаков, – если хорошенько порассуждать, к интересным выводам прийти можно. Возможно, где-то тут причина падения моих сыновей».

Утром пошёл на почту, вызвал свой дом. Матрёна ответила, как всегда:

– Квартира Канаковых слушает,
– А из Канаковых все ли дома? – нарочито громко спросил Григорий.
– Гриша, родной мой, а я сегодня тебя во сне насмотрелась, истосковалась уже.
– Ну, ты наговоришь, четыре дня не прошли, а ты уж тоскуешь!
– Ладно, больше ничего говорить не стану.
– Обиделась, маленькая моя, а, я сам страшно стосковался, и тоже во сне тебя видел.
– Хорошо хоть там у тебя?
– Все в порядке, только вот сегодня заскучал шибко. У тебя все нормально?
– Хорошо, Гриша, ты отдыхай и возвращайся скорее. Я хоть обниму тебя, и мне легче будет.

– Все, время выходит, позвоню через два дня.

Кого обманывал Григорий Андреевич? Какие два дня, на следующее утро позвонил, потом ещё вечером сбегал. После разговора немножко погулял и вдруг понял: да мы же больше чем на день, с Мотюшей не расставались, а тут уж целая неделя прошла. Ну, те санаторные месяцы по тяжелой болезни не в счёт. И грустно было, и радостно, что вон какую жизнь прожили, больше полвека, а единого плохого слова друг дружке не сказали. Случалось, по молодости и выпивал Григорий с ребятами с получки, но всегда шёл домой, хотя такого мужика заманивали молодухи, тем более, пока детей в семье не было. Он приходил, тихонько раздевался, Мотенька помогала снять непослушные сапоги, помалкивала, дочиста мыла мужа, кормила горячим супом и укладывала спать. Утром он виновато прятал глаза, а жена, как ни в чём ни бывало, подавала чистую рубашку, брюки, вымытые и высушенные сапоги, и целовала крепким поцелуем у порога.

– Ты не спишь, Николай? Я специально ухажу перед отбоем, чтобы ты молился, при постороннем человеке это, наверно, неловко.

– Да, я заметил ваше понимание и благодарю.

– Вот ты мне скажи про исповедь. Приходит человек, встаёт перед священником и кается в дурных делах. Ну, про чужую бабу может сказать, про мелочи всякие. Но если он преступник, он же не скажет?

– На исповеди ничего нельзя утаить, и дело не в священнике, Бог-то всё равно знает про его грех. Утаил – трижды согрешил, уже не только перед людьми, но перед Богом. Потому надо признавать все прегрешения.

– И ты их отпустишь, освободишь от ответственности. Это по какому праву?

– Я говорю на исповеди от имени Господа, я же не скажу: «Прощаю грех твой», а скажу: «Бог простит», но и назначаю епитимию, наказание, это прежде всего молитва, поклоны, если грех велик – советую паломником пойти в монастырь или даже на Святую Землю, если, конечно, знаю, что этот прихожанин состоятельный человек.

– Обожди, я чего-то не понял. Вот новый русский, жулик, пришёл к тебе и кается, что обманул компаньона или ещё что-то, может даже – убил! Убил, да! – и что ты скажешь?

– Молиться и каяться, другого нет пути.

Григорий вскочил с кровати:

– Жулик, обманул, убил, надсмеялся – ему место на лесоповале или в урановых рудниках, а ты – молиться и каяться? И куда это приведёт? Да ты просто обязан сдать его органам!

Николай тоже присел на постели:

– Вопрос сложный, но ответ на него простой. Если человек пришёл в церковь, значит, он осознает и думает о спасении души. Я не могу советовать ему идти с повинной и информировать органы тоже не могу, тайна исповеди священна, знают кающийся, священник и Господь. Молитвой и смиренной жизнью оступившийся может заслужить прощение Господа, и на Страшном суде это зачтётся.

– Во! Я понял всю вашу фальшь! Вот где собака зарыта! По вашему получается: грехи, грабь, насилуй, а когда пресытишься или, не при тебе будь сказано, ни на что уже желания нету, тогда добирайся до ближайшего попа, он тебе грехи отпустит и душа спасена. Так это или не так? Так, Николай, и тут ты мне ничего не возразишь!

– А я и не стану вам возражать. Я хотел только, чтобы вы поняли: иного спасения души нет, кроме раскаяния и молитвы. Даже если человек забыл о каком-то грехе, есть специальная треба, называется соборование, когда все кающиеся коллективно молятся о невольно забытых грехах, и всё отпускается им.

– Но это же предательство интересов народа, я не имею в виду старушек, которые и на самом деле забыли, когда в последний раз грешили, а вот эти жирные рожи, которые по телевизору показывают, сам патриарх с ними, каждый день грехи отпускает.

– Я не в праве обсуждать поступки Святейшего патриарха, но вы, должно быть, слышали притчу о разбойнике Кудеяре? Разбойник был, каких свет не видел, сколько душ невинных погубил, а потом осознал, обратился к Господу и раскаялся. И был прощён.

– Ваша политика прощения всякого подлеца нам не подходит. Мы за то, чтобы каждый ответил за сотворённое здесь, на земле, по нашим советским законам, и мы этого добьёмся. А вашей политики я никак не пойму: прощать преступника без наказания!? Куда это годится, и что это за вера такая? Вам её демократы не подменили, это как раз про них?

– Что вы, Григорий Андреевич, христианство старше демократии, по крайней мере, в нынешнем её виде.

– Да, уж в нынешнем-то она без вашего всепрощения никуда. Ладно, сосед, поговорили, и довольно, надо отдыхать. Спокойной ночи.

Хоть и не первые выборы проводил Роман, но всякий раз появлялись новые проблемы. Чуть-чуть подправили закон о выборах, заставили перетрясти все участковые комиссии, чтобы свои люди были, никого лишнего. Когда принесли протоколы по выдвижению в состав комиссий жириновцы и коммунисты, Роман позвонил в районную администрацию управляющей делами: как быть?

– Найди причину отказать. И не вноси на территориальную до последнего дня, а потом откажите, найдите повод. В общем, все в твоих руках, Роман Григорьевич, ты же понимаешь: если в комиссиях будут эти люди, процент тебе не набрать.

Когда с комиссиями кое-как утрясли, никого посторонних не пустили, партийцы написали жалобу в облизбирком, но там им ничего не светило, Роман об этом знал. Перед обедом к нему забежал Прохор:

– Что опять у тебя за шум? Мои девчонки сейчас сказали, что только и разговоров в магазине про то, что вы большевиков и жириновцев отшили.

– Отшили, есть причина.

– Ну, темни. А не думал, что батя придёт разбираться?

Роман вскочил с кресла, нервно закурил.

– Ты же вроде бросал?

– Тут не только закуришь, а запить впору. Вот скажи, что это за положение такое, и рыбку съесть, и на рыбалку не ходить. Выборы ещё когда, а мне уже процент сказали, чтобы не меньше.

Прохор засмеялся:

– Рома, кому они нужны, эти выборы, если всё заранее известно? И ты процент дашь, и другой тоже, Треплев душу из вас вынет, а контрольную цифру выдаст. Кстати, отец знает про ваш ход и загадочно молчит. Как думаешь, почему?

Братья помолчали, переглянулись, Прохор опять засмеялся:

– Вот посмотришь, батя привезёт удостоверение наблюдателя от Зюганова.

– Ты думаешь?

– А что тут думать? Уверен. И затребует у тебя протоколы всех участковых. Вот и всё, потому он спокоен.

После обеда позвонил из района секретарь парторганизации коммунистов, сурово сказал, что в полном соответствии с законом о выборах администрация должна предоставить партии помещение для встречи с избирателями. Роман спросил, на сколько мест нужен зал, секретарь ответил, что не менее трёхсот.

– Тогда вам надо в райцентре встречу организовывать, у нас таких залов нет.

– А Дом культуры?

– Там двести мест.

– Мы согласны. Встреча завтра в восемь часов. Заявку сейчас сброшу факсом. И вас бы просил присутствовать.

Ближе к вечеру позвонил Треплев:

– Ну, хвались, Роман Григорьевич, что у тебя хорошего в подготовке к выборам? У тебя что за разговор был с Парыгиным, он постоянно интересуется, и с такой ехидной ухмылкой. Что ты ему наговорил?

– Да в целом ничего особенного, поговорили об особенностях политической обстановки.

– Ишь ты, какой стратег! Ты думай об особенностях своего сельсовета. Завтра к тебе большевики? О чём договорились?

– Просят Дом культуры.

– Не давай.

– Так я вроде пообещал...

– Знаешь, Канаков, если бы я все обещания выполнял, давно бы уже на бирже стоял как безработный. Сегодня пообещал, завтра отменил. Скажи клубникам, чтоб все двери закрыли и умерли. И Никите Григорьевичу скажи, чтобы нашёл способ не пустить в свой зал заседаний. Кстати, на завтра дождь обещают. Пусть они под зонтиками встречу проводят. Так, теперь о деле. Нашёл тебе денег на асфальтирование, у тебя в проекте школьная территория и детский сад, так вот отложи, я уже сказал дорожникам, пусть делают гостевую улицу, со въезда и до администрации, а то приедет добрый человек, и стыдно, хоть провались. Ты контрольную цифру помнишь? Так вот. Рекомендовано главам за каждый процент перевыполнения по сто долларов. Соображай.

Роман зажал голову руками: что делать, как себя вести? Он запутался во лжи, хоть специальный блокнотик заводи, куда записывать, кому что обещал. Некстати вспомнилось: «Не ври, и ничего не надо запоминать». Половина из обещанного сама собой забывалась, бывает, встретишь на улице человека, точно знаешь, что был он с какой-то просьбой, ты что-то пообещал, наврал, скорее всего, потому что Треплев строго-настрого наказал все заявления и жалобы перед выборами обязательно решать положительно, не можешь сделать – тогда обещай. А выборы пройдут, там видно будет.

Вчера вечером Марина завела трудный разговор о его работе, о куче неисполненных просьб населения, о нелестных отзывах односельчан. Роман любил и ценил Марину, она умная женщина, раньше вообще не встревала в его дела, а вчера:

– Роман, ты не сердись, я вижу, как тебе трудно. А трудно потому, что в тебе стержень вашей породы, ты вроде там уступку допустил, в другом месте глаза закрыл: а, ладно, не это главное. И верно, это все мелочи, но они изматывают тебя. Ты же честный и порядочный человек, на тебя дети чуть не молятся: папа справедлив, папа за народ. Вот сейчас с выборами – верхам нужна победа в первом туре, они все уши прожужжали по ящику, а какие брожения в народе, ты знаешь? И в любом случае спрашивать будут с тебя, и власть, и люди. Ты оказался между молотом и наковальней.

– Какие ко мне вопросы, Марина? Я соблюдаю закон о выборах, вот завтра приезжает делегация от компартии, даю им дом культуры, пусть встречаются. Приедут жириновцы – пожалуйста. Все права соблюдены.

Марина взяла полотенце и начала вытирать обтёкшую посуду.

– Хочешь правду, Роман? Не дашь ты завтра коммунистам Дом культуры, ведь не дашь, и, скорее всего, Треплев уже научил тебя, как сподличать. И ты сделаешь это, потому что границу дозволенного ты уже перешёл. Эта история со членами комиссии. Ты думаешь, я поверю, что это случилось без тебя? Роман, надо остановиться. Треплева можно понять, ему нужно кресло в областной администрации, пусть самое скрипучее, и он вас таких десятков может сложить в кучку, чтобы допрыгнуть. А тебе это зачем? Мы пока уважаемые люди, пока с родителями видимость приличных отношений, но я боюсь, Рома, что эти выборы разрушат всё, и доверие человеческое, и семью нашу тоже.

Он подошёл к столу, обнял жену за плечи, она резко повернулась и уткнулась в плечо.

– Успокойся, всё будет хорошо, я тебе обещаю.

Это обещание записывать не надо, оно всегда на виду и всегда в памяти. Роман понимал, что нынешние выборы важны не только для страны. Работая в самом низу пресловутой государственной вертикали власти, не имея сколько-нибудь приличного бюджета, на сто процентов зависимый от отношения к тебе главы района, он понимал, что создаваемая такими путями и столькими усилиями система никогда не будет нормально работать на народ, на его село. Он уже выбрал линию поведения: выполнять, насколько это возможно, указания Треплева и в то же время сохранить своё лицо и свою душу. Он не верил в победу Зюганова, даже если он и наберёт голосов больше, эти ребята ни за что не отдадут власть, потому что для них это равносильно смерти. Любая новая власть предъявит обвинения, и они не многим отличались бы друг от друга, а отвечать пришлось бы на уровне Всенародного суда.

Утром на щите у Дома культуры увидел объявление о встрече с доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Сергеем Ивановичем Романчуком. От неожиданности остановился, перечитал: приедет Романчук, бывший первый секретарь райкома, который

направил его, Романа Канакова, секретарём парткома в Кировский совхоз, и три года до запрещения партии они работали бок о бок. В голове все смешалось: «Закрыть Дом культуры не получится, врать Романчуку я не смогу. А если позвонит Треплев? Не буду подходить к телефону, пусть звонит». Незаметно для себя Роман стал искать путь к истине.

С Романчуком встретились, как старые знакомые, после запрета партии Романчук долго не мог найти работу, хотя толковый экономист, опытный организатор, потом пристроился в лесной конторе, так что почти не встречались. Роману показалось, что Романчук встрече искренне рад.

– Рассказывайте, как работа, как настроение, как семья, дети?

– Дома все нормально, работа – сами видите какая, а настроение ни к чёрту.

Романчук удивился:

– Что так? Вы же все Канаковы из породы оптимистов. Отец здоров?

– Ещё как! Ждите, на встречу придёт, вопросы будет задавать.

– Я помню его, поверьте, если бы все семнадцать миллионов членов партии были настоящими коммунистами, как Григорий Андреевич, никто бы не сумел нас подмять. Вы знаете, что он приезжал ко мне с предложением вооружённого мятежа и установления партийной власти в районе?

– Когда? – испугался Роман.

– Перед запретом партии. И он был не один. Я связался с обкомом, меня успокоили, что ситуация под контролем. А через несколько дней Ельцин подписал указ о запрете КПСС, причём унижительно, беспардонно, в прямом эфире. Я в конце девяностых заканчивал академию при ЦК, уже тогда очень солидные люди говорили о подобном повороте истории. Так, довольно о прошлом, наши прежние отношения позволяют мне задать вам вопрос прямо, Роман Григорьевич: как проголосует ваш избиратель? Вы же чувствуете обстановку, настроения? Даю слово, это строго между нами. Просто мне хочется знать ваши оценки. Можно?

– Сергей Иванович, честно сказать, и мне это все порядком надоело. Наверное, мы в своё время работали плохо, были и ошибки, и откровенные закидоны, типа неперспективных деревень или содержания всего третьего мира за свой счёт. Было. Но так мы не жили. Если людей не пугать, не угрожать невыплатами зарплаты или пенсий, а дать проголосовать свободно – проголосуют за коммунистов.

Романчук помолчал, заговорил тихо:

– Мне сегодня звонил Геннадий Андреевич, видимо, у него есть координаты всех доверенных лиц. Задал тот же вопрос, что и я вам, и я ответил почти слово в слово, как и вы. Зюганов обеспокоен возней неких группировок, видимо, это идеологическая поддержка из Штатов. Очень много провокаций. Сказал, что у Ельцина очередной инфаркт, по крайней мере, сильнейший приступ. И они его затаскали по разным шоу, даже, говорит, жалко старика. Ему стало известно, что на случай нашей победы готовятся крупные акции, не исключены и военные. Усиленно внедряется лозунг «Зюганов – это гражданская война!». Какие изощрённые сволочи! Они знают, на чём сыграть, наш народ уже один раз чуть не захлебнулся в собственной крови, генетически помнит, что такое гражданская война. Ну, вот, пожалуй, и всё. Мы будем просить заверенные копии протоколов участковых комиссий, в рамках закона, не думаю, что вы будете возражать?

Из кабинета бухгалтерии позвонил домой, Марина сразу доложила, что несколько раз звонил Треплев и просил связаться с ним, желательно до встречи.

– Уже поздно, встреча начинается. Я просил бы тебя быть там вместе со мной. Придёшь?

– Рома, я уже собираюсь.

Романчук начал встречу ровно в восемь, но народ всё подходил, и кто-то крикнул:

– Начальник, тормозни минут на пять, народишко соберётся.

Романчук улыбнулся:

– Хорошо, только я не начальник уже давно, а был первым руководителем района, если помните.

– Помним! – раздались голоса, и Канаков заметил, как заблестели слезой глаза бывшего первого. И вдруг в этом дружном «Помним!» Роман услышал голос отца, здесь, и будет держать речь. Странно, но это даже порадовало его.

– Чтобы не терять время, я приведу вам некоторую статистику. Сегодня район использует только семьдесят процентов посевных площадей. Да, частично заброшены малопродуктивные земли, мы в своё время ими не брезговали, но у нас задачи были другие. Количество скота сократилось на шестьдесят процентов, в том числе коров на половину. Свиной вырезали почти всех. Ликвидирована наша гордость – гусеферма, продававшая почти сто тысяч суточных гусят для населения. Молоко стало дешевле газировки, мясо закупают только наши азиатские братья, картофель перестали закупать совсем. В вашем селе жил Моспанов Яков Лаверович, если мне память не изменяет. Мы поставили ему в огород два «ЗИЛа», и он их полностью загрузил, сдал в заготконтору картошки на двенадцать тысяч...

– ...и триста двадцать пять рублей семнадцать копеек! – Моспанов встал, и зал приветствовал его аплодисментами.

– Помню, что мы тут же выдали распоряжение продать товарищу Моспанову «Ниву». Купили вы машину, Яков Лаверович?

– Купил, и до сегодняшнего дня езжу и благодарю советскую власть.

Романчук довольно умно построил своё выступление, он находил в зале знакомого человека и спрашивал о семье, о детях, о доходах, и люди выворачивали на всеобщее обозрение свои проблемы и беды.

Через полтора часа задушевного разговора Романчук сказал:

– Вот, дорогие товарищи, и закончилась моя агитация. В день выборов вы все должны прийти на участок и проголосовать. Обязательно все, как было в добрые советские времена. Вы все взрослые и умные люди, вы сумеете сделать правильный выбор. Спасибо.

Зал устроил Романчуку такие аплодисменты, каких не слышали даже приезжие артисты. Гости проводили до самой машины. Канаков подошёл последним:

– Спасибо, Роман Григорьевич, очень славная получилась встреча, правда?

– Могу вам только позавидовать в умении работать с людьми.

– Да, это наука, но она крепко связана с реальной жизнью. И вы это заметили. И последнее: какие у вас отношения с Треплевым?

– Очень натянутые, и думаю, после выборов будут ещё хуже.

– Остерегайтесь его, я возражал против его перевода в райком, но давление было сильное, пришлось сдаться. Мы проработали вместе чуть больше года, а встречались только на бюро и в коридоре. Очень тяжёлый, злой и крайне жестокий человек. Впрочем... Чуть не забыл. Помню, консультировал вас по кандидатской. Что-то получилось?

– Ничего. Когда началась эта заварушка, я тоже несколько месяцев был не у дел, не до кандидатской.

– Всё, прощаюсь.

Они пожали друг другу руки, и старенькая «нива» бывшего первого секретаря покатила в сторону райцентра.

Торговля Прохора быстро пошла в гору, взял в банке кредит под гарантию кооператива брата, купил газончика с будкой, каждую неделю ездил в город за товаром. Юрик подписывал все, что просил Канаков, и за дорогу, накинув половину цены на каждый продукт, Прохор мог назвать сумму дохода. Получалось солидно. Конфеты, вафли, печенье, пряники в шоколаде и без, новоявленные изделия типа «сухих завтраков» и печенья «плазма», зефиры и мармелады – все было для села новым, неожиданным, люди покупали коробками, авторитет магазина рос, Прохора хвалили даже в районной газете.

Девчонки оказались симпатичными и разными, хоть и близнецы, Валентина смугленькая, круглолицая, ростом повыше сестры, на язык остра. Галина беляна, косу растит, телом поплотнее будет и тоже хороша. Прохор встретил с улыбкой:

– Вы в торговом деле хоть что-нибудь сообщаете?

Сестры переглянулись:

– Мама всю жизнь в магазине, и мы ей помогали. Так что на весах нас не обойдёшь и по кассе не обсчитаешь, – с вызовом ответила Валентина.

– Ну, тогда весь барыш наш. А ведь я вас совсем не помню, учиться уезжал – вы ещё пионерками были, а теперь невесты на выданье. Отец ваш просил моего отца, а мой рассуждать не любит, пришёл и сказал: принять! Медицинские книжки и паспорта при вас? Положите вот сюда, я потом договора напишу, обсудим. По зарплате. Сами понимаете, пока на берегу, как дело пойдёт? Потому сделаем гарантированную и плюс процент от выручки, думаю, месяца через три работы всё встанет на свои места. Смены так: одна с восьмью, другая с двух, возможно, и вместе придется, если товар ходовой.

– Прохор Григорьевич, а водка будет?

– Сложный вопрос. Пока не будет, отец не разрешает.

– Слава Богу! – В голос выдохнули сестры. – От пьяниц одни неприятности.

Когда девчонки ушли, Прохор почувствовал, как колотится сердце. Такие юные, чистые девушки, и он всё время будет с ними рядом. Если и волочится кто-то, надо сразу отшить, найти причину.

Отец не ошибся, в тот день действительно была у Прошки гостя, из соседней деревни приехала на автобусе. Так, ничего серьёзного, встретились в райцентре, понравилась, мимо дома проехал, проводил, пригласил в гости. Она и явилась на другой день. Наслаждались до обеда, а потом Инночка стала наводить порядок в комнатах, всю посуду перемыла, пропылесосила, протёрла мебель. Прохор уж забеспокоился, не навсегда ли остаться собралась подруга. Как бы между прочим спросил:

– У тебя автобус в шесть?

Она засмеялась:

– В шесть, Проша, не бойсь, я в жены не тороплюсь. Ты скажи, если хорошо со мной, то будем встречаться, надоест – тоже скажешь.

Прохор тоже улыбнулся:

– Даже так? Абсолютно свободные отношения? Только попрошу, пока мы встречаемся, третьего быть не должно. Договорились?

– Само собой, Проша. Ты завтра купи что-нибудь, у тебя в ванной весь фаянс зелёный. А я приеду, заодно и почищу.

Настоящей любовной школой стал институт, Прошка, деревенский парень, сразу влюбился в городскую девушку из соседней группы, а как подступиться – не знал. Страдал, в учёбе отставать начал, и пришёл к ним в комнату разбитной паренёк, тоже городской, но с родителями не в ладах, добился места в общежитии. Ему-то и поведал Прохор свою беду.

– Ты мне её завтра покажи, – вскользь бросил Славик и продолжал читать какую-то книгу.

Прохор показал издали, Славка кивнул, и через пару дней на танцах в клубе общегития Лена его пригласила на дамский вальс. Ну и закружилось. Они сбегали с лекций, когда её родители были на работе, и курдались в квартире до пяти вечера. Потом Леночка все прибирала, и они уходили в кафе или в клуб. Компания у Леночки была большая и дружная, когда на зимних каникулах поехали в загородный пансионат, Леночка предупредила:

– Проша, ты Мадленке очень понравился, так что сегодня она к тебе придёт.

– А ты? – безнадежно простонал Проша.

– А я у Виталика буду. Да ты не переживай, у нас все просто, ты осмотришься завтра, какая понравится, ту и приглашай. Если она уже забита, она скажет, пойдёшь другую искать.

– Лена, я не хочу, чтобы ты куда-то уходила, я тебя люблю.

Леночка расхохоталась, обвила шею друга, поцеловала в губы:

– Милый мой лопушок, с любовью придется поглотить, пока мы молоды и друг другу интересны. А любовь, Проша, на первые три месяца, а потом начинается рутинная семейная жизнь. Вот перепиши сегодня с Мадленкой, завтра скажешь.

Прохор на все махнул рукой, учился кое-как, на зачётах научился вкладывать в зачётку выменянные на отцовское пособие доллары, бурные встречи в компании тоже влетали в копеечку. В очередной приезд домой отец его огорошил:

– Прохор, может, нам для тебя проще будет диплом купить? Вон, по ящику говорят, что в Москве в каждом переходе продают. Я тебе на самолёт денег дам, слетай, это мне дешевле обойдётся. Ты посмотри, вот квитанции на твои переводы. Тут не только моя пенсия, но и весь приработок от пчёл и куриц.

Прохор пробежал глазами квитанции и покраснел: как он раньше не подумал, что отец шлёт ему последнее. Стыдоба! Ладно, если братьям не говорил:

– Все, папка, перехожу на самообслуживание, буду зарабатывать. Переводов больше не шли.

– Ты не кобенься, тарелку супу мы тебе купим, но эти гульбища бросай, такие расходы только с бабами связаны, а эта статья безлимитная, особенно по нынешней молодёжи. Ты Аннушке почему перестал писать? Приезжаешь, даже не спросишь, может, она тоже в гостях? Э-э-э, дурак ты, Прошка, Анюшка девка наша, на глазах выросла, порода работящая, чистая, а ты связался с отрпьем вокзальным. Есть хоть в твоих компаниях порядочные девки?

Прохор пожал плечами:

– Папка, порядочность настолько размытое понятие...

– Вон отсюда! Щенок малограмотный! Я тебе все сказал, а ты думай.

Думать было некогда, в неделю раз ходил на разгрузку вагонов, на другой день заработок вылетал вместе с пробками шампанского в очередном уютном особнячке. Лена уже была в категории всех остальных, и утром после весёлой ночи Прохор сказал:

– Лена, я больше в компании не участвую. Прощай.

– Прощай, Проша, но ты уже хватил свободы, другой жизнью едва ли сможешь жить...

В свободные от поездок дни Прохор приходил в магазин и работал в оборудованном рядом с залом небольшом застеклённом кабинете, откладывал бумаги, выключал свет и, сидя в кресле, наблюдал за продавщицами. Он купил им красивые лёгкие костюмы, Валя надела его без стеснения, а Галю смущало глубокое декольте. Она в первый же день надела под жакет белую кофточку.

– Ты почему нарушаешь форму одежды? – нарочито сурово спросил Прохор.

– Мне так удобней.

– Галя, надо думать не о себе, а о клиенте. Клиент заходит не только купить что-то, но и полюбоваться на красивую продавщицу, так ведь?

– Ну, не знаю, только я в таком жакете работать не смогу.

– Галюня, – убеждал хозяин, – ты очень красивая девушка, и твоя скромность снижает нашу выручку.

На другой день Валя сказала Прохору:

– Вы её не убеждайте, бесполезно, она даже при мне старается не раздеваться. А после вашего разговора так и отрезала: «Не хватало мне ещё груди бросить на весы!»

Прохор засмеялся, а потом спросил:

– Валя, а ты этого не боишься? Насчёт весов?

– Нет, Роман Григорьевич, не боюсь, у меня все надёжно схвачено, это Галинка со своим хозяйством пособиться не может.

Эх, как метнулась по организму кровь молодого человека, верно говорят, что одним только словом можно возбудить мужчину, всего одним, которое мгновенно родит в его ждущем сознании образы, от которых невозможно освободиться. Чтобы не выдать себя, он ушёл в кабинет, но Валентина заметила перемену и прикусила губу: не просто с хозяином говоришь, а с молодым мужчиной, к тому же слава за ним тянется не только из города. В деревне заметили дневную визитершу, и уже вечером отец как бы случайно встретил сына на дорожке к дому:

– Проша, сегодняшний день по православным понятиям постный. А ты грессишь, скоромное дозволяешь. У тебя, поди, и суп мясной? Про другие достоинства не спрашиваю, староват, да и не отцовская тема, я про пищу. Она тебе сготовила чего, или к матери пойдешь на ужин?

Прохор оглянулся – вроде никого нет, не хватало ещё, чтобы люди видели, как отец сына воспитывает. А он точно пришёл навести порядок, как бы кулак не поднёс посреди улицы.

– Папка, пойдём в дом, что мы на виду всей деревни?

– Застеснялся? Это хорошо, значит, не до конца ещё совесть потерял. Пошли. Но вот что я пришёл, Прохор. Ты легковушку купил – на какие шиши? Натрговать ещё не успел, в долги залез? Ты с деньгами не играй, это штука опасная, не таких, как ты, до могилы доводила. Братья дали? Я так и понял. Второе. Мы с тобой говорили про женитьбу, но ты, я вижу, не спешишь отца порадовать. Аннушку не собираешься разыскать? Скажу тебе честно: лучшей невестки я бы не желал.

– Папка, но не ты ведь на ней жениться должен, а я, по твоему раскладу. А я не хочу.

– Признайся, с ней тоже спал?

Роман замялся:

– Ну, как тебе сказать?

– Как было, так и говори! – рявкнул отец. – Значит, испортил девку, а теперь рыло воротишь? Эх, жалко, прошли те времена, я бы тебя сегодня же оженил. Какая девка! Красавица, умная, светится вся от доброты, а ты, свинья, нос воротишь!

– Папка, на Анне я не буду жениться, у нас все кончено, мы разошлись мирно и дружелюбно.

– Во подлец! Да она тебя, дурака, до сих пор любит, замуж не выходит, по весне матери твоей призналась, что никого, кроме тебя, ей не надо. Во как! Проша, тебе не под три ли десятка? Уже седина прочикнулась! И все орёл! Гляди, скоро линька начнётся, воронье перо попрёт! Значит, так. В столовании я тебе отказываю, это раз. Второе: если до Октябрьской не приведёшь невесту показать – гоню из дома, у меня на ограде ладная избушка есть, тебе по холостяцким меркам и того много. Я не тихо говорю, ты меня хорошо слышишь?

Ответа ждать не стал, хлопнул калиткой и вышел. Мотнул седой головой, понимал, что пустые речи, от сына, как от стенки горох, все его слова отлетели.

Какая женитьба, если рядом две такие крали, такие цыпочки! Прохор в окно наглядеться на них не мог, иногда перед открытием проходил за прилавок, вроде товар на витрине поправить, протискивался возле девушек нарочито аккуратно, хотя едва сдерживал себя, чтобы не схватить в охапку.

Вечером Вале сказал:

– У нас разногласия с фирмой «Альянс», возьми последние фактуры, съездим, сверим.

Валя искренне удивилась:

– Роман Григорьевич, так ведь бухгалтер есть?

– Она приболела. Галя день отработает, а потом ты её подменишь. Я к тебе в шесть утра подъеду.

Машина не новая, но все-таки не «жигули», «мерседес» голубой окраски, так и горит на солнце. Не выходя из салона, наклонился, открыл правую дверцу. Галя в весёленьком зелёньком платье в большую белую горошину, на шее такая же косынка. «Эх, и посыплются белые горошины с зелёного поля», – весело подумал Прохор. Валя села, чуть одёрнула платье, откинулась на спинку: – Если сильно трясти не будет, то я подремлю.

– А ночь ты чем занималась? Ишь, губки-то припухли. Колись!

– Спала, да плохо. Сны дурацкие снятся.

– Расскажешь?

– Не-е-е, нельзя.

– Ладно, после расскажешь.

– С чего это вы взяли? Может, это моя тайна.

– Вот ты и поделишься. Так, Валюша, мы должны заехать в магазин, на пять минут.

Вернулся с полным пакетом, поставил на заднее сиденье. Поехали улицами, на окраину, но не на выезд на трассу.

– Ещё куда-то надо забежать, Прохор Григорьевич?

– Ты очень догадливая, Валюша. Мы сейчас заедем к моему товарищу, я тебя с ним познакомлю.

Подъехали к аккуратному домику, Прохор своим ключом открыл калитку, пропустил вперёд Валю и защёлкнул замком, она не подала вида, что слышала. Опять же своим ключом открыл входную дверь, пригласил девушку.

– Так никого же нет, зачем мы идем?

– Друг, наверное, спит, ты проходи в зал, я его подниму.

Из спальни вышел с запиской, прочитал:

– «Проша, если меня не будет, значит, я в командировке. Будь, как дома. Игорь». Вот видишь, как хорошо, никто нам не мешает спокойно поговорить. Дуй в ванну, мой руки и готовь завтрак, все нужное в пакете.

– Прохор Григорьевич, а «Альянс»?

– Давай чуть перекусим, там фрукты, шоколад.

Сам достал бутылку коньяка, налил два бокала:

– Давай выпьем, Валюша, за твою красоту, молодость, за жизнь!

Валя неумело взяла бокал, но Прохор подошел, помог поднять, поднести к губам и проследил, чтобы она выпила все.

– Мамочки, я никогда не пила, я буду пьяная.

Прохор сел на широкий диван, похлопал рукой рядом с собой:

– Валюша, сядь сюда, я тебе все объясню. – Он взял её руку, заметил, что она мелко вздрагивает. – Валя, я тебя обманул, и ты это уже поняла. Я хочу побыть с тобой наедине, ты мне очень нравишься, но в деревне наши отношения сразу стали бы заметны. Милая, я хочу сделать тебе подарок. Закрой глаза.

Он достал из портфеля коробочку, вынул цепочку, встал перед девушкой на колени, осторожно накинул цепочку на шею, крепко обнял вздрогнувшую девчонку и поцеловал в губы. Она отшатнулась, тронула цепочку, глянула на медальон.

– Я тебя не обидел, Валюша?

Она с вызовом ответила:

– Таким подарком трудно обидеть.

– Ты имеешь в виду цепочку или поцелуй?

– Наверное, цепочку, Прохор Григорьевич. А поцелуй – это как бы на сдачу?

Оба засмеялись, и опытный Проша понял, что все будет, как он планировал. Опять целовал и тискал девушку, она временами одумывалась, пыталась высвободиться, и тут Прохор сказал заветное:

– Валя, я прошу тебя верить мне, я влюбился в тебя сразу, как увидел. Мы должны быть вместе, я уже схожу с ума. Обними меня, любимая. Ты согласна?

Девчонка вся горела от поцелуев, от неожиданного предложения, она едва ли понимала, что говорит:

– Я согласна, Прохор Григорьевич.

– Валюша, милая, зови меня Прошей, мне так нравится.

– Проша, я согласна.

Он взял её на руки и понёс в спальню, она не сопротивлялась, когда с его помощью снимала платье, когда он целовал её плечи, щекотал уши.

Они проснулись после обеда, Валя скинула одеяло и обняла Прохора, не веря столь многим переменам, вдруг случившимся в её маленькой жизни. Прохор встал и вернулся с бокалом коньяка, предложил ей, она отмахнулась, он выпил до дна. Валя закрыла лицо руками и слезы потекли между пальчиков. Прохор сел рядом:

– Что ты плачешь, дурёха? Рано или поздно это должно было случиться, ну, не со мной, так с сопливым трактористом. Всё будет, как было, мы работаем вместе, встречаемся, уезжаем от разговоров.

– А что дальше?

– Ну, Валюша, мы только начали наши отношения, пусть какое-то время пройдет...

– Ты меня не обманешь, Проша?

«Дура, я тебя уже обманул», – так и вертелось у него на языке, но в первый день доходить до такого хамства он воздержался.

К вечеру они вернулись домой.

Никита предложил брату взять пока в аренду, а потом и выкупить за самые малые деньги бывший совхозный магазин, в котором торговать уже было нечем, а закупать и возить продукты в конкуренции с братом – нет смысла. Прохор магазин осмотрел, про ремонт говорить не стал, но Никита опередил:

– Расходы на ремонт документально подтверди, сдадим в бухгалтерию, пройдет как арендная плата. И не скупись, все равно твоё будет.

Трое мужиков за скромную плату привели помещение в порядок, в райцентре у несостоявшегося купца оптом забрал все оборудование, неделя ушла на подготовку. В последний день после смены, когда Галя зашла в кабинет, чтобы сдать выручку, Прохор попросил её присесть:

– Галя, тебе нравится работа?

– Нравится, – скромно ответила она.

Прохор аккуратно искал подход:

– Я хотел предложить тебе поработать в новом магазине. Там будет и второй продавец, но я хочу, чтобы один был свой человек, проверенный, я бы даже сказал – родной.

– А Валентина здесь останется?

– Конечно, и ей найдём пару. Вот так у нас получится хорошо.

– Ничего хорошего я не вижу, Прохор Григорьевич, мы сестры, доверие полное, а в тот магазин проще двух новых взять, это же понятно.

– Ну, это тебе так кажется, а с точки зрения организации бизнеса мой вариант лучше. Подумай, Галиночка–Калиновка.

– Ой, Прохор Григорьевич, что за имечко вы мне подобрали! – засмеялась Галя.

– Какой у тебя смех приятный, век бы слушал. Ты согласна с моим предложением? Да, не сказал главного: ты там будешь за старшую, и зарплату мы тебе сделаем в два раза выше.

– А Валентине?

– Ну, что ты опять о ней? Валя останется здесь, хорошо, если ты просишь, а ты просишь, правда? Давай и ей увеличим жалованье.

– Тогда можно подумать.

– Галя, ты почему меня сторонись, как бы стесняешься, что ли? Скажи, я тебе совсем не нравлюсь?

– Нравится, Прохор Григорьевич, вы хороший начальник, не грубый, в общем, нормальный.

– И это все? Галинка–Калинка, ты совсем не видишь во мне мужчину, а я, между прочим, холостой человек, ищу невесту. Вдруг к тебе посватаюсь?

Галина засмеялась:

– Что вы такое говорите, какая невеста? Мне бы хоть немного заработать, да учиться поступать. Не буду же я век карамельками торговать.

– Ладно, Галя, вопрос о невесте пока отложим, а по первому предложению ты согласна, тем более, что мы решили по зарплате. Товар завезён, завтра и начнём принимать дела. У тебя есть подружка в напарницы?

– Ой, Прохор Григорьевич, а я спросить боюсь, думаю, что вы уже нашли. Я Любашу Зарубину позову, она девочка спокойная, чистюля, и толковая, быстро освоится.

– Пусть она утром ко мне зайдёт. Да, и про зарплату ни слова, это коммерческая тайна.

Развести сестёр по разным магазинам Прохор надумал сразу после поездки с Валею, она слишком неосторожно вела себя при Галине, может быть, ей льстило почти родство с хозяином, может, простота деревенская сказывалась: если у нас любовь, то почему от сестры надо скрывать? Вечерами в машину она запрыгивала чуть не на ходу, целовала Прошу, жалась к нему. Они уезжали в сторону от дороги, Прохор принимал её ухаживания, поцелуи, комплименты, но Валя как-то заметила:

– Проша, я тебе не интересна?

– Почему ты вдруг так решила?

– Не отвечай вопросом, ты стал другим.

Он обнял Валею, хотел, как прежде, горячо и с придыханием – не вышло, отпустил:

– Не обижайся, я очень устаю, потом у меня проблемы с деньгами, ничто другое на ум не идёт.

Она опять успокоилась и несколько дней не задавала никаких вопросов. Новость о переводе Галины в другой магазин её смутила:

– Проша, ты зачем нас разлучаешь? Галина одна не сможет работать, её любая напарница облапошит. Да и мне чужой человек не нужен.

– Валентина, тут решения принимаю я, Галина будет в новом магазине, проверенный человек, понимающий. Ты же не хочешь, чтобы там торговали какие-то прощельги? Она сама подобрала себе напарницу, попрошу бухгалтера, чтобы почаще их проверяла, да и ты недалеко, поможешь.

– Ой, не нравится мне все это! – по-бабьи вздохнула Валентина, встала: – Ты сегодня приедешь?

– Буду за поворотом стоять, выскакивай налегке.

Валею так кольнуло это «налегке», но вида не подала, да и сам Прохор понял, что слишком напрямик предложил. Ничего, оба сделали вид, что ничего не случилось.

А ведь случилось, сердце не обманешь, куда подевались страсть и горячность Проши, в дом не приглашает, к другу тоже не ездят, только в машине и обнимет, а она чувствует – нехотя, как одолжение делает. Спрашивать – себя унижать, и без того видно. Нет, рюмкой коньяка она себя не корила, и раньше, почти сразу была у неё мысль завлечь солидного жениха, потому и не стеснялась в нарядах, всегда с улыбкой, и в кабинет заскочит кофе попить, пока в зале никого нет, пострекочет с хозяином. Она видела, что Прохор поглядывает на неё, только не доходило до глупой девчонки, что так кот смотрит на сало, грезился ей интерес и даже, может быть, влюблённость. А когда хозяин предложил поехать в город с фирмой разобраться, понимала дурочка, что весь альянс в ней заключается, что не доедут до города, раньше хвост распустит этот павлин.

Как его удержать? По нынешним временам, даже если и разойдутся, все равно найдёт она себе жениха, но обида точила и жажда отмщения, если только позволит сама себе. Решила так: ещё с месяц повстречаемся, не сделает предложение – скажу, что беременна, а если – на то пошло, то и отцу его скажу. Он мужик правильный и серьёзный, заставит жениться.

Только знала Валентина из своей деревенской жизни, что насильно мил не будешь, гулеван-то под страхом суда или родительской расправы на все согласится, сватов подошлёт, поулыбается на свадьбе, а через год на законных основаниях развод – характерами не сошлись. А щемило ретивое, тянуло к Прохору, завязались в тугой узел девичьи вздыхания, и уже никого не видела за ним, ни на кого смотреть не могла, и неуклюжие мальчишки, которые тискали в школьных коридорах и слюнявили у калитки, стали чужими и противными.

Знала, чувствовала, что он только и ждёт прямого вопроса, чтобы все разом разорвать. Нет, не даст она ему такой возможности, а сам он не вдруг насмелится, хоть и пакостун, но трусоват, и понятно, что деревенской огласки он боится меньше, чем кулака отца. А почему, собственно, все должны знать? Что встречаемся – никто не знает, это точно, иначе Галина бы все равно услышала, а что расстались – никому не жаловаться, так и останется тайной. От таких мыслей чуток повеселело на душе, но вечерняя встреча, почти без разговоров и даже без поцелуев, Валя это впервые заметила, расстроила до слез. Вспомнилось вдруг где-то вычитанное: перестал целовать – первый признак, что любовь прошла. Написал это человек не с чужих слов, сам сердцем выстрадал...

Галина молодец, навела в новом магазине порядок, целый отдел выгородили под электронику, компьютер привезли, телевизоры, видеоаппараты. Торговля шла бойко, и Прохор был доволен. Забегая в магазин и дождавшись, когда выйдут покупатели, он ставил локти на прилавки и смотрел прямо в лицо девушки. Конечно, Галя смущалась:

– Прохор Григорьевич, не смотрите так, мне неловко.

– Тебе не нравится, что я на тебя смотрю? А мне очень нравится, потому что я скучаю по тебе, всегда думаю, когда же урву минутку, чтобы взглянуть на свою Галинку–Калинку.

– Что это вы так – на свою. Я пока ничья, и в том числе не ваша.

– Галя, не надо играть словами, я вот попрошу отца, чтобы он сватов к тебе направил – что ты на это ответишь?

Галина окончательно смутилась:

– Бросьте вы шуточки, Прохор Григорьевич, в восемнадцать лет выскочить и всю жизнь пелёнки, кастрюли, стирки? Нет, я хочу учиться, хочу стать химиком, очень мне эта наука нравится.

Прохор даже обрадовался:

– Что же ты раньше не сказала? У меня есть несколько фильмов по химии, я в институте тоже интересовался. Приходи сегодня вечером, посмотришь.

– Нет, Прохор Григорьевич, вы лучше в магазин кассеты принесите, я тут погляжу.

Прохор сделал серьёзное лицо:

– В рабочее время нельзя заниматься побочными делами. Так ты придёшь?

– Конечно, нет. Не прилично девушке ходить к неженатому мужчине, да ещё вечером.

– Ловлю на слове: а если днём? Галя, и помогла бы мне разобраться со шторами, купил новую ткань, а как со вкусом оформить – ума не хватает. Давай завтра после трёх? Если хочешь, я тебя встречу и завезу на машине в гараж, никто и не увидит. Ну, не откажи, Галинка–Калинка!

Галя помолчала, потом сказала:

– Я подумаю.

На том и расстались.

На другой день Галина не вышла, и Прохор напрасно ждал её в переулке. Утром первым вошёл в открытый магазин, с укором посмотрел, спросил:

– Приготовьте заказ на товар, завтра машину отправляю. И повнимательней, не забудьте ничего, а то люди спрашивают, а нам и ответить нечего. Заказ заберу в конце твоей смены.

Галина удивилась: он так искренне обиделся, даже разговор совсем другой, строгий и без обычных шуточек. Шевельнулось где-то в душе, видимо, есть такая струнка, которая на мужское внимание реагирует, поняла, что приятно. Но слава за ним такая, что лучше подальше держаться, на днях, говорят, какая-то девица из соседнего села у него гостевала. Может, врут. Не надо только вида подавать, что за собой какую-то вину чувствую, он живо ухватится. Не вышла, и всё тут, не обязана по первому свистку высказывать. Лишь бы только на работе не отразилось, ведь хозяин ей аванс выдал больше, чем она в том магазине зарплату получала. Валентина как-то осторожно поинтересовалась деньгами, но Прохор просил никому не говорить, и Галя назвала обычную сумму. Она не заметила, как облегчённо вздохнула сестра, подозревавшая своего Прошу в интересе к Галинке, значит, только ей он зарплату повысил, о чём она тоже никому не скажет.

Отец Артём Сергеич за ужином каждый день спрашивал:

– Ну, торгаши, докладывайте, как дела. Прохор не обижает? Глядите, он ещё тот ухарь, коляску подкатит, и глазом не моргнёт...

– Отец, ну что ты такое говоришь девчонкам? Разве можно?

Галя все время смеялась, а в этот вечер серьёзно ответила:

– Тятя, у нас теперь своя голова на плечах, ты нас караулить не набегаешься. Хозяин, конечно, заигрывает легонько, но лишнего не позволяет, правда, сеструха?

– Правда, – выдохнула Валентина и вышла из стола.

– Чего это она? – Насторожилась мать. – Вроде не в себе?

– Да нет, просто устала. Народ ведь целый день, и каждому того сто грамм, того двести. А коробки по всему магазину вдоль стенки наставлены. Так напрыгаешься за полдня, что и голова, и ноги гудят.

Когда Галина вошла в комнату, сестра уже лежала в постели, отвернувшись к стене.

– Валя, ты не приболела случайно?

– Нет, устала. Ты никуда не пойдешь?

– Не пойду, мне завтра в первую смену, да ещё заявку оформить. Ты хозяина сегодня видела? Он с чего такой сердитый?

– Не видела, не знаю.

– Ладно, отдыхай, я в комнате почитаю.

Один Артём Сергеич уловил что-то недоброе, чужое в сегодняшнем кратком разговоре, не поверил он добродушным заверениям Галины, насторожил и первый тяжёлый вздох Вали. Не ладно сделал, что сунул девчонок в эту толчею, торговля всегда была гиблым местом, и всякие недобрые дела там творились, потому что деньги, потому что выпивка всегда рядом.

– Мать! – толкнул он в бок засыпавшую жену. – Ты не замечала, чтобы девки с работы с винным духом приходили?

– Бог с тобой, Артюша, как только такое на ночь глядя в голову придёт, чтоб родное дитё с вином связалось с таких лет. Спи!

Роман был рад, что сам Треплев на встречу с избирателями не приедет, будут два заместителя и кто-то из мелких чиновников. Июнь, жара, все в рубашках с галстуками. Роман увидел в зале отца – в пиджаке с орденом Трудового Красного Знамени, который на рубаху не прицепишь. «Точно, будет выступать», – понял Роман и, глянув на часы, открыл встречу.

Заместитель главы по сельскому хозяйству долго мямлил о больших надеждах на урожай, что-то пытался говорить об успехах фермерского движения, но его освистали. Когда скука стала одолевать полусомлевший от жары зал, старший Канатов выкрикнул:

– Прошу слова!

Роман хотел было сказать, что прения ещё не открывали, но, глянув на высоких гостей, уже безразличных, предоставил слово отцу.

Григорий Андреевич вышел вперёд, поправил пиджак, звякнув орденом, кашлянул:

– Вот собрали тут нас власти, чтобы объяснить тупым и убогим, что мы живём хорошо, а не замечаем этого, потому что надо присмотреться. Господин в галстук пугает Зюгановым и коммунистами, вот я, уважаемые односельчане, вечный коммунист, конечно, теперь уж не красавец, но на страшного не согласен. Так что не надо народишко смешить, господин хороший. Не буду ничего говорить, хотя много накопело и прямо-таки прёт выложить, но принесла мне вчера учительница наша уважаемая Вера Алексеевна бумагу, написала в районку, не стали печатать. Говорят, господин Треплев перешёл на полставки в цензоры и сегодня, как в былые времена граф Бенкендорф, просматривает все газеты до печатанья, так вот, он лично запретил, но я прочитаю это письмо Веры Алексеевны:

– Я протестую! – закричал человек в галстук, и Роман Григорьевич резко повернулся к столу президиума:

– Пришей свой протест к протоколу, чтобы перед Треплевым отчитаться, а мне больше не мешай, я у себя дома, а ты неизвестно откуда взялся.

– Читай, Григорий Андреевич! – гудел зал.

– Читаю:

«После выхода на пенсию я принялась трудиться по хозяйству, читать художественную литературу и смотреть по телевизору многосерийные фильмы о красивой жизни. А ещё по вечерам – информационную программу «Время» смотрю с нарастающим интересом. Это и понятно: что ни день – новые сногсшибательные открытия. Уснула однажды в одном государстве, а проснулась в совершенно другом.

Пошла жизнь прекрасная и удивительная. Ведь раньше-то что было: не страна, а сплошной лагерь (и как это я сама не догадалась, спасибо, девушка по телевизору объяснила). Был сплошной беспросветный тоталитаризм. Теперь же я – свободный человек в свободной стране. Такой свободной, что даже цены в ней нынче, и то свободные. Не прекрасно ли?

Вот показывают каких-то бездомных людей с узлами, с обшарпанными чемоданами, расположившихся прямо на полу вокзала. Что это за люди, кто они? Оказывается, беженцы. Беженцы во время войны – это понятно. Но где и когда было, чтобы тысячи людей оказались беженцами в мирное время?

В телепередачи постоянно вклинивается (новое дело) реклама.

Показывают продуктовый магазин и в его витринах не то пять, не то шесть видов сыра и не меньше десяти сортов колбасы – от докторской до салями. Как хорошо-то! Но следом идёт

другая картина: пожилой человек роется в железном мусорном ящике. Что он там ищет? Может, кто по ошибке выбросил туда хорошую вещь? Но он вытащил из ящика полбатона хлеба и положил в свою сумку! Может, он взял для своей собаки? Но вчера показывали набор самой разной еды для собак. Взял бы, да и купил. А то как-то некрасиво. Свободный человек в свободной стране при свободных ценах не хочет, скупердяй, купить для любимой собаки добрый кусок мяса.

Радуюсь изобилию всяких товаров. Но купить их могут лишь пять, ну пусть десять из ста «свободных» жителей: цены такие, что люди в обморок падают. Не изобилие это, а издевательство над людьми: око видит, да зуб неймёт.

Радостно осознаю, что кончилось трижды проклятое застойное время и я, свободный человек, живу в свободной цивилизованной стране, о чём мне не забывают напоминать по телевизору – и не хочешь, да поверишь. Сегодня показывали автомобили разных марок: лады, тойоты, вольво, мерседесы. И никаких очередей. Выбирай, садись и поезжай. С удовольствием уехала бы, но на мои деньги теперь одно колесо едва ли купишь. А потом показали Канарские острова: зелено-голубое, изумрудное море, пальмы, золотой песок. А на песочке загорают весёлые благоденствующие люди. И телевизионная красавица предлагает совершить путешествие на эти острова, обещая райский комфорт. Да уж какие там Канары, когда не знаешь, как свести концы с концами!

Врачи рекомендуют побольше фруктов, соков, свежий творожок со сметаной, сыр. Да только не говорят, где на это всё денег взять, как за ценами угнаться. Забывают, что мы, старики–пенсионеры, теперь не просто бедные, а нищие. Порой в моей голове мелькает мысль: чем жить на старости лет в унижении и нищете, может, лучше уснуть и не просыпаться?»

Вот такое письмо. Автора я назвал, но под ним может подписаться каждый советский человек, это вам, товарищи земляки, бюллетень для скорого голосования!

– Ясно!

– Молодец, Канаков, провёл агитацию!

– Закрывай собрание, Роман Григорьевич, дышать нечем!

– Все понятно, вы только лозунг «Ельцин – наш президент» с собой заберите, нам он без надобности.

Две машины районной администрации с гостями упылили на трассу.

– Ты почему гостей чаем не напоил или пивком холодненьким? – спросил старший Канаков младшего.

– Все, папка, результат выборов виден уже сегодня, и приказ о моем освобождении тоже просматривается.

Отец был благодушен:

– Ты сильно не переживай, освободят – к Никитке пойдешь в помощники, ему крайне нужен свой человек, потому что воровать удобнее с людьми близкими. Вот и будет у вас пара кашемирова.

Подошла Марина:

– Папка, вы сильную речь сказали. Понимаю, что Роману она не очень по душе, но как здорово вы все расставили. Я больше чем уверена, что половина проголосует за Зюганова.

Старший Канаков покашлял:

– Времена наступили, дочка, сын против отца, отец против сына, пока ещё словесно, но, не дай Бог, дойдёт до кулачков. И мужика твоего запросто могут с работы турнуть за такие

выборы, видишь, как оно... Но отступать никак нельзя, дети мои, им ещё один срок дать, и от России ничего не останется.

Марина испугалась:

– Уж больно вы круто, Григорий Андреевич. Такого же не может быть!

Канаков вздохнул:

– Молодёжь, вроде грамотные, не глупые, а простых вещей не понимаете. Я у Маркса читал и себе выписал в тетрадку: если дело сулит капиталисту триста процентов барыша, он не остановится ни перед каким преступлением. Поняла? Ладно, пошёл я, устал сегодня сильно.

Так хитрый зверь отслеживает и усыпляет бдительность своей жертвы, то голос подаст, то на ветряную сторону выйдет, чтобы жертва дух его чуяла и заранее умирала от страха. Ходит кругами, ловит единственный момент – и жертва, даже мамкнуть не успев, оказывается в его мощных лапах. Так обхаживал Прохор Галину, такие перед ней ковры расстилал, такие слова говорил, подарки она уж домой не носила, боялась, что Валентина может увидеть и спросить. И в дом к нему уже заходила свободно, без опаски. Он хорошо помнил её главный аргумент: «учиться надо», потому как-то за чаем, спиртного Галя даже на стол не допускала, вынул из сейфа толстую пачку долларов и сказал, что это квартира в городе, и, если Галя согласится выйти за него, он оставит на магазинах Валентину за старшего, и они будут в городе вместе, он работать, она учиться. Наверное, последней каплей подлости стала бархатная коробка с обручальными кольцами. Прохор сказал, что в воскресенье к обеду с родителями и братьями придут свататься. Вот и потеряла рассудок девчонка, залилась слезами счастья и радости, обняла своего завтрашнего жениха, а тот только этого и ждал. Напрасно шептала Галинка–Калинка слова-отговорки, напрасно слабенькими ручонками упиралась в его давящее тело, он только жестоко целовал её, кусал шею, грудь, бормотал о свадьбе и о любви.

Когда стемнело, она вышла из дома Прохора и на тропинке встретила с отцом его, Григорием Андреевичем. Он даже не кивнул, не узнал, слава Богу, она пришла домой, ещё раз обмылась в тёплой баньке, оделась и вышла через переулочек к озеру. Красивое место, здесь они с Валею пасли гусят, караулили их от коршуна и от кошек, а потом, когда те вырастали, никак не могли выманить их с воды, видно, осталось где-то в глубинах их памяти, что гусь должен на воде спать. И спали. Никто не тревожил, отец иногда ходил, проведаль.

Галя прошла по бережку, ступая во влажный песок, сбросила босоножки, ноги ощутили тепло нагретой воды, ласковую шероховатость песка. И вдруг как высветило: в прошлом году они с Мишей провели тут целую ночь. Вот так же гуси застыли на воде и спали, уткнув свои клювы под мощные крылья, так же лопушки отбрасывали лунный свет, и кувшинки закрылись до поры, почему их называют балаболками – смешное слово, но никто не знал. Мишка уже окончил первый курс института, приехал на каникулы, помогал отцу сено косить, картошку окучивать. Встретились у магазина, улыбнулся:

– Здравствуй, Галя, я тебя едва узнал, ты за этот год такая девушка стала.

Галя смутилась: нравился ей Миша в школе, но у него был свой круг друзей и подруг, а Галя, восьмиклассница, его ничуть не интересовала.

– Какая была, такая и есть.

– Нет, Галя, ты стала красивая, и я тебя даже боюсь.

– Ну-ну, это тебя в городе так научили к деревенским девчонкам подкатывать: ой, боюсь, ой, стесняюсь, пожалейте меня!

Оба весело рассмеялись.

– Галя, если ты свободна, давай вечером погуляем. Согласись, пожалей меня.

Так хорошо стало Галине, так радостно:

– Так и быть, спасу твою душу, приходи на озеро к нашей пристани, как стемнеет.

Едва дождалась темноты, Валя в клуб убежала, кое-как отвязалась от неё, а тут мама:

– Ты куда это, девка, на ночь глядя?

Дочь не стала скрывать:

– Мама, Миша Андреев пригласил погулять. Ты не переживай, спи.

Мать кивнула:

– Мишка парень хороший, и родители у него приятные. С ним погуляй, он плохого не дозволит.

Миша ждал, сидя на старой опрокинутой лодке, увидел Галю, встал, взял её за руку.

– Красиво тут. Я тоскую в городе по деревне, по людям, по обстановке. В городе люди другие.

– Хуже?

– Нет, но другие. Тебе не понять, надо прожить хотя бы с год, тогда разница станет заметной. Расскажи, как твои дела, что в школе?

Галя рассмеялась:

– Миша, какие у меня могут быть дела? Влюбиться бы надо, да не в кого, нынче в десятый пойду, а дальше – тёмный лес. Даже если и поступим с Валею, родителям не под силу будет двоих содержать. Вот ты как живёшь?

Михаил скинул курточку и постелил её на дно опрокинутой лодки. Они сели рядышком.

– Мне легче, Галя, я попал на бюджетное место, даже стипендию получаю. И только за счёт спорта. Если помнишь, мы в футбол здорово играли, я ещё школьником попал в сборную области, потому и заметили. Есть ребята на платном отделении, но тоже разные, короче говоря, деревенских почти нет, так, сынки чьи-то тупые.

Галя повела плечами: от воды потянуло прохладой. Михаил осторожно обнял её за плечо и подвинулся поближе:

– Так теплее?

– Теплее, Миша. Ты знаешь, теперь это уже никакого значения не имеет, потому скажу. Я в восьмом классе за тобой бегала, ну, так говорят. Ты мне очень нравился, но совсем не обращал внимания, не замечал. Я даже плакала. – Она счастливо засмеялась.

Михаил помолчал, потом спросил:

– А сейчас, Галя, сейчас я тебе нравлюсь?

– Зря я тебе это сказала, – посуровела Галина. – Можешь подумать черт знает что. Ты теперь городской, получишь высшее образование, у тебя там выбор – тысячи девушек.

– А если мне не надо тысячи, а только одна, и она сидит рядом со мной и даёт глупые советы. Ты мне очень нравишься, Галя, правда, я сегодняшнего вечера кое-как дождался. И мне очень хорошо с тобой.

Галя прижалась к нему:

– Мне тоже хорошо, Миша.

– Можно, я тебя поцелую? – Он уложил её головку себе на колени и стал нежно целовать мягкие податливые губы, она прижималась к нему, выпрастывала губы и сама принималась целовать – неумело, с причмокиванием. Он чуть отвернул воротничок кофты, прижался к истокам её груди и, боясь лишних движений, вдыхал удивительно чистый пряный запах милой девушки. Она подняла его лицо, поцеловала в губы и спросила:

– Миша, а если я тебя люблю? Если я сегодня на все согласна, что ты скажешь?

Парень опять обнял её:

– Глупышка, ничего я тебе не скажу. Ты мне очень нравишься, очень, может быть, завтра я скажу, что не просто влюбился, а люблю тебя. И хорошо, что ты призналась. Если у нас будет настоящая любовь, мы будем встречаться, целоваться и, в конце концов, сыграем свадьбу.

– Миша, ты не подумай про меня плохого, я тебя проверить хотела.

– Как я могу думать про тебя плохое, если мы с тобой с сегодняшнего дня самые близкие люди? Ты мне веришь?

– Верю.

– И я тебе очень верю.

Они просидели на берегу до рассвета, и только утренняя прохлада погнала их в деревню. У ограды Миша тихонько поцеловал Галю, и она открыла калитку.

Утром Михаила срочной телеграммой вызвали в город, он уехал, всех парней с их курса, кто не сумел откупиться, призвали в армию, а осенью пришло извещение, что Миша пропал без вести. А ещё через месяц приехал парень без руки и с обожжённым лицом, сказал родителям, чтобы не ждали и не искали: в Чечне Миша подорвался на фугасе, а после такого от солдата остаётся только фамилия. Командиры, чтобы скрыть потери, объявили с десятков ребят пропавшими без вести.

Галя не плакала. У неё не осталось даже письма, даже фотографии. Остались воспоминания об одной ночи, проведённой на берегу старого озера.

На открытие избирательного участка собралось много народа, но митинга, как в старые годы, не было. Григорий Андреевич проголосовал одним из первых, пожал руки членам комиссии и положил перед председателем мандат наблюдателя:

– Ты не сомневайся, Игорь Владимирович, закон избирательный я изучил от корки до корки, свои права и обязанности знаю назубок, так что мешать не буду, а буду наблюдать.

Роман Григорьевич отозвал председателя в сторонку:

– Вы с ним в спор не вступайте, если делает замечание – фиксируйте. Если он начнёт возмущаться, нам его всей деревней не остановить.

Люди шли и голосовали, торговли колбасой и пивом, как в старые времена, не было, гундела какая-то музыка, ни песен, ни басен.

– Максим Павлович, ты чего ждёшь? Голос свой отдал, шуруй домой.

Максим, ехиднейший говорун, ответил:

– Нет, я дождусь, на одной ноге такую даль кандыбал, да без стопки обратно? Нет, дождусь.

Мужики знали, кого надо расшевелить:

– А чего ждать? Подавать не будут, это же ясно.

– Как не будут? А горячий обед? Он без стаканчика не обходится.

– Какой горячий обед, о чем ты, Максим Павлович?

– Дак ты погляди кругом, мы же на похоронах. И тихо, и музыка такая, что впору рыдать, и урны с прахом уже опечатаны. И народишко выходит, как из мавзолея, с понурой головой.

– А ты бывал и в мавзолее?

– Да нахер он мне загнулся, чтоб я смотрел на этого лобастого. Потом Никитка был, тоже на причёску богат. Зато у Лёни волос было что на голове, что на бровях – на всю партию хватит.

– Ты, Максим, поаккуратней, здесь Григорий Андреевич, он тебе этого не простит.

– Верно, видел. Жалко мужика, толковый, хозяйственный, а вот спутался с марксизмом, и никуда без него.

– Подожди, дядя Максим, а ты за кого голосовал?

– Поясню для бестолковых. Ну, за кого я, фронтовик, калека, мог голосовать? Я спросил: кто из этих красавцев за старую жизнь? Мне сказали номер, вот я его и открыжыл, и старухе велел, только она наврёт все, бабахнет за Жириновского, и его сразу изберут.

На хохот вышел Роман Григорьевич:

– Я смотрю, настроение у вас боевое, проголосовали, теперь будем ждать результатов.

– А чего их ждать, Роман Григорьевич, если вам задание довели, сколько процентов должно быть за Ельцина?

Роман смутился, но тут же ответил:

– Это провокационные разговоры, товарищи, голосование продолжается, и мы не имеем права на избирательном участке обсуждать, кто и как голосовал.

Канаков старший только докладывал председателю, с кем он поедет на выездное голосование, садился в машину, вместе с членами комиссии заходил в дома к престарелым и больным людям, никто при нем не отваживался указать избирателю, где ставить птичку. Несколько раз старушки просили:

– Дочка, я ничего не понимаю, мне всё время показывают, где выводить крестик.

Канаков пояснял:

– Нельзя, Марфа Петровна, ты сама должна выбрать.

– Ой, Григорий Андреевич, а я ведь тебя не признала. Покажи-ка мне, дочка, где тут коммунист самый главный, за него проголосую.

Председатель комиссии пригласил Канакова в отдельную комнату:

– Григорий Андреевич, я вам запрещаю выезжать с урной на голосование, вы своим присутствием проводите агитацию.

Он, видимо, всё-таки плохо был проинструктирован, что с Канаковым так разговаривать нельзя.

– Простите, мил человек, или я вас не понял, или вы нихрена не понимаете, хотя сидите в кресле председателя. Мне теперь что, раствориться? Своим видом я агитирую!? Да это же похвала из ваших уст! Буду ехать туда, куда захочу, но водить руками стариков в пользу одного из кандидатов не позволю. Я всё сказал, ты свободен.

И проводил раскрасневшегося председателя на его место.

Когда закончилось голосование, пересчитали оставшиеся бюллетени, завернули их в бумагу и опечатали сургучной печатью. Роман взял пакет и понес его в комнату, у порога его встретил отец:

– Положи на стол, чтобы все видели.

Перед вскрытием урн провели совещание, распределили, кто какие бюллетени считает, сдвинули столы. В центре два члена комиссии с одной стороны, два с другой считали

бюллетени Ельцина и Зюганова. Григорий Андреевич не скрывал своей радости: Зюганов на участке выборы выиграл с заметным перевесом. Потом пересчитывали ещё по разу, долго писали протоколы, один экземпляр после сверки цифр старший Канаков забрал и ушёл домой.

На повторном голосовании обстановка была напряжённой, члены комиссии то и дело высказывали со стульев и давали разъяснения. На крыльце Дома культуры какие-то незнакомые молодые люди на нижних ступеньках встречали людей, до самых дверей провожали.

– Это что за конвой? – строго спросил старший Канаков председателя комиссии.

– Простите, я их не знаю, – ответил тот и убежал в зал.

Григорий Андреевич нашёл Романа:

– Что за агитбригада у тебя орудует возле участка?

Тот пытался отрезаться, но отец наступил ему на туфлю, прижал к земле и прошептал на ухо:

– Если через пять минут они ещё тут будут, я тебе голову отверну прилюдно. Исполняй!

Чужаки исчезли, подъехал на своей «ниве» Романчук, проголосовал, подошёл к Канакову, пожал руку. Тот рассказал о визитах.

– Вы их прогнали, они на другой участок переехали. У них технологий много, и они упор на деревню делают, потому что деревня дисциплинированной, активней. Только едва ли так можно спасти положение, я думаю, в случае явного проигрыша они пойдут на откровенную фальсификацию.

– Сергей Иванович, протоколы я у них изыму.

– Эх, Григорий Андреевич, если бы всё строилось только на протоколах...

Когда районная газета опубликовала сводную таблицу результатов финального голосования, Григорий Андреевич ничего не мог понять: по его избирательному участку цифры были совсем не те, что значились в его заверенной печатью копии. Он ещё раз нацепил очки и сверил: так и есть, оказывается, большинство не у Зюганова, как было, а у Ельцина, и на двадцать процентов больше. Схватив газету, он побежал в администрацию, с Романом столкнулись в коридоре:

– Это что? Что это, я тебя спрашиваю?! Как нарисовались эти цифры, которых нигде не было и быть не может?!

Роман сгрёб отца в охапку и уволок в кабинет, наглухо закрыл обе двери.

– Папка, не кричи так, вся контора сбежится!

Канаков продолжал кричать:

– Я тебе не папка, а представитель коммунистической партии на выборах, и я тебя, подлеца, спрашиваю, как получилось, что выборы выиграл один, а победа присуждена другому?

Роман побагровел:

– Да успокойся ты, наконец! И говори тише. Это не моя вина, все изменения внесены в районе. А им приказала область, ты это понимаешь? Что я мог сделать? Если ты сейчас поднимешь шум, то результат будет один: меня выпрут с работы. Папка, это система, ничего изменить нельзя.

Канаков выслушал сына до конца, а потом безнадежно спросил:

– Ты же сам возил документы в район, сопровождал, при тебе пачкали результаты народного голосования, измывались над волей твоих людей, твоих земляков. И ты все это молча проглотил, как кусок дерьма? И кто ты после этого? Вот скажи, ты сам себя уважаешь?

Роман почти плакал:

– Папка, там присутствовал сам Парыгин, это такой хлюст, он с Чубайсом на «ты».

– Брось! Я с этим засранцем тоже на «ты», если бы довелось хоть раз в рожу ему двинуть.

Мне надо знать, как ты жить собираешься среди этих людей, которых предал, за портфельчик, за «волгу», за поганое жалованье? Ладно, это тебе решать, а моё слово такое: немедленно подаёшь на увольнение, сдаёшь все дела, а потом думать будем. Завтра утром придёшь и все расскажешь.

Утром Роман к отцу не пришёл, а вечером прибежала Марина:

– Папа, Роман в дым пьяный приехал, сказал, что Треплев его заявление порвал, оставил на работе, просит прощения у вас, сказал, что покончит с собой, если вы не простите. Я ключи от ящика с ружьём спрятала. Я боюсь, папа!

Матрёна Даниловна охнула и села у стола. Григорий Андреевич усадил Марину, вытер чистым полотенцем её слезы и улыбнулся:

– Марина, милая моя дочь, с мужиком тебе немислимо повезло. Он тряпка, если бы физией на меня не нашибал, обвинил бы мать, что пригуляла. В нем моей твёрдости ни грамма нет. Ключ от ружья положи на стол, такие малодушные не стреляются. Если он Треплеву не дал в морду – какое самоубийство? А по существу-то, он давно себя в себе убил, вот как пошёл этой власти служить, так и кончил. Отдохни, попей чайку, мать, сгоноши. С Романом ещё один разговор сделаю, только независимо, Марина – ты и детки твои – моё родное, я вас не брошу и от себя не отпущу.

Утром старый Канаков был первым посетителем у главы сельской власти. Вошёл в кабинет, присел без приглашения, огляделся, новенький портрет Ельцина за спиной сына, новые часы на руке тоже заметил – премия, должно быть.

– Пришёл сказать тебе, Роман Григорьевич, что с сегодняшнего дня не стало у тебя родного отца, пусть тебя эти, – он кивнул на портрет, – эти пусть тебя усыновляют. Дорогу ко мне забудь, с матерью выдайся где на стороне, но Марину и деток не смей от нас отбивать. Случится, помру – за оградой выноса дождёшься, оттуда проводишь вместе с народом. Всё, прощай.

И пошёл к дверям. Роман выскочил из стола:

– Папка, прости, ведь я твой сын!

Старший Канаков на мгновение остановился, дрогнуло что-то в душе, но пересилил, переломил, молча хлопнул дверью. Заскочившие в кабинет перепуганные сотрудницы увидели Романа Григорьевича на коленях, уронившим голову в то место, где только что ступала нога его родного отца.

Такой славной осени давно не было. Весь август погода стояла как по заказу, ни дождинки, ни росы, только по утрам поднимались тяжёлые туманы, ночами нежившие тёплой влагой фарфоровые грузочки в низинках да весь порядок других лесных грибов: и обабков, и сухих, и даже белых местами. И для хлеба такие ночи в удовольствие: освежит туманчик, даст чуток влаги для жизни, а с первым солнцем уже сухой стоит кормилец, и колос звенит на ветерке, если хорошо прислушаться.

Григорий любил эту пору, и каждый год, если позволяла погода, заводил своего старого «москвича» и уезжал к дальним полям, оставлял машину, заходил в хлеб, старательно разгребая стебли, останавливался и слушал поле. Станные звуки являлись ему: поверх перепелиной

переклички и звона дежурившего в небесах жаворонка слышал он глуховатый напевный разговор деда Корнилы про великую радость крестьянина среди многообещающей пашни, и грубый мат однорукого объездчика Никиши Тронутого, хлыстом изгонявшего ребятишек с горохового сладкого поля, и неуклюжий «Интернационал», по прихоти колхозного председателя исполняемый на гармошке и двух балалайках в честь женщин, выжавших серпами за световой день по сотне необхватных снопов пшеницы.

А потом садился спиной к одинокой на опушке берёзке и вспоминал. Вот трактора пришли в колхоз и пошли по полю один за другим, пять штук, взламывая схваченную щетиной стерни землю и укладывая пласты один к другому ровно и аккуратно. Вот вдобавок к колхозным пришли в деревню грузовики автороты из района, и шофера тоже схватили плицы и стали помогать бабам, а потом избач Фима прибежал со свёртком красного материала, зацепил один край за столб и развернул. Зубным порошком с клеем навечно было написано: «Хлеп – Родине!» Кто-то засмеялся, но водитель уже нагруженной машины взял из рук избача полотнище и на двух воткнутих в зерно лопатах закрепил проволочными скрутками. И никто не осудил избача, наоборот, изувеченный войной Киприян, прозванный Речистым за неумение говорить после контузии, подошёл к Фиме и что-то очень ласковое промычал.

Вспомнил, что песни тогда люди пели, за столом по большим праздникам – это само собой, но ведь трезвые пели, после работы идёт народ с сенокоса, уже солнце село, темнеет, позади день на жаре, и норма в два раза, и платишки просолили от пота, а одна вдруг запекает: «Вон кто-то с гороньки спустился, наверно, милый мой идёт. На нём защитна гимнастёрка, она с ума меня сведёт». И уже подтягиваются отставшие, и расслабляются напряжённые, спалённые работой лица, и морщины пропадают, открывая красивые и честные лица: «Его увижу – сердце сразу в моей волнуется груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути!». Григорий Андреевич улыбнулся своим мыслям, он тоже долго не мог понять, почему люди поют, ведь и есть только-только досыта стали, и живём ещё кое-как, избушки под дёрном, работа вся на плечах, в руках вилы, литовка, лопата, верёвочные вожжи от пары гнедых... А потом он понял: люди войну забывать стали, война сделалась прошлым даже для тех, кто не дождался своего кровного и теперь уже не ждёт. Четыре тех года народ прожил молчком, на работу молчком, на принудилровку за карман колосков, на могилки в след своей тощей коровы, везущей на дровнях маломальский ящик с иссохшим тельцем так и не виденного отцом ребёнка – только молчком, потому что плач вынет последние силы. Это знали все.

А в семидесятые зажили, а дальше ещё лучше. И заработки пошли приличные, и сельпо стало попроворней, и дома начали катать, да не как-нибудь, а крестовые, с маленькой горенкой, с тёплыми сенями. Совхоз миллионером стал, мощнейшая техника пришла в деревню. Канаков тяжело вздохнул. Вот до сих пор всё ему было понятно, всё по той самой диалектике, которую три вечера подряд втемяшивал ему учитель истории на политзанятиях. А потом что случилось? Отчего это сытый и обеспеченный крестьянин стал отворачиваться от партии, стал коммунистов критиковать? Отчего молодёжь плюнула на деревню, и хоть на подхвате, но в городе? Почему это рабочий класс вдруг стал сторониться своего вечного союзника, закрыли всякое строительство на селе, а на партсобрании секретарь райкома убеждал, что это временное явление, надо нефть и газ добывать. Вот освоим Севера, потом заживём, а пока про ремень и очередную дырку в нем. Нет, не всё так просто, а вот в чём суть – не хватало ума Григорию, чтобы понять.

...Ещё раз прошёл вдоль поля – добрый хлеб, надо подсказать Никитке, что пора молотить. Несколько колосьев сорвал осторожно, положил в карман – сыну для убедительности. «Москвич», поскрипывая, вышел на ровную дорогу и покати́л в сторону дома.

Канаков старший готовил двор к зиме, просмотрел рубленый много лет назад пригон, где в холода стояли корова, летошний телёнок, пяток овец с рогатым бараном. В дальнем углу за высокой перегородкой угол для поросёнка, летом за пригоном, подальше, чтоб не воняло, а потом надо перегонять, иначе вес скинет. Тут же седало для курей, несколько ящиков из магазина к стенке приколочены, для несушек. На хороших кормах, да в тепле – и петух будет нестись, не только курица. Просмотрел пазы, где мох выпал либо воробьи повытаскивали – доколачивал купленной на складе паклей, мох нынче не дерут, не умеют, да и моховые озера пообмелели и усохли. Приставил лестницу, залез на крышу, осмотрел шифер, не лопнул ли где, не подняло ли ветром. С лестницы увидел, что к дому подъезжает грузовик, газончик-самосвал, разворачивается и задним ходом к воротам.

«Кого там нелёгкая принесла?» – беззлобно подумал Григорий и пошёл к калитке. Шофёр, молоденький парнишка, его опередил:

– Дядя Гриша, зерно развожу на пай. Стелите полוג, я вывалю, у меня список большой на сегодняшний день. – И кинулся открывать ворота.

Канаков остановил:

– Не спеши. Я гляну.

Встал на колесо, подтянулся за борт, глянул. Отборная пшеница, чистая, хоть сейчас засыпай в жернова. Прямо с колеса спросил:

– И много развёз?

Парнишка беззаботно махнул рукой:

– Не. Троим вот такую, а там многие своим транспортом получают, из другого склада.

Григорий крикнул:

– Матрёна, я не скоро, без меня обедай. – И шофёру: – Поехали на склад.

В огромном ангаре несколько человек нагребали мешки. Григорий подошёл, сунул руку в ворох, в ладони размял горсть зерна: пшеница с щуплыми зёрнами подгона, влажная, уже согрелась. Все остановили работу, интересно, по какому случаю здесь отец председателя?

– Иван, – обратился Канаков к ближнему: – Тебе на три пая сколько приходится?

– Если по тонне за пай, как в договоре, то, получается, три тонны.

Канаков показал на старенький мотоцикл с прицепом:

– И ты их собрался на своём «ижаке» увезти?

Иван засмеялся:

– Ты шутишь, Григорий, мне кладовщик велел насыпать шесть центнер.

Григорий кивнул и пошёл к кладовщику. Тот, заметив нежеланного гостя, водитель ему уже всё обсказал, хотел выйти через ближние ворота, но Канаков крикнул:

– Ефим Кириллович, я же тебя всё равно найду, так что обожди, и поговорим принародно, потому что один на один я тебя могу нечаянно зашибить. Ты какую труху людям на пай выдаёшь?

Ефим Кириллович, вечный заведующий зерновым складом, щуплый и юркий мужичишка, делал вид, что тщательно охлопывал пиджак, хотя пиджак уже стоял от пыли и грязи:

– Какую–какую?! Что велено, то и даю.

Канаков подождал, пока соберутся люди:

– А кто велел? Говоришь, председатель? У тебя и распоряжение есть, или вы друг у дружки на доверии?

Ефим Кириллович насторожился:

– На словах.

Канаков нажимал, толпа уже начала ухмыляться:

– Как же ты, материально ответственное лицо, мог пойти на раздачу зерна без распоряжения? Ладно. Обожди, Ефим, у тебя с уборки ещё рация должна остаться. Айда, вызови мне председателя.

Вся толпа переместилась к весовой. Через хрипы и свист Канаков услышал знакомый голос.

– Сынок, ты сейчас где? Так вот, сворачивай все дела и крупной рысью на зерновой склад, тут тебя люди желают видеть.

– Какие люди, папка, ты с какой стати оказался на складе? Тебе зерно уже должны привезти.

Канаков подмигнул собравшимся:

– Повторяю: на складе ждём, и чтоб без игрушек.

Бросил трубку и вышел из избушки. Окинул складской ток: сколько ворохов тут лежало в добрые годы, когда всё засевалось и всё свозилось сюда. Деревня жить переходила на склад, здесь столовую открывали, комбайнёров возили кормить свежим и горячим, а не болтанкой в термосах. Пока они щи хлебали да пельмени ели, за них на комбайнах где шофера, где механики, а у многих свои сыновья на подножках стояли: «Тятя, дай, я тоже...» Некоторые отцы доверяли, потому что проверены ребяташки, чай пили не торопясь, со вкусом.

– Не боишься, Мишку одного оставил? – спросит мужа супружница, она тоже тут при складе.

– У меня, Феша, об нём дум больше, когда его в три часа ночи дома нет. А с мостика он не упадет, будь спок!

Тысячи тонн зерна пропускали, и всё уходило, и людям машинами сваливали на ограду натуральную оплату. Вот как сегодня ему чуть не свалили.

Новенькая «волга», легонько качнувшись, остановилась у весовой. Никита выскочил, явно обеспокоенный. Отец взял его под локоток – Никита знал, это плохая примета:

– Пошли со мной.

Подошли к «газончику», на котором приехал Григорий Андреевич.

– Зачерпни зерна из кузова, – попросил сына.

Никита проворно вскочил на колесо, спустился с горстью зерна, протер в ладонях, взял на зуб:

– Отличное зерно, что тебя не устраивает? Ты, мне сказали, вернул машину?

Отец как будто его не слышал:

– А теперь пойдём туда. – Григорий указал на склад, где у ворот толпились два десятка человек. Трое быстро завели мотоциклы и, далеко объехав начальство, порожняком выскочили мимо весовой.

– Может, в склад зайдёшь, или вон у Ивана в мешках посмотри, что твой кладовщик на паи выдаёт. Это твоё распоряжение?

Никита взял отца за плечи и хотел отвести в сторону:

– Да. Но тут не место его обсуждать, отец.

Канаков стряхнул руку сына и громко сказал:

– Самое подходящее место. Народ присутствует, объясни, почему ты вместо зерна, какое записано в договоре, выдаёшь людям отходы, почему вместо тонны на пай выдаёшь два мешка? Кто тебе позволил так вольно обращаться с совхозной собственностью?!

– У нас не совхоз и уже даже не кооператив, папка, забудь ты про совхоз.

– Нет, не забуду, не забуду, как мы за каждый колосок боролись, потому что это было наше, советское. И кооператив из совхоза родился, выкидыш, конечно, но должен выжить, если не шельмовать. Ефим, открой вот этот склад.

Ефим засуетился, ждал команды. Старший Канаков подтолкнул:

– Открывай, начальство не возражает.

Склад под самую крышу засыпан отборной пшеницей, видно, отсюда брали зерно для Канакова.

– Это пшеница первого класса, вся пойдёт на реализацию, – предупредил все вопросы Никита.

– Нет, Никита Григорьевич, не вся. Собирай своё правление, мы от общества тоже придём, человека четыре, и так решим, чтобы один пай, стало быть, тонна, был выдан продовольственной пшеницей, а остальное можно и той трухой, скотина съест.

– Спасибо, Григорий Андреевич, за ценные экономические советы, правление я соберу на восемь часов. До свиданья.

Домой Канаков старший шёл один, и до того паскудно было на душе – хоть волком вой. Что это случилось с Никитой, он, как в председатели избрали, года два, поди, вёл себя вполне прилично, и сам отец бдил, да и народишко на итоговых собраниях недовольств особых не высказывал, соглашались люди с раскладом по всем показателям и со скромной зарплатой соглашались, не первый раз, надо потерпеть – дело привычное. Особо отметил тогда для себя Канаков, что руководитель поддерживает подсобные хозяйства, потому как без собственного продукта крестьянину в таких условиях хана. И зерно дроблёное даёт по норме, а, если надо, то и продаст подешевле, и сенов всем поможет накосить кооперативом, и соломы к каждому дому по паре тюков подвезут ребята на тракторах. За магарыч, особенно от пожилых людей, пенсионеров, карал жестоко, однажды тракториста с напарником, которые за привезённую дробленку с бабки бутылку взяли, тут же отправил в магазин, велел водку купить, бабке вернуть и извиниться. А ещё наказал, что повторится такое – будет настаивать на увольнении из кооператива. А потом что изменилось? «Волгу» новую купил, никого не спросясь, цены на продажу зерна, мяса и прочего товара перестал согласовывать с правлением. К отцу редко стал заходить, только по приглашению или по праздникам, и всё старался производственных тем избегать, отвечал как-то с неохотой, потом вообще сказал, что хоть тут-то отдохнуть дайте.

– Вот сегодня мы и отдохнём коллективно, – закончил размышления Канаков.

Не успел в ограду зайти, калитка сбрыкала, сын явился. Шляпу бросил на кабину «москвича», вытер лоб платком.

– Насмелиться не можешь меня дураком назвать? Не советую. Если пришёл отговорить от обсуждения твоих глупостей, тоже напрасно, я не допущу, чтобы фамилию мою – слышишь, ты, начальник новорусский! – трепали на перекрёстках. Отец мой геройски погиб за народ и за Родину, сам я чуть не полвека спины не разгибал, орден имею, литровую банку значков и полную тумбочку почётных грамот. А ты в кого? Какую ты червоточину мог получить на чистых материнных перинах да на моей ограде выскобленной? Что с тобой случилось, что перестал ты к людям лицом?

– Папка, извини, ты несёшь такую глупость про ордена и грамоты, смешно слушать...

Никита не успел договорить, отец наотмашь ударил его по губам:

– Проглоти эти слова обратно, пока я не прибил тебя на собственном дворе! Если пришёл просить – уходи, я своё решение не отменю, не соберёшь правление – завтра соберу общее собрание, и выпрем тебя, пока ещё не поздно.

Правление собрали. Никита Григорьевич, причмокивая из-за припухшей губы, сказал, что был не прав, дав распоряжение отоварить за земельные пай фуражным зерном, предложил получить на первый пай по пять центнеров продовольственной пшеницы, а к новому году выдать по пять мешков муки заводского помола. С этим все согласились, Григорий Андреевич встал и вышел первым.

пробел

Григорий сразу обратил внимание, что в магазине замолчали, когда он вошёл. Не надо много ума, чтобы догадаться: либо о нем разговор шёл, либо о ком-то из ребят. Модничать не стал, поздравствовался и попросил:

– Я без стуку, потому смущенье сделал, так вы продолжайте, ежели моей семьи касается, то кому же слышать, если не мне? Верно я говорю? А, Семён Фёдорович?

Семён помялся, но товарищ спрашивает, стало быть, отвечать надо:

– Дак вот, Григорий Андреевич, судили про то, что председатель наш Никита Григорьевич коров собрался продавать или сдавать, не выгодно молоко, один убыток. Вот и судачит народ: а куда дояркам со скотниками податься? На биржу? Это же позорище!

Григорий Андреевич кашлянул, спросил:

– Откуда разговоры? На ферме собрание было или другим путём?

Народишко зашевелился:

– Григорий Андреевич, я дояркой роблю, вчера перед вечерней дойкой приехал Никита Григорьевич, никого собирать не стал, только бригадиру сказал, что через неделю всех коров увезут на мясокомбинат. Мы так ничё и понять не можем, коровы доятся большинство, жалко.

Семён Фёдорович махнул рукой:

– Это раньше мы ходили за скотом, всё государству молока мало было, драли за каждый грамм, хоть литру даёт коровёнка, и то чилькали, а теперь экономисты все сделались. Я видал, третьего дня шлялся по ферме с директором какой-то чин, все ботинки в говне замарать боялся, а сам видом, как раздавленный обабок. Он требовал, это я сам слышал, что нерентабельное какое-то животноводство...

– Нерентабельное, – подсказал кто-то.

– Да, вот это надо кончать.

– А чего город жрать будет?

– Ты за город не страдай, их Европа прокормит.

– Ха, а мы на картошке не пропадём!

Канаков одёрнул:

– Сухая картоха глотку дерёт, ты разве забыл, как при Хрущеве без коров остались – обратку на молоканке по талонам давали. Ладно, сильно пока не судите, а я разберусь, кто тут у нас за главного животновода. Фрося, подай-ка мне пачку хорошего чая.

– Ты, поди, на индийский губу раскатил? – засмеялся Семён Фёдорович.

Фрося нырнула под прилавок и подала Григорию большую разрисованную банку.

– Григорий Андреевич, для друга хранила, да он, сволочь, другу неделю нос не кажет. Канаков улыбнулся:

– Фрося, разговор между нами, но под такой чай я в твоём распоряжении. От смеха даже чекушки на полке запозвякивали.

В своей ограде закинул пакет с гостинцем Фроси на крыльцо, пошёл к дому Никиты. Сообразил: раз машины нет, значит, и его нету. Внучка выскочила, обняла дедушку:

- А папа в конторе, он только сейчас обедать приезжал.
- Ладно, дочка, ты вечером прибегай ко мне, дедушку чаем угостили, индийским.
- Его индейцы выращивают с Чингачгуком?
- Не, это красивые девушки, и на лбу у них пятнышко. Для красоты.
- Круто! Я тоже сделаю себе пятнышко во весь лоб.

В конторе пусто, прошёл до кабинета – поздороваться не с кем. А когда-то тут не протолкнуться было, все сюда шли, и с бедой, и с радостью. Он уж как-то размышлял на эту тему, интересная получилась картина. Открыл дверь без стука, Никита удивлённо поднял глаза:

– Что случилось, папка?

Григорий прошёл вперёд и сел за маленький столик, с этого места вёл он когда-то разговоры с бывшими директорами. К сыну старался не ходить, неловко. Но вот пришлось:

– Пока ничего не случилось, но, похоже, готовится провокация серьёзная.

Никита сложил бумаги и убрал в сторону:

– Ты бы поконкретней, папка...

– А я тебе, сынок, сейчас всю конкретику изложу. Ты по какому праву под нож гонишь совхозных коров? Ты с каких пор перестал создавать, а только торгуешь, как жид варёными яйцами: хоть какой-то навар, да остаётся? Свиней продал – я это могу понять, и на собрании людям объяснил, что свинья сожрёт весь совхоз при таких расценках. Ты помнишь? И народ меня понял, только ты, похоже, до сих пор мне не простил, что я общественную комиссию создал на том собрании, и все чушки были учтены, и все рубли тоже. Не перебивай меня! Догадывался я, как ты осенью хлеб продавал, понял, когда вдруг деньги зашевелились, и баба в Турцию, и Прошке долги загасил. Но поздно уже было, ничего не доказать.

– Папка, что ты такое говоришь? Я же приличную зарплату получаю, потому и деньги.

Отец посмотрел укоризненно:

– Никитка, твоя зарплата, что по ведомости, это две моих пенсии. Ну, ладно, чужие деньги считать – только нервы трепать. Ты мне за коров почему молчишь?

– Объясняю. Производство молока убыточно, закупочные цены низкие, себестоимость большая. В итоге на каждой тонне мы теряем... сейчас я найду цифру.

– Почему перед губернатором не ставите такой вопрос о ценах? Как это получается, что в одном государстве тот, кто производит молоко, гол как сокол, а торгош в магазине пополам водой разведённое за три цены продаёт? Кто-нибудь этим будет руководить, или ваши начальники только в лимузинах с ментовским сопровождением да красные ленточки перестригать?

Никита пытался держаться бодро, но не особо хорошо получалось:

– Папка, тебе этого не понять, существуют экономические законы, которые никакая власть отменить не может.

Григорий Андреевич ухмыльнулся:

– До чего же быстро вы научились под плутовство и жульничество теорию подводить?! А уголовные законы уже не действуют? Кто установил такую цену на закуп? Власть?

Никита развёл руками:

– Бизнес. Предприниматели-переработчики.

Старший Канаков опять за своё:

– Почему их власть не поправила?

Тут Никита допустил промашку, позволив себе высказать в упрёк собеседнику:

– Нельзя. У нас свободное ценообразование.

Григорий вскочил со стула, ударил в стол кулаком!

– Забудь при мне языком трепать! Ах ты, сукин сын! – Канаков поймал сына через стол за конец галстука и притянул к себе: – Как ты кучеряво научился? А ты забыл, как с железной кружкой стояли с братьевьями, пока мать корову доит, и ждали, когда каждому прямо из титек нацедит, аж шапку пены ветерком сдувает? Это же молоко, продукт! Недобрый человек это затеял, сынок, и ты в изничтожении народа своего участвовать не будешь, не позволю! – И отпустил галстук.

Долго молчали. Старший Канаков сел ближе к столу сына:

– Никита, мы тебя всё время учили, и когда председателем ставили на собрании: думай об людях прежде всего. У тебя на коровнике со всей обслугой десятка четыре мужиков и баб. Ты, когда скотину увезёшь, как им в глаза станешь глядеть? Ты же их на погибельпустишь. А как жить?

Никита отошёл в угол, у зеркала поправил одежду, отёр лицо.

– Папка, не мы первые идём по этому пути, и никакой трагедии, будут жить подсобным хозяйством, ведь жили же до колхозов.

Слышал Канаков от друзей-товарищей, как живут сегодня в тех деревнях, где не осталось животноводства. Говорят, чины приезжали, не только убеждали, но и ножками топали на начальников, что скот держать невыгодно. Вот и увезли на длинных машинах, последний раз коровий плач слышали. Как же деревня без скотин? Если на ранней летней зорьке не щёлкнет длинный кнут пастуха, не заскрипят вороточки в пригонах, не наделают коровы огромных лепёшек по всей улице, не выскочат бабы, прообнимавшиеся на солцевосходе с некстати замиловавшимся мужиком и рысью погнавшие коров вдогонку табуну, – разве это деревня? Так, выселка какая-то...

– Папка, решение принято, завтра придут скотовозы.

Отец промолчал. Где он просмотрел этого ребёнка, которому на роду было написано стать руководителем? И всё для того было, и грамота, и понятие, и людское уважение. Да, времена переменялись, но человек с твёрдой верой и упругим характером не стал бы вот так болтаться, как говно в проруби. Что упустил, когда не сказал нужного слова или даже не врезал по шее? Как получилось, что его сын мыслит не как крестьянин, не как избранный народом руководитель, а совсем по-другому? Вот за работников, которых придется уволить с фермы, директор уже решил, что будут личным хозяйством заниматься, а ведь отец спрашивал, как он, Никита Канаков, жить собирается после того, как бездарно спустит коллективно нажитое добро.

– Ладно. Твое решение я отменяю сразу как глупое и вредное. Не позволю народ смешить. Но, коли властям наплевать, надо собирать общее собрание и там принимать. А ты как думал? Ты не на своём дворе, хотя на твоём дворе кобель со скуки повесился, а скот это совхозный, и только коллектив решит, как быть.

– Папка, да нет давно никакого совхоза, есть кооператив, хотя вчера мы зарегистрировали ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Старший Канаков аж привстал:

– С какой ответственностью? И чем она ограничена? И кто это «мы»? Почему об этом никто в деревне не знает? Обожди: значит, вы – не знаю с кем конкретно, но явно с жуликами – решили погреться возле нашего горя и нашей безграмотности? Это называется в акции превратить нажитое, а потом тихонько прибрать к рукам? И кто тебе эту ООО зарегистрировал? Треплев? Он у меня одного сына в грязь втоптал, теперь за второго взялся!

Григорий Андреевич нервно ходил по кабинету:

– Никита, прямо на завтра назначай собрание и готовься все объяснить народу. Сперва про фокус с акциями, кто тебя научил и кто про это знал. Потом со скотом. Имей в виду, я буду в первом ряду и стану смотреть тебе прямо в глаза. Соврёшь – пройду на сцену и прямо с трибуны скину. Ты моё слово знаешь.

Никита разволновался, щеки горели, в горле пересохло. Он понимал, что сегодняшний разговор, первый по существу серьёзный после реформы совхоза, этим не кончится, отец ушупал его промахи и теперь спуска не даст. Он встал, закурил хорошую сигарету, прошёлся по кабинету:

– Григорий Андреевич, давайте по существу, а то толчем воду в ступе. Нет совхоза, нет кооператива. У работников остались пай, но мы возьмем кредиты и их выкупим, ликвидируем убыточные производства, погасим кредиты и будем спокойно работать.

Старший Канаков едва сдерживал себя, но крепился:

– Добре, товарищ Канаков, переходим к официальным разговорам. Скажите, пожалуйста, а работать вы с чем собираетесь? Коров не будет, свиней уже съели. Я слышал, где-то на Волге один придурок страусов разводит. А что? Одно яйцо – и глазунья на всё ООО. Опять же бабам в шляпы будет что воткнуть. А пухом будете подушки-думки набивать для депутатиков, а то они спят, Христовые, как на вокзале. Ты кому лапшу на уши собрался вешать, сопляк? Вот тебе моё последнее слово: общество с ограничением прикрой, чтоб и духу не было, это раз. Второе: готовься к собранию, всё чин чинком, чтобы доклад по всей сути и предложения. Рекламу сегодня же выбрось, чтоб народ знал. Учти, Никитка, позорить имя своё не позволю, а тебе только соболезную, что живёшь ты на глазах у отца. Компаньонам твоим чубайсам и абрамовичам повезло, их родители в Святых Землях окопались, не могут детей своих приструнить. А ты у меня в кулаке, сожму – только сукровица выступит, и более ничего.

Встал, ещё раз глянул на сына, как на чужого глянул, отчего поймал какую-то боль в душе, постучал казанками пальцев по полированной поверхности стола, вздохнул и вышел.

Вечером Канаков старший пошёл в Дом культуры, нашёл паренька, которого называли художником, достал из кармана листок и подал в измазанные краской руки специалиста. Сказал, чтобы к утру щит с текстом висел на рекламной рамке в центре села.

– Аванс, – с трудом выговорил живописец, и Григорий Андреевич взял его за ворот куртки:

– Когда напишешь и вывесишь, тогда и аванс, и зарплату получишь. Даю слово, что не обману, ты меня знаешь.

– Тяжело без аванса.

Но Григорий Андреевич уже не слышал, по его просьбе в библиотеке девчонки писали бумажные объявления. Текст был один: «22 октября с.г. в ДК состоится собрание пайщиков

кооператива «Кировский» и всех жителей села. Вопрос: О руководстве кооператива. Отчёт председателя Канакова Н.Г. Начало в 8 часов вечера. Прибыть всем».

Никита, увидев объявление, с утра всех поднял на ноги. Первым позвонил Треплеву, кратко изложил суть. Треплев выругался:

– Я пришлю юриста и начальника сельхозуправления. Акционирование отменять нельзя, я уже почти все вопросы решил по регистрации. И что у вас за отец такой, его детей тянут всеми силами к светлой жизни, а он уперся в марксизм, да хоть бы понимал в нем!

Никита возразил:

– Это вы напрасно, Ермолай Владимирович, он из Маркса главное усвоил – о прибавочной стоимости и безнравственности капитала.

Треплев засмеялся:

– Вот старики пошли! Главе района некогда газету как следует посмотреть, а они Маркса изучают. Я думаю, надо сразу предложить людям график выплат за натуральные пай, тогда они заткнутся. Я могу вложить десять тысяч баксов, да ты столько же найди. Сколько всего дольщиков?

– Около двухсот. Но часть добрых мужиков оставим работать, с ними можно и попозже.

Треплев махнул рукой:

– Выдай всем под роспись, только заголовок оформи правильно, что это аванс за приобретённое имущество бывшего кооператива. И посмелее, все равно будет так, как я сказал. Деньги привезёт водитель.

Собрал своих приближенных, которым тоже пообещали по пять процентов акций, это все конторские.

– Отчёт у меня будет краткий, надо найти по одному–два человека, чтобы выступили в поддержку акционирования. Это хороший шанс выжить, иначе спустим все и пропадём.

Никто из них энтузиазма не проявил, встал молодой человек, агроном Воронин:

– Никита Григорьевич, от всей этой процедуры бурно пахнет аферой. Я отказываюсь в ней участвовать.

– Вот как? – деланно удивился Канаков. – Кто ещё у нас брезгливый?

– Да все, – с места ответила старый совхозный экономист. – Никита Григорьевич, откажитесь от акционирования, обсудим с людьми, что можно сделать, чтобы устоять, у меня тоже есть расчёты.

– Ладно, свободны.

Никита охватил голову руками. Как хорошо все шло, все бумаги подготовлены, проверены во всех инстанциях, осталось зарегистрироваться и начать выкуп имущества. Никто бы и не пикнул, тем более, что деньги выплачивались неплохие, и за что? За тракторное колесо, которое тебе приходится по паю, или часть стены коровника, которую ты домой никогда не утащишь? И надо же было болтануть отцу! Хотя рано или поздно, он бы все равно об этом узнал, и скандал был бы ничуть не меньший. А собственно, что я расстроился? Отчитаюсь, все цифры под руками, от акционирования отрекусь, скажу, что только собирались, но без согласия коллектива... В общем, пойдёт, и никто ни к чему не прикопается. Зашёл к экономисту, извинился, сказал, чтобы готовила свои предложения.

Народу в клубе набилось много, мужики толпились у входа в зал, мест уже не было. Никита приказал снять стол со сцены и поставить в зале, быть ближе к народу. На поданные со сцены стулья сели конторские.

- Будем начинать, товарищи?
- Пора!
- Открывай!

Никита глазами нашёл отца, тот сидел на крайнем месте, значит, будет выступать. А что он имеет сказать? Да ничего, кроме вечного недовольства и сравнения совхоза с кооперативом.

А Григорий Андреевич много передумал за сегодняшнюю бессонную ночь и день, проведённый в дороге в район и хождениях по старым друзьям-приятелям, у кого дети или близкие люди работали в нужных ему конторах. Возвращаясь вечерним автобусом, он сам себе задал вопрос: а может, не надо вмешиваться в Никиткины дела, ну, вся страна воровская, выведу сегодня Никитку, сына своего, на чистую воду, а ведь мне одному всех на чистую воду не вывести, руки коротки, да и жизни не хватит. Может, сжаться до величины расхристанного сердца, да пожалеть Никитку и жену его, и детей их, да не доводить до обмороков старую свою жену, она и так сдала в последнее время, или больше меня знает, или сильнее переживает. Никита без него собрание проведёт спокойно, он не дурак, говорит точно, кратко, не в пример многословному Ромке. Хороший был бы председатель по тем временам.

А какие были мужики! Грамотёшки мало, но ночей не спали и людям не давали, все старались для колхоза, и труды их не пропали, их усилиями создавались коллективные хозяйства и воспитывались те люди, которые ценою собственного недоедания прокормили воюющую с фашистами армию и рабочий класс у станков. Ценою отрешения от будущего оплачивали государственные займы на восстановление разрушенной промышленности, играли с государством в безвыигрышные лотереи нескольких пятилеток, сдавали все до зёрнышка, и при том умудрялись следующей весной сеять. Это они, вынужденные помимо оплаченной «палочками» колхозной работы вести какое-никакое домашнее хозяйство, чтобы не сдохнуть с голода, да ещё сдавать Родине все: мясо, молоко, яйца, и «полторы овчины с овцы» – мера, обязывающая получить приплод, если хочешь сохранить свою шкуру.

А каких высот достигли, грудь в орденах, тот Герой Труда, а тот депутат Верховного Совета. Всех знал и уважал Григорий Андреевич, вместе с ними в партию вступил, рядом жил и вечно учился. А ведь было чему!

Богатый опыт руководства колхозами, тонкое умение провести решение через все рогатки командно-административной системы и выдать-таки колхознику зерно и прочую натуроплату, при этом сохранить благорасположение к себе и, следовательно, к колхозу, вышестоящих товарищей, не уронить собственного достоинства и не навредить хозяйству; знание конкретных условий каждого поля, особенностей климата, повадок каждого бригадира и уловов каждого механизатора, умение взять, что нужно, из рекомендаций заезжего учёного и советов безграмотного, но толкового колхозного старожилы; ювелирно лавировать на стыке морального и уголовного кодексов, пройти по лезвию бритвы и не порезаться, быть у воды и не замочить ног, ворочать миллионами и остаться бессребреником – все это вобрало в себя понятие колхозные председатели, руководители.

Мог ли он поставить рядом с ними сына своего родного? Нет, не мог, это значило унижить тех, кто остался в памяти святым и чистым человеком. Повинен сын и будет призван к ответу, а коли дело это общественное, то и казнь его моральная тоже должна быть при обществе.

Он, опустив голову, слушал доклад сына, расчёты экономиста, размеренную речь районного начальника, который задавил цифрами, гектарами, тоннами, а в конце заговорил про успешное акционирование, но в других хозяйствах.

– У вас эту кампанию проводить пока рано, – заключил начальник.
– Будут ли какие вопросы? – спросил Никита Григорьевич.
– Вопросов будет много. – Григорий Андреевич встал. – Первый к районному начальнику: при акционировании рядовые крестьяне что имеют?

Начальник помялся:

– Ну, как вам сказать?

– А ты говори прямо: ни хрена они не имеют, сунут им копейки с барского стола, и они уже никто, плаху на гроб покупать придется. Садись. Теперь вопрос к нашему начальнику господину Канакову: так все-таки акционировали вы наш колхоз или нет?

Никита встал:

– Я только что все объяснил, мы работаем в формате кооператива с перспективой акционирования. Другого пути нет.

– Ясно. И ты садись. Теперь последний вопрос к народу: сколько мы будем терпеть эту ложь, это вранье?! Вот бумага, я сегодня день потратил, чтобы её добыть. Это свидетельство о регистрации акционерного общества «Фортуна», а учредители жена главы района Треплева, ещё чья-то жена или блядь, не разбирался, и наш уважаемый председатель Канаков. Вот он, документ! – Григорий Андреевич потряс над залом пачкой бумаг. – Уже все на мазах, осталось только вписать в реестр, но что-то задержались. А теперь решайте по председателю, я предлагаю господина Канакова из правления вывести и с председателей снять.

Жуткая тишина нависла над залом, потом люди заперешёптывались, загудели, но Никита Григорьевич, пролистав все бумаги на столе, встал:

– Уважаемое собрание, в зале присутствует меньше половины членов-пайщиков кооператива, потому собрание неправомочно решать вопрос о председателе. Повестка дня исчерпана, собрание объявляю закрытым.

Канаков старший вышел вперёд, да и народ остановился, словно ждал чего-то:

– Никита, пока народ не разошёлся, Богом тебя прошу, хоть и не верю, нет веры, но прошу тебя именем матери твоей, святого человека, все скажут: брось все это, до добра не доведет гоньба за златом, не нами замечено. Ты же честным был человеком, сдай дела, а работу найдёшь, ты же парень толковый.

Никита сложил бумаги в шикарную, под крокодила, папку, взглянул на отца с сочувствием:

– Григорий Андреевич, здесь не место для проповедей, что христианских, что коммунистических. Я хозяйственник, у меня бизнес, у меня семья, ваши внуки, кстати, так что последовать вашему совету я не могу.

– Закрой рот! – тихо сказал отец. – Закрой, иначе не постесняюсь добрых людей и заткну его кулаком. Ладно, соглашаюсь, внуки мои, и сноха моя, а ты мне с сей минуты не сын. При всех говорю: отрекаюсь. И видеть больше не хочу!

Григорий Андреевич тяжело шёл домой, сел на лавочку, откинулся на спинку. Эх, Никита-Никита, какой был парень, какая была надежда у отца с матерью, а вот испытания рублём не выдержал. Лариса плачет, он только о деньгах, ничего не читает, даже кино не смотрит, закроется в своём домашнем кабинете и целый вечер с кем-то говорит по телефону. Лариса однажды прислушалась через стенку – продаёт кому-то десять бычков, потом договорился, что завтра же за наличку заберут тридцать тонн семян озимой ржи. Потом неосторожно звякнул ключами от сейфа, наверное, деньги положил, а может, пересчитывал, Лариса однажды застала его за этой увлекательной процедурой, он смутился, потом развёл руками:

– Бизнес, Лариса, должен приносить деньги, иначе день прожит зря.

– У Елизы температура вторые сутки, а ты даже не поинтересуешься.

Никита встал, обнял жену:

– Ты же у меня на хозяйстве, я целиком на тебя полагаюсь. Ну, хорошо, давай завтра свозим её в больницу. Стоп, завтра я не могу. Я пришлю тебе машину, съездите сами.

Это он вспомнил, что утром придут машины за семенами.

Что он мог сказать любимой своей невестке? Муж жулик, и что делать? А сегодня и того тошней: родной отец с работы снимал, да не получилось. Как дальше жить? Как людям в глаза смотреть? Матери все равно кто-нибудь доложит, опять сляжет.

И о сегодняшней новости ей тоже тихонько скажут.

Галя старалась избегать Прохора, но куда денешься, если он приходит в магазин и в упор спрашивает:

– Ты как-то косо на меня смотришь, Галина, может, вечером встретимся?

Галя не поднимала головы от прилавка:

– Нет, не встретимся.

– А на что обида? Такую ночь провели, почти первую брачную, – веселился Прохор.

Галя вскинула взгляд:

– Вот именно, что почти. Уходите, Прохор Григорьевич, если будете досаждать, я уволюсь.

– И куда? – Прохор захохотал. – Где вас ждут, крупный специалист по химии? И девушкой вы оказались довольно слабенькой, за первые же золотые побрякушки на шею кинулись.

Она схватила с прилавка тяжёлый калькулятор и метнула в него, но Прохор увернулся. Галя открыла кассу, отсчитала свою зарплату и бросила хозяину ключи. Переодеваться не стала, так в рабочем костюме и ушла домой.

Валя отработала утреннюю смену и была дома, лежала на своей кровати лицом к стенке.

Галина села около сестры:

– Валюша, у тебя болит что-то? Ты последнее время сама не своя. Что болит, сестрица?

– Душа, Галя, болит. И так болит, что хоть в петлю...

Галя вздрогнула:

– Бог с тобой, ты даже не думай такого, не только говорить. Мама услышит или отец – с ума сойдут от одних только дум.

Валентина повернулась на спину:

– Подожди, ты же на смене должна быть, и что случилось, что ты при форме дома?

Галя врать не стала:

– Разругалась с хозяином, калькулятором в него запустила, да жалко, что мимо. Ключи бросила, зарплату забрала и ушла.

Валентина ухватила сестру за шею, прижала к себе. Догадалась, конечно, в чем причина, но говорить ничего не стала, сестре и так тяжело.

Вошла мать:

– Воркуете, сестрицы? Завтра надо картошку прибрать, которая-то поможет, кто дома с утра?

– Я помогу, мама, – успокоила Галина.

– Ну-ну, а к вечеру я лапшу сварю, вашу любимую, из домашних сочных, отец петушка молодого зарубил, добрая будет лапшица.

Галя опять ушла к озеру, бродила вдоль берега, бросала камешки в потемневшую воду. Тут ни о чем не думалось, все земное оставалось где-то там, а тут фантастическая тишина, мёртвая, словно окаменевшая вода, стена камыша с обеих сторон пристани. Лодка, на которой они сидели когда-то, в той ещё жизни, с Мишей Андреевым, догнивала на отступившей от воды мели. Тяжёлую обиду и запоздалую тоску сменила лёгкая грусть, когда и заплакать можно без всхлипов, одними слезами, а со слезами у девушки уходят многие печали, которые только что казались такими тяжёлыми. Надо будет объяснять родителям, почему ушла с работы. Им трудно будет понять, ведь только месяц назад она хвасталась повышением зарплаты и отдала отцу на сохранение такие деньги, каких он давно в руках не держал. Чем объяснить ссору с хозяином, может, сослаться на недостачу? Но Валя – её не обманешь, видно, с сестрой придется поделиться своей бедой.

Дома все ей показалось каким-то странным, неестественно оживлённый отец, мама со своей хвалёной лапшой, какую умеет делать только она во всем свете, Валентина, вдруг оживившаяся, причёсанная, красивая, только лицо бледное. Сели за стол, отец налил себе стопку самогонки, мама рюмку любимой настойки на ягодах, девчонкам не предлагали. Только начали есть, Валентина захватила рот руками и выскочила во двор. Мать вроде кинулась за ней, но Галя остановила. Валентина стояла, наклонившись и опершись о стену сарая. Галя подала ей рукотёрт, помогла умыться из летнего умывальника, вытерла лицо. Обе молчали и, наверное, понимали, о чем они молчат. Вошли в дом, сели за стол. Валентина видела, что родители ждут её слова.

– Тятя и мама, не судите меня строго, я беременна.

Тишина нависла в комнате, густая и грозная. Мать заревела в голос, отец одёрнул:

– Раньше надо было сопلي размазывать, раньше! Кто он?

Все притихли.

– Папа кто, я спрашиваю? Хозяин?

Валентина молчала. Отец кивнул:

– Я так и думал. А ты, Галина, с ним разругалась – не по тому ли поводу? Тоже, небось, домогался?

Галина стиснула зубы:

– Нет, тятя, не домогался, он месяц назад меня уговорил, кольца купил и сказал, что завтра сватов направит.

Мать завывала, закрывшись фартуком, запричитала, Артём Сергеич одёрнул её опять, хотя сам словно обмер:

– Да что это такое, за что такой позор на мою голову!? Вы, молодые, умные, неужто не видели, что кобель он беспривязный? Как можно было довериться такому кабану? Побрякушками соблазнил? Я за вашей матерью год ходил, до свадьбы прикоснуться стеснялись, а вы в кого такие, что с похотью своей сладить не могли?

Дочери упали перед ним на колени:

– Прости нас, тятя, и ты, мама, прости. Я про Валю не знала, а он жениться предложил, кольца купил.

– И я, тятя, не от похоти, а нравился он мне, ухаживал, я думала, что тут моё счастье.

Артём встал на колени рядом с дочерьми, обнял обеих, заплакал:

– Простите меня, девчонки, за грубые слова, не со злобы, а с горя. Обманом, не насилием, раздавил меня этот урод. Дочери мои, я всегда говорил, что проще всего обмануть честного простого человека, потому что он сам про обман не имеет никакого понятия. И вы на этом попались. Не думайте, я вас проклинать не буду, я ему отомщу за поруганье наше.

Артём Сергеич подошёл к жене, тронул за плечи:

– Варюша, перестань, девчонкам и без того тяжело. С завтрашнего дня к нему на работу ни ногой. Валентина, если надумаешь родить, решай, если в больницу поедешь, смотри, чтоб аккуратно. Идите к себе, нам с матерью поговорить надо.

– Ну, что, сестрица, ехать мне в больницу? – спросила Валентина. – Ехать, ничего другого не будет. Не хочу я такого ребёнка и чтоб отец таким подлецом был.

Галя обняла сестру, тихонько плакала, шептала:

– Почему мы такие глупые? Ну, ладно я, тюхтя, верю всякому зверю, а ты ведь строгая и серьёзная.

Валентина грустно усмехнулась:

– Казалась, наверное, строгой, а как по головке погладили, сразу ручная стала. Если честно, Галя, он мне давно нравился, может, потому и получилось так.

Гале не совсем удобно было задавать этот вопрос, но насмелилась:

– Вы долго встречались?

Валентина усмехнулась:

– Три месяца. А потом он на тебя переключился, я поняла, только говорить ничего не стала, ты же вообще казалась недоступной. Он, правда, свататься обещал? Вот скотина! Уже до последней черты дошёл.

Галина вытерла слезы:

– Я у него только раз и была, а наутро сразу заметила в его поведении перемену. Какие там кольца, он даже шутить над вчерашним пытался. Потом все время зазывал, видно, не подыскал замену.

Валентина спросила:

– Ты ему про сватовство не напоминала?

Сестра возмутилась:

– Как можно? А сегодня не удержалась, выплеснула все, ключи от всей души в морду кинула.

Валя остановила:

– Подожди, отец про месть говорил – что он хочет сделать, как ты смотришь?

Галя плечами пожала:

– Ума не дам. Не убьёт же он его? Да и как? У тяти и ружья нет.

Валентина злорадно улыбнулась:

– Э-э-э, не скажи, отец наш не столь прост. Только бы не натворил чего.

Наговорившись и успокоившись, сестры уснули, а утром их разбудили громкие разговоры на улице. Валя накинула халат и вышла на кухню. Никого нет. Вышла во двор, рядом стоят с десяток женщин.

– Это же надо – в один миг и дом, и магазин.

– Неужто никто не видел?

– Это конкуренты, точно, товар не поделили.

– Дак ведь как толково подпалили: с ветреной стороны полыхнуло, а когда пожарка пришла, тут и делать уж нечего.

– А Прошка-то выскочил?

– Сказывают, дома не было, тем и спасся.

Валентина бегом убежала в дом, Галя тоже в халате, ждёт. Валентина шёпотом передала уличные разговоры.

– А тятя где?

Обе побежали во двор, мать вернулась с улицы:

– Слыхали, что творится в деревне?

– Тятя где? – в один голос крикнули сестры.

– У себя в мастерской, вроде улей колотил.

Девчонки бросились к мастерской, открыли дверь, отец привычно стоял за высоким верстаком, соединял непослушные дощечки улья.

– Что вы прискакали? Завтракать позвать?

Девчонки в голос:

– Тятя, ты разве не знаешь? У Прохора магазин и дом сожгли.

Отец даже не удивился:

– Ну вот, теперь знаю. Дочиста все сгорело?

– Говорят, до фундамента.

Артём Сергеич отложил недоделанный улей, отряхнул рабочую курточку:

– Два пожара враз случайно не бывают. Значит, крепко кому-то досадил Прохор Григорьевич. Ладно, наше дело сторона, пошли завтракать.

Следователи вызывали обеих сестёр, но спрашивали, как продавщиц, даже намёка на то, что у них могут быть личные мотивы. Значит, умолчал Прохор, хотя подозрения на сестёр у него явно были. Через три дня следователи уехали, так ничего и не выяснив. А ещё через неделю калитку старшего Канакова открыл Артём Сергеич. На дворе никого, пришлось крикнуть хозяина. Григорий Андреевич спустился с крыльца, подал руку, поздоровались.

– В дом не приглашаю, Артюха, жена лежкой лежит, угробят её детки наши. Пошли в избушку, там у меня тепло и тихо, можно поговорить о чем угодно, никто не услышит.

Вошли, сели у стола, напротив друг друга:

– Помнишь, Григорий, я к тебе приходил, просил девчонок моих пристроить, чтоб на учёбу накопили. Пристроил. Сын твой Прохор их обеих совратил.

Канаков встал над столом:

– Врешь! Артюха, скажи, что ты пошутил!

– Какие шутки, Григорий Андреевич, когда столь горя. Валентина беременна, а Галину он с месяц назад обмалахтал, убедил, что завтра сватов пришлёт. Она и губу раскатила, золотое кольцо впервые в жизни примерила. А наутро он её же и высмеял. Короче говоря, вчера я узнал об этом позоре и спалил дом Прошки и магазин. Сжёл бы и второй, но он кирпичный. А теперь сдавай меня милиции, Григорий, только раскаиваться мне не в чем.

Долго молчали два побитых жизнью отца, думали каждый про своё. Григорий Андреевич понял сейчас, что он растерян, и чувство это пришло к нему давно, должен был появиться Артюха со своим признанием, чтобы оно оформилось в понимание. И этот сын потерян. Хотел спросить Артёма, знал ли он, что Прохора нет дома, но не стал: откуда ему было знать, может, ему даже легче было бы, сгори тот в том огне. А Артём Сергеич ещё раз сам себе признался, что

сделал все правильно и к отцу подлеца пришел с признанием – тоже правильно. Сдаст Григорий его в милицию или нет – это его дело, а за поругание он отомстил, как мог.

– Плохо сидим, Артём Сергеич, обожди, у меня тут припас есть.

Открыл шкафчик, достал бутылку самогонки, два стакана, где-то в углу нашёл две крупные помидорины, быстро порезал на тарелку. Разлил по стаканам, поднял свой:

– Артём, горе нас свело, у тебя свое, у меня своё. Хотя оно наше, общее. Про твои действия говорить ничего не буду, я в твоей шкуре не был. Но и обиды не имею, а только прощения у тебя прошу за мерзости выродка моего. Давай выпьем, чтоб меньше горя было в нашей жизни.

Закусили помидором, помолчали.

– Артём Сергеич, я своему слову хозяин. Я тебе обещал, что девчонки заработают на учёбу – так и будет. Я знал, где у Прошки деньги лежат, случайно как-то увидел, что он с ящиком в маленькую комнатку ушёл, меня не заметил. А пожар первым увидел, в окнах зайчики заиграли, побежал, куфайку задом наперёд застегнул, рукавицы зимние надел и в дом. Ладно, что он ящик не перепрыгал. Обмотал я его одеялом и домой. Ночью вскрыл, там есть на что посмотреть, ты ко мне вечером приходи, я хорошенько разберусь.

Артём Сергеич встал над столом, грозно спросил:

– Ты что, Григорий, за поруганных моих девчонок хочешь деньгами заплатить?!

– Сядь, Артёха, я же не такой подлец, как мой неудачный сын. Да и есть ли у меня удачные? Сядь, Артём, успокойся. Я же тебе сказал: обещал помочь – выполню. А за девчонок он ещё не раз поплатится, только это не в моей власти. Деньги эти девчонки должны были за год заработать, так что они своё получают, а не подачку. Артёха, я тоже в таких делах чистоплюй, но тут все честно: экспроприация экспроприаторов.

Артём насторожился:

– Гриша, шибко кучеряво, мне не понять.

Григорий Андреевич важно поднял указательный палец:

– Во, а я тебе предлагал в партию вступить, там эта наука изучалась. Иными словами, обидел тебя человек – пусть заплатит. Вот и все. Артёха, я тебя прошу, приходи вечером, после коров, вот тут же и посидим, тут же я все приготовлю. И выбрось из головы, что я этого подлеца откупаю, найдёшь где – бей в рыло, слова не скажу. Приходи.

Полдня мучился Артём Сергеич, с одной стороны – паскудно деньги брать, а с другой – прав Григорий, это его обещание, и он его выполняет. Идти или не ходить? Однако – пошёл и вернулся со свёртком иностранных бумажек. Свёрток аккуратно спрятал в мастерской, на ключ запер. Глубокой ночью при свече развернул бумагу, цифры пересчитал и ужаснулся: многие тысячи долларов. Снова свернул, в железный ящик уложил и под плаху спрятал. Пусть полежат до поры, а девчонкам надо сказать, чтобы в институт готовились.

Брату Прохору Роман позвонил на квартиру, которую тот снимал для развлечений и ночёвок в случае торговой необходимости, сказал про дом и магазин. Прохор подлетел к дымящимся ещё развалинам, кинулся было туда, но пожарники остановили:

– Нельзя, в любой момент может пламя вспыхнуть.

Прохор отмахнулся:

– Пошёл ты..., у меня там деньги!

Пожарник пожал плечами:

– Ну, коли так – ищи.

Прохор нашёл двухметровый кусок трубы и протыкал ею угли и золу, надеясь услышать металлический звук. Через полчаса бросил трубу, сел в сторонке. Потом опять кинулся к пожарным:

– Ребята, ящик у меня был в комнате, в шкафу. Там деньги, документы. Никто не выносил?

Пожарники сказали, что к их приезду тут так горело, что вынести что-либо было невозможно.

– Может быть, раньше? – предположил пожарник.

Прохор ухватился за эту мысль:

– Раньше? Точно, могли раньше, но кто? Никто же не знал, где он лежит!

Снова схватил трубу, полез в залитые водой грязные кучи. Измученный, весь в грязи, зашёл он в ограду отца, а тот уже стоял посередине.

– Вот такие дела, отец, остался твой сын гол, как сокол, – грустно улыбаясь, развёл он руками.

Старший Канаков дождался, пока Прохор подошёл ближе, почти без замаха хлётко ударил его в лицо:

– Вон с моего двора! И чтоб духу твоего тут не было. Если бы верующим был – проклял бы паскудника! Ишь, женилка выросла, уму покоя не даёт. Вон со двора и никогда больше близко не подходи, даже если нас с матерью выносить будут вперёд ногами.

Прохор размазал кровь по лицу, она стекала ему под рубашку, он недоуменно смотрел на свои окровавленные руки и ничего не мог понять:

– Папка, за что? Меня сожгли, и ты меня же бьёшь?

Канаков угрюмо молчал, его била крупная дрожь, но повторил снова:

– У меня нет такого сына, как ты, убирайся вон, ты мерзавец, а подлых людей в родстве иметь не желаю. Вон!

Он схватил Прохора за воротник, довёл до калитки и вытолкнул на улицу. Когда вошёл в дом, увидел Матрёну Даниловну, лежащую на полу без чувств. Схватил на руки, перенёс на кровать, нашёл на подносе нашатырный спирт, облил руку вместе с куском ваты, поднёс к лицу. Все бросил, позвонил в медпункт, фельдшер прибежала быстро. Измерила давление, поставила уколы, посмотрела на прибежавшего Романа:

– Надо срочно вызывать скорую и врача, я думаю, у неё инфаркт.

Матрёну Даниловну положили в реанимацию, Григорий Андреевич выпросился у врача сидеть в коридоре рядом с палатой.

– Я бы вам советовал ехать домой, когда жена придёт в чувства, мы вам сообщим, – посоветовал доктор.

Григорий Андреевич посмотрел на него с упрёком:

– Вот ты бы на моем месте – уехал? А мне зачем советуешь? Я буду ждать, сколько надо, столько и буду.

Поздно вечером медсестра позвала его в кабинет:

– Ложитесь на эту кушетку, вот одеяло. В случае чего – я вас позову.

Григорий Андреевич насторожился:

– В случае чего?

Сестра поняла ошибку:

– Я имела в виду, если ваша жена очнётся и ей будет лучше. Хотя едва ли вам можно будет к ней зайти, без доктора я не решусь.

Двое суток прожил Григорий Андреевич в коридоре реанимационного отделения. Ему сказали, что Матрёна Даниловна пришла в сознание, но говорить с ней нельзя.

Поздно ночью, когда все успокаивалось, он снимал с вешалки докторский халат и в одних носках пробирался в палату. Каждый больной освещён слабенькой лампочкой, и Григорий сразу нашёл свою. Матрёна Даниловна открыла глаза, и слеза скатилась по её ввалившейся щеке. Григорий приложил палец к губам, мол, говорить нельзя, тихонько прошептал, что он ждёт её, и сколько надо – будет ждать. Она улыбнулась слабой улыбкой.

Он выходил в коридор и долго из полутемного коридора смотрел в бесконечную глубину ночи. Какие картины проходили перед ним! Не успевший повоевать ни с фашистами, ни с японцами, танкист Канаков шесть лет отслужил в Советской Армии, воспитывая молодое поколение. Домой пришёл в пятьдесят втором, сразу в МТС, на трактор. Как-то в город ездил с колхозной машиной, бабы на базаре торговали, а Григорий свои дела устроил и шлялся по рынку. Увидел в очереди молоденькую девчонку, хоть и одета бедненько, но красавица, каких никогда не встречал. Толкался рядом, дождался, когда она из очереди вышла, подошёл, доложил по-армейски:

– Разрешите с вами познакомиться? Григорий Канаков, тракторист, работаю в колхозе имени Кирова, это полста километров от города.

Девушка не испугалась, не смутилась, только спросила:

– И зачем вы все это мне рассказываете?

Григорий стушевался:

– Сейчас поясню. Я вас в очереди увидел...

– Это я знаю. Вы для чего со мной решили познакомиться? Вы и меня совсем не знаете.

– А зачем мне знать? – обрадовался Григорий. – Вот подружмся и все друг про дружку узнаем.

Девушка засмеялась таким смехом, что грубоватый Григорий чуть не заплакал от умиления:

– И как это вы без меня решили, что мы подружмся?

– Но вы ведь не замужем?

– Нет, не замужем.

– Вот, и я холостой. Почему бы нам не подружиться? Я человек надёжный, и слово моё – кремень. Я, конечно, не могу к вам часто приезжать, работа у меня такая, но в следующий раз приеду и непременно вас увезу.

Девушка опять засмеялась:

– Вы даже не знаете, как меня зовут. Меня зовут Мотя, Матрёна.

– А живете вы где? С родителями?

– Нет, у добрых людей.

– Тогда тем более надо переезжать ко мне, у меня дом хоть и старый, но большой, а когда семья возрастет, отдельный дом поставим. Соглашайся, Матюша.

– Ладно. Пойдём, я покажу, где живу, чтоб ты меня нашёл. Только к хозяевам заходить не будем. Ты, когда приедешь, подойди и пропой соловьём. Умеешь?

– Не, не учился. Петухом могу.

Матрёна залилась громким смехом:

– Ладно, подашь голос, я все время дома.

Такая была странная первая встреча. Нескоро Григорию удалось вырваться в город, пошёл к председателю, попросил замену.

– Что тебе приспичило? – рявкнул председатель.

– Жениться хочу, – несмело ответил Григорий.

Председатель подобрел:

– Хорошее дело, Гриша, даю два дня, но чтоб женился.

Матрёна так долго хохотала над Гришиным рассказом, что он обиделся:

– Я к тебе всей душой, а ты смешки строишь. Если один приеду, председатель прогулы поставит и премиальных лишит. Так что собирайся, Мотенька, поедem домой.

И тогда девушка взяла его под руку и увела на край улицы, сели на сломанную берёзку, Матрёна стала говорить:

– Вот ты зовёшь меня, Гриша, и хоть не знаю тебя совсем, но мне почему-то радостно на сердце. Значит, мы с тобой должны были встретиться. А ещё слушай. Отец мой был командиром казачьей сотни в двадцать первом году, когда восстание случилось. Он вместе с вашим командиром Атамановым Григорием воевал. Когда их разбили, отец с чужими бумагами убежал в казахские степи и невесту свою увёз. Там жили, скот пасли, детей нарожали, а в тридцать седьмом его нашли. Спасибо, добрый человек предупредил, он всю ораву на телегу сгрузил и отправил, а сам дождался. Мама от верных людей узнала, что его расстреляли в Акмолинске. Мама умерла, братья и сестры разбежались, я младшая, одна осталась. Вот и думай теперь, Гриша, что я дочь врага народа, если это вскроется, то и тебе не избежать.

Григорий обнял Матюшу свою, прижал к колыхающему сердцу:

– Теперь я тебя по любому не оставляю. Беги, собирай пожитки, и на рынок, там наша машина должна быть.

– Приданого у меня, Гриша, одна честь и гордость казачья. Не надо туда ходить, спросят, узнают, могут по глупости на след навести. Если берёшь меня – бери, какая есть.

Вот тогда они в первый раз поцеловались, так, только губ коснулись, а молния обоих прошила, и Григорий решил, что нельзя ему прикасаться к девушке, пока в сельсовете всё, как положено, не запишут и объявят мужем и женой...

Григорий Андреевич вытер слезы, прошёлся по коридору.

Проход после ссоры с отцом пришёл к Роману, отмылся, переоделся в братнину одежду, благо одних габаритов были, сели за стол, Марина подала обед, хозяин открыл бутылку коньяка.

– Найди Никиту, – попросил Проход.

Роман покрутил телефон, нашёл, попросил срочно приехать. Никита рассказу Проши даже не удивился:

– Братья, между нами говоря, с отцом неладное творится. Этот постоянный мордобой, эти выступления на собраниях – ну, бред сивой кобылы! А пожар? Вы думаете, само загорелось? А кто мог? Кому Прошка плохо сделал? Да батя и поджёт, потому что он нас всех ненавидит, он вообще из ума выжил с этим марксизмом. Обещал он твой дом продать? Обещал?

Проход кивнул.

– Вот! Не продал, а поджёт. Мне уже в отчий дом входить заказано, близ ворот не пустит. Умри сейчас мама – я даже проститься не смогу, не пустит!

Роман взглянул на брата:

– Зачем ты так о маме? Она поправится.

Никита кивнул:

– Я сегодня говорил с врачом, вызвал, и в машине разговаривали, потому что папаша, как коршун, у дверей сидит, не подойти. Так вот, врач сказал, что ей не выжить, слишком обширный инфаркт. И опять же все из-за него, устроил расправу над родным сыном на глазах у матери. Если он зверь, то мама-то добрейший человек, она и не вынесла увиденного. Так что надо готовиться.

Долго молчали. Роман не удержался:

– Проша, все равно у тебя какие-то думки есть, может, в городе с кем поссорился, с девками кому дорогу перешёл?

Прохор словно очнулся:

– Валька с Галькой, я с ними переспал и бросил. Это они! Точно, больше некому!

Братья переглянулись и засмеялись:

– Прошка, если бы каждая брошенная тобой баба по дому сжигала, вся деревня уже выгорела бы. Ну, подумай ты сам, какая из Галинки поджигательница?

Прохор взъярился:

– Да ты ничего не знаешь! Если бы ты видел, какое у неё лицо было, какие молнии в глазах, когда она ключи в меня бросила, ты бы не стал так говорить. Они. Их надо трясти.

– Подожди, Роман, – поднял руку Никита. – А папаша их не мог отомстить?

Никита кивнул:

– Для того, чтобы мстить, надо хотя бы знать, за что. Неужели ты думаешь, что обе дочери одновременно упали перед папой на колени: «Папа, отомсти Прошке, он нас испортил!»? Да и Артём Сергеич бессловесный человек, он муху не обидит. Нет, это исключено.

Роман встал, прошёлся по комнате:

– А, собственно, о чем мы судим? Какая разница, кто это сделал, надо что-то с Прошей решать.

Никита спросил:

– Проша, у тебя же были деньги, сам хвалился, что квартиру можешь купить в городе.

Прохор улыбнулся:

– Говорил и мог, но вовремя не купил, а во время пожара уплыл сейф с деньгами.

– Во как! И что ты молчал?

Прохор взвился:

– А что толку визжать на всю деревню?! Кто-то знал о сейфе и о деньгах, без этого в огне его не найти, он в детской комнате в шкафчике укрыт был. Но кто мог знать – ума не приложу.

Роман бросил в пустоту молчания:

– Нас ты, надеюсь, не подозреваешь?

Прохор махнул рукой:

– О чем ты?

– Так осталось хоть что-то или совсем ничего?

Прохор улыбнулся:

– На сигареты.

Опять помолчали. Наконец, Никита подвёл итог:

– Квартира у тебя в городе снята, живи там, надо с Юрочкой посоветоваться, может, он даст хорошую работу, у них оклады приличные и купоны стригут – дай Бог каждому. Рома, это на тебе. Я попробую поговорить с Треплевым, надо найти в райцентре помещение для магазина, деньги все там, это самое главное.

Опять вернулись к матери:

– Мужики, случись с мамой – он же нас не пустит в дом, каждому об этом отдельно сказано, он может продублировать и у гроба, – что делать? – спросил Роман.

Никита предложил:

– Надо через тёток на него повлиять, не сейчас, конечно, а – когда случится.

– Он этих тёток наших никогда не почитал, неужели ты думаешь, что сейчас что-то изменилось? – не выдержал Прохор. – Слушай, Роман, может, тебе через главного врача..., ну, договориться... проверить его на вменяемость?

Роман встал:

– Да ты что, охерел совсем со своими бабами и пожарами? Забудь, ты мне этого не говорил.

Прохор громко хлопнул в ладоши:

– Ну, решайте, только я на ещё один мордобой не пойду, уеду в город, после похорон постою у могилы.

– Не то, не то! – Никита мучительно что-то соображал. – Во-первых, мы обязаны проводить и проститься с мамой, во-вторых, ребята, это деревня, да на нас плевать все будут, и, в общем-то, они правы.

– Но все же дело в отце! – Роман посмотрел на братьев. – А если мы вместе встанем перед ним на колени, может, простит, хотя бы с мамой проститься позволит по-человечески? Вот как это будет выглядеть? Мы входим, а он встречает на крыльце и гонит, как собак. И как после этого в деревне жить?

– Да, надо что-то придумать.

– Вот ты и придумай. Давайте ещё по рюмке, и я пошёл, – предложил Никита.

Извёлся Григорий за это время, жену перевели в отдельную палату, и он мог все время быть около неё. Говорить она не могла, только грустно улыбалась, видя, как старается ей угодить. Он говорил с нею постоянно, когда она не спала, вспоминал самое доброе из большой жизни, но всегда избегал речей о детях. Ночами уходил в коридор и давал волю слезам. Странно, но в темноте ночи он научился находить её образ и видел всегда такую, какой хотел: и молоденькой девчонкой, и на колхозной работе в поле, когда она широкой лопатой разравнивала зерно в кузове грузовика именно от его комбайна. Видел на гулянках, которые устраивали всей семьёй, и Матрёна пела никому не известные казачьи песни. А потом привиделась она ему серьёзной, грустной, как будто они прощались, она обнимала его, как всегда обнимала и целовала, когда он уходил на работу, так было до самой пенсии. Григорий стряхнул виденье. Ничего толком не увидел Григорий, одно только ощущение, что она была рядом, он даже дыхание её слышал, даже запах волос её терпкий чувствовал. Заглянул в палату – вроде спит, глаза прикрыты и дышит. Успокоился, прилёг на кушетку, задремал.

Выписали Матрёну Даниловну через месяц, за всё время дети бывали у матери трижды, три раза по субботам отец уезжал в баню. Перед выпиской врач позвал Григория в свой кабинет:

– Григорий Андреевич, за это время я убедился, что жена очень дорога вам. Но как врач я должен вас поставить в известность: мы выписываем Матрёну Даниловну не потому, что излечили, а потому что излечить невозможно. Очень обширный инфаркт, к тому же возраст, гипертония, повышенный сахар. Мы снабдим вас всеми необходимыми препаратами, чтобы снимать боль, наш фельдшер будет у вас утром и вечером. К сожалению, другого я вам сказать не могу.

Канаков слушал молча, уронив голову на грудь. Когда врач закончил, он кивнул:

– Значит, мы едем домой помирать. А я думал, вы сумеете поднять её хоть на пару годиков. Выходит, никуда не двинулась наука после новой революции. Ей-то вы этого не сказали?

– Конечно, нет.

Домой привезли на «скорой», санитары на носилках внесли больную в дом, сёстры уже натопили и всё прибрали, положили Матрёну Даниловну на супружескую постель, так он велел. Дома ей стало лучше, несколько времени она могла говорить, пусть шёпотом. Поманила мужа глазами, указала на край постели:

– Гриша, видно, скоро я уберусь. Мой наказ: всю одежду раздай родственникам, у меня много чего накопилось. По мне не тоскуй, это плохо. Найдёшь приличную женщину, приводи, одному тяжело. Только какая с тобой уживётся, только я.

Он припал к ней и плакал. А она шептала:

– Гриша, я крещёная и не могу помереть без исповеди. Найди священника. Дня три я ещё подожду.

Когда Григорий вышел из комнаты, захватил голову руками:

– Как же я, чёрт старый, адрес тому попу дал, а его не взял. Где теперь его искать?

Утром пошёл на почту, наклонился к окошку:

– Милая, ты мне вызови монастырь под городом, там есть, должен быть монах Николай.

Целый час билась девчонка, никак не соединяют городские телефонистки, то связи нет, то линия занята. Ушёл ни с чем. У ворот встретился с Никитой. Сын кивнул и даже поклонился отцу:

– Лариса с Мариной заходили к маме, она про священника говорила. Может, я съезжу?

– Куда? У меня и адреса нет. Не надо ничего делать, сам решу.

Вечером около дома остановилась легковая машина, Григорий глянул в окно: Господи, поп, и весь в чёрном. Выскочил на крыльцо, спустился по крутым ступеням, отворил калитку – Николай!

Обнялись, вошли во двор.

– Ты меня сначала научи, как к тебе обращаться, чтоб по уставу. А потом и о другом.

– По уставу, сын мой, отец Тихон, так именован при постриге в монахи. Чин мой игумен, так и обращайтесь: отец Тихон, ну, можно игумен Тихон.

– Да как же, сынок, я тебя отцом буду называть? А ты меня сыном?

– Так заведено, Григорий Андреевич.

– Ладно. Кто же тебе сказал, что ищу тебя сегодня с самого утра?

– Господь указал путь, понял я в ночной молитве, что вам нужна моя помощь, адрес у меня был. Настоятель благословил, и вот я тут. Какое горе случилось, Григорий Андреевич?

– Жена моя при смерти, просит исповедоваться, я и кинулся на телефонную станцию, только бесполезно. Сразу пройдёшь, отец Тихон?

– Сначала на кухню, согреюсь, приготовлю все. Вы только проведёте меня к больной и уходите. Помните о тайне исповеди?

Матрёна Даниловна даже привстала, когда увидела монаха с большим крестом на груди. Григорий запер дверь.

Через час отец Тихон вышел, прикрыв дверь:

– Она исповедовалась и причастилась святых даров, ей полегчало, пусть поспит.

– Отец Тихон, сколько она проживёт?

– Все в руках Божьих, но жизни в ней осталось немного. Лучше, если бы дети и другие родные побывали у неё при жизни.

– Нет у меня детей, а сёстры и так при ней.

– Как нет детей, Григорий Андреевич? За вами в пансионат сын приезжал, я даже имя помню: Никита. Что случилось?

И Канаков, как на исповеди, всё подробнейшим образом рассказал монаху, он слушал молча, кивал, но, когда Григорий Андреевич сказал, что сыновей ко гробу матери не пустит, только за воротами они могут попрощаться, потому что отлучил он их всех троих от семьи, монах возразил:

– Григорий Андреевич, вы использовали родительскую власть до самого предела. Но гнать детей от гроба матери (он трижды перекрестился) нельзя, не по-христиански это, не по-человечески. На эту минуту страшную надо отозвать своё решение, вы сами на эту минуту можете уйти, но проститься дети имеют право. Если не возражаете, я поживу у вас два дня.

– Только я тебя, отец Тихон, в избушку определяю. Там светло и чисто, а к Мотюшке сёстры придут на ночь, так что мы побеседуем.

...С Матрёной Даниловной всё село приходило прощаться, стояли люди у гроба, вздыхали. Сёстры Григория всё время были в доме, горячий обед готовили в летней кухне, которую пришлось основательно прибирать, потому что давненько не пользовались. Григорий распорядился, что горячий обед будет в своём доме. На ночь хозяин вместе с монахом уходил в избушку, приходили сыновья, почти до утра сидели у гроба матери. Плакали все. Каждый свою вину понимал и чувствовал.

Монах аккуратно спросил хозяина, не будет ли он против отпевания умершей. Григорий Андреевич кивнул, мол, делай, как знаешь. Но отец Тихон предупредил, что после отпевания гроб следует закрыть. Такой порядок.

– Тогда, прости меня, сынок, отпевай на кладбище перед погребением, а теперь не позволю гроб закрыть. Я ещё не насмотрелся на неё, ведь не увижу больше.

– На том свете всё встретимся, Григорий Андреевич.

– Возможно, не стану отрицать, только не верю, а коли так, то и закрыть не дам. Решай сам.

Отец Тихон согласился.

– Как дальше жить собираетесь, Григорий Андреевич? С сыновьями в разводе, одному жить не совсем ловко, да вы и не умеете. Молиться вам надо, в этом утешение. Я вам молитвенник оставлю, посмотрите.

Многочисленно было при выносе, да и на кладбище потянулось много народа. Григорий Андреевич встал на колени и поцеловал жену в губы. Как прощались остальные, он не видел. Пелена затмила глаза и сознание покинуло его, он молча глядел, как крышка закрыла лицо Мотюшки, не слышал, как стучали молотки, бросил три горсти земли на чистую крышку гроба,

дождался, когда образовался высокий холмик, когда поставили крест, поклонился новому сооружению и быстрым шагом пошёл к дому.

За общим столом он пригубил рюмку и ушёл в избушку. Отец Тихон собирал свои вещи.

– На столе записка, там адрес и телефон, к которому меня могут пригласить. Я уже записал ваш телефон, так что будем общаться. Ещё раз обнимаю тебя, сын мой, сострадаю твоему горю и заверяю тебя, что раба божия Матрёна в означенное время будет в раю. Григорий Андреевич, не должен я такого говорить, но Господь простит, ибо ни корысти, ни злобы в том нет. Жена твоя редкой чистоты женщина, ни один мужчина не прикасался к ней, кроме тебя. И любила она тебя так, как только дозволено женщине любить мужа своего. Не провожайте меня, да благословит вас Бог!

Когда народ разошёлся, он вошёл в пустой дом, сел за убранный уже стол, уронил голову на свои тяжёлые руки и зарыдал. Сёстры не смели помешать ему. Выплакавшись, Григорий встал:

– Девчонки, до сорокового дня не шевелите ничего, ночуйте тут, а я в избушке буду. После решим, что и как.

И девять дней провели так же тихо и спокойно, ребята в городе заказали службу, сами увезли цветы на могилу, но в дом не пошли. И в сороковой день собрались люди, посидели за столом, поклонились хозяину и разошлись.

Григорий открыл сундуки и шкафы, велел сёстрам смотреть, что им подойдёт, да и так просто взять на память. Всё остальное велел собрать в узлы и унести в сельсовет, там найдут, кому раздать.

Когда все разошлись, он полез в дальний ящик комода, достал документы на строительство этого дома, которые хранились уж полвека, нашёл там и справку из совета, что дом этот принадлежит Канакову Григорию Андреевичу на правах личной собственности. Бумаги собрал, положил в хозяйственную сумку, с которой покойница всёходила в магазин за продуктами, и вышел на улицу. Дом Артёма Сергеича на крайней к озеру улице нашёл сразу, хотя ни разу не бывал. Домик древний, покосился весь. Стукнул калиткой, думал, собака тявкнет – нет, тишина.

Из дома вышла девчонка в накинутах пальтишке, узнала отца бывшего хозяина, спросила не очень ласково:

– Вы к кому?

– А ты Галя или Валя?

– Галина я.

– Вот славно. А Артём Сергеич дома?

– В мастерской он. Позвать?

– Нет, дочка, ты лучше меня проводи.

Артём открыл двери, смутился, даже в лице изменился:

– Проходи, Григорий Андреевич, или лучше в дом?

– Да нет, тут ловчее наши речи вести. Артюха, ты слышал, что я жену свою дорогую схоронил?

– Знаю, Гриша, сам провожал до могилки. Редкая была женщина.

– Детей изогнал из сердца своего, один на белом свете и никому не нужен. Решил я, Артюха, уйти в обитель, в монастырь.

– Григорий, ты же партийный!

– Ну и что? Там всяких принимают. Но не затем пришёл к тебе. Коли я за сына своего век у тебя и девчонок твоих в долгу, принёс я бумаги на дом свой, ты сейчас позовёшь двух соседей,

и мы напишем договор, что я продал, а ты у меня купил этот дом со всем барахлом в нем и со всеми постройками.

– Григорий Андреевич, если тебе деньги нужны, я их так верну, без бумаг.

– Артём, ты меня не понял. Я уйду в монастырь, нахрена мне там деньги? А договор нужен, чтобы ни одна падла к тебе не предъявила, а таковые могут возникнуть. Так вот, пока я тут, ты в дом перейдёшь с семейством. Там всё есть, от посуды до постельного белья, ещё не тронутого. Поживёшь так дня три, я в избушке буду, а когда все поймут, что дело сделано, вот тогда я и уберусь. Только ты никому ни слова. Девки твои красавицы, они своё счастье ещё найдут, но одна меня встретила – гордая, могут заартачиться, так ты бери круто: переходим, а эту развалюху бульдозером.

В смущении от неожиданной миссии соседи подписали договор, никак в толк не могли взять, откуда у Артёма такие деньги и куда собрался переезжать Канаков. Когда всё было сделано, Григорий пошёл домой. За воротами его догнали Галина с Валентиной:

– Григорий Андреевич, вы извините меня, что так недружелюбно встретила вас, – выпалила Галина. – Мы на вас зла не держим.

– Спасибо, дочки, и вы мне любы и приятны, дал бы Бог таких дочерей – гордился бы ими. Завтра утром всей семьёй ко мне, жду.

Видно, от простоты душевной, от чистоты принятого решения Григорий смотрел, как радовались девчонки новым комнатам, как осторожно открывала кухонные шкафчики их мать, как растерянно чувствовал себя в новой роли сам Артём Сергееч.

– Валюша с Галюшей, продукты все в холодильнике, там и куры, и свинина, готовьте хороший ужин, давненько я с родными людьми не ужинал.

Ужинали в зале за большим столом, выпили по рюмке, долго говорили о хозяйке этого дома, обо всём другом, избегая речей о сыновьях и будущем самого хозяина.

– Артём, завтра пойдём в сельсовет, ну, в администрацию, домовую книгу на тебя перепишем, заодно и общественность поставим в известность. Заранее говорю: если кто-то посылается на дом – вызывай Романа Григорьевича, он человек грамотный и законы должен знать. А не знает – я ему популярно объясню.

Невиданная доселе купля-продажа поставила деревню на дыбы. Каких только разговоров не было, вплоть до того, что и дочери-то у Артюхи – Григорьевны, а пожар устроил сам Канаков, только вот зачем – никто объяснить не смог. Так в сомнениях и догадках тихонько затерялась эта новость в ворохе ежедневных деревенских сплетен. Только старший Канаков был уже далеко.

У монастыря под скромной кровлей стояли несколько человек. Согбенный и седой старик подошёл, поздоровался. Оказывается, родник бьёт из земли, а вода чистая и тёплая. Ему подали стаканчик, он отпил – приятная и добрая водичка, поблагодарил, отошёл в сторонку. А люди припивали и удивлялись:

– Какая чистая вода!

– Божья слеза.

– Нигде более не найдёте вы столь чистой воды.

Григорий Андреевич стоял в стороне и рукавом полушубка смахивал набегающую слезу.

-0-0-0-

На восходе солнца

Нина с детства рано просыпалась, не валялась в постели, вставала и помогала маме. На дворе еще темно, мать тесто разделяет и на смазанный маслом жестяной лист укладывает булки, дочь картошку чистит для супа, потом по воду сбегает на колонку, в двух маленьких ведерках принесет, курицам бросит ковшик зерна и снега чистого зачерпнет, они им как бы запивают. Отец управляет скотину, вывозит на санках снег из ограды, все у него под метелочку. Нина уже в школу соберется, выйдет в ограду, светает, и солнышко из-за горы и из-за леса осторожно выглядывает, словно проверяет, все ли в порядке в Корнеевке, пока его не было. Убедится, наверное, и выкатится, взойдет. Нина все думала, почему так говорят: солнце взошло. Вон в истории написано, что царь взошел на престол, это понятно. А солнце почему восходит? Не выходит, не всходит, а восходит? Ну, и ладно, побежала в школу...

* * *

– Каурова, я тебе еще вчера сказал, чтобы сводила корову к быку. В охоте она, проморгаешь, и хрен тебе не молочко, а загубишь корову – припишу.

Нина Каурова, молодая девчонка, бросила школу, потому что отца убило деревом на лесоповале, сосну пилили в северных районах для колхоза, а мать техничка в конторе, Нина старшая, после нее еще трое. А жить надо... Доить научилась быстро, вымя подмыть, насухо вытереть, вручную потянуть за сиськи, чтобы «сдоить», а что – она так и не поняла, но делала. Потом аппарат подцепить, да чтобы не соскользнул, а то засосет в ведро жижу из канавы, придется все молоко под угол. Что корова в охоту пришла, ей соседка по базе, тетка Наталья подсказала:

– Веди, девка, к быку, скотники помогут.

– Стыдно мне, тетка Наталья. При мужиках...

– А без мужиков кто тебе корову держать будет? Гляди, Кожин узнает, матерков не оберешься.

Кожин, как слышал, сразу подошел, спросил, в чем дело.

– Не могу я, Устин Денисович, – покраснела доярка.

– Чего не можешь? Отвязала и повела, спроси у баб, где быки стоят.

– Не могу. Стыжусь, – покраснела до слез девчонка.

Кожин, здоровый мужик, вечный бригадир животноводства, удивился:

– Ты подумай: с парнями в кустах покурдаться – вам не стыдно, а корову сводить к быку, огулять – совесть не позволяет. Коровы с бычками на танцы не ходят, чтобы там снюхаться. Дуру-то не пори, а делом занимайся.

Нинка уже ревела вовсю:

– Вы зачем такую напраслину про кусты? Где вы меня видели?

Кожин обмяк, похлопал девчонку по плечу:

– Да я же так сказал, в целом. Знаю, что девушка ты примерная. Давай, я тебе помогу.

Он привычно протиснулся к привязи, отщелкнул цепочку и выпихнул корову на проход. Нина покорно шла сзади, не думая, что будет. В соседней базе оборудовано специальное место для случки, Кожин позвал мужиков, корову завел в клетку, крепко обмотнул и закрепил

цепь. Привели быка, двое мужиков держали на вожжах, бык широко раздувал ноздри и всхрапывал. Нина спряталась за перегородкой, и слышала только матерки скотников, возню, и, наконец, жизнерадостный смех мужиков:

– Нинка, забирай свою барышню, только завтра еще приведешь, так ветврач велит.

Нина удивилась, что бригадир сам отвязал корову и повел в базу, она шла сзади, так гуськом и объявились в главном проходе. Когда все уладили, тетка Наталья дернула Нину за рукав:

– Гляди, девка, Устин Денисович неспроста с твоей коровой возился, вон, стоит, тужурку свою чистит.

Нина не поняла:

– А чего неспроста-то? Он бригадир, обязан помочь.

– Дура ты, девка. Кожин еще тот жук, останешься на ночное дежурство – жди в гости.

– Зачем? – не поняла Нина.

– О-о-о, да у тебя умок-то с дыркой, попикиват. Сколько тебе?

– Шестнадцать, – смело ответила Нина. Наталья кивнула:

– Он молоденьких любит, будет над тобой шефствовать, пока новая краля не появится.

Нина возмутилась:

– Ты что говоришь, тетка Наталья, я же ему в дочери гожусь.

Наталья шумно вздохнула:

– Вот он тебя и удочерит, раз заступиться некому.

Пока сдавали молоко, мыли доильные аппараты и чистили стойла, женщины пели. Нина не знала эту песню, проголосную, грустную, понятно, что про любовь.

«Зачем-зачем я повстречала тебя на жизненном пути...»

«Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой».

Нина подумала: «Будет у тетки Натальи выходной, сбегаю к ней, перепишу слова, а то стою, как безголосая».

Наталья сама подошла к ней:

– Пошли домой вместе, я боюсь, как бы он сгоряча тебя сегодня не подловил. Подъедет на своем Жулике, завалит в кошевку, и поминай, как звали.

Они вышли с фермы прямо на большак, освещенный фонарями, вошли в улицу, и точно, обогнал их Кожин, даже объехал чуток.

Дома все было в порядке, мама Мария Никандровна нажарила картошки с мясом, ребетня уплетала за обе щеки. Нина умылась, села с краю, взяла ложку.

– Нинка, а ну, марш с угла! Хошь, чтоб никто замуж не взял? Нехорошая это примета, не садись с уголка стола, поняла?

Дочь засмеялась и ушла на место отца в кутный угол.

– Тяжело, доча? Знаю, что тяжело, а зачем спрашиваю? Привыкай. Только, ради бога, не надсажайся, мешки с дробленкой сама не ворочай, спарись с кем из женщин, вдвоем-то легче управитесь. Мало молока-то?

Нина понимала, что мать интересуется надой не сам по себе, а потому что от него зависит зарплата, а от нее уже – купит она ребятишкам новые пимы или придется нести к немцу Якову Андреевичу, он всем подшивает и берет недорого.

Когда через неделю Нина принесла расчет, мать разложила бумажки на столе, несколько раз меняла их местами, что-то выгадывая, потом вздохнула: «Старшему куплю, а этим придется подшивать».

* * *

В самом начале войны в Корнеевку распределили несколько семей немцев Поволжья, сельсовет расселял в дома-пятистенки, где хоть две комнаты, но приходилось принимать и в избушки одиноким женщинам, проводившим на фронт мужей и сыновей. Мария тогда еще школьницей была, отец и брат воюют, к ним и поселили семью Генриха Кауца с женой и тремя детьми, старшему Якову было восемнадцать. Генрих сразу сказал хозяйке Евдокии Марковне, что его с сыном заберут в трудармию, и просил помочь жене Фриде с ребятишками. Сказал, что он все понимает, трудно русским людям терпеть немцев, когда с немцами идет война, и их мужья и дети там погибают. А этим тут помогать надо. Но Поволжские немцы живут в России уже почти два века и считают ее своей Родиной. При царе немцы жили свободно, строили большие дома и заводили большие семьи, в каждом дворе полно скота, немецкое сало «шпик» с удовольствием покупали на ярмарках. При советской власти все изменилось. Рассказал о республике немцев Поволжья, где они тоже хотели устроить жизнь так, как веками складывалась она у их предков, но советская власть заставила создавать колхозы, весь урожай забирала по заготовкам, а народ голодал. Евдокия с ужасом слушала Генриха: люди пухли от голода, умирали, ели трупы животных, но власти ничего не делали для помощи населению. Стало известно, что «Красный Крест» Германии послал в страну несколько эшелонов с продовольствием, только поволжским немцам ничего не досталось. А когда началась эта проклятая война, власть возненавидела немцев, и НКВД приказал в течении суток подготовиться к эвакуации. Взяли с собой только то, что можно унести на руках.

Генриха и Якова вызвали в сельсовет и вместе с другими немцами увезли в район. Три года они работали на военном заводе в Челябинске, спасались только тем, что Генрих хорошо разбирался в технике и мог быстро отремонтировать любой станок. За это он получал дополнительный паек, которым в бараке делились с близкими. В одной аварии Генрих получил тяжкие увечья, а Яков отделался потерей ноги. Сын простился с еще живым отцом и поехал в Корнеевку к матери, братьям и сестре...

Мария собрала хорошо просушенные пимишки младших, завернула их в старый подшалонок и пошла к Якову Генриховичу, которого все звали Андреевичем – так проще. Собиралась и вспоминала, как пришел с производства израненный Яков, как она, семнадцатилетняя, старалась припасти ему кусок хлеба или шматок соленого сала. Яков быстро поправился, стал шить полушубки, меховые сапоги, хомуты для колхоза. Когда младшие были в школе, а матери на работе, она прибегала домой и сидела рядом с работающим Яковым, рассказывая деревенские новости, особенно про то, кто из девчонок дружит с немецкими парнями. Яков слушал ее молча, а когда она перехватила его руку и прижала к своему трепетному сердцу, осторожно убрал руку и сказал, что ее родственники никогда не позволяют им пожениться, поэтому не надо дразнить сердце, вон сколько молодых парней, да война скоро закончится, вернутся холостяки. Мария помнила, как сказала тогда Якову, что пойдет на речку и утопится. Яков усмехнулся, назвал глупостью и велел больше один на один не оставаться.

– Я взрослый мужчина, ты молодая девушка, не надо положить мою руку на твою грудь, я могу не выдержать, и потом горе тебе и мне.

Маша тогда совсем стыд потеряла, обняла Якова, впилась в его губы, он отбросил шитье, охватил ее руками, и – «Пропади все пропадом!». Мария и сейчас помнила, что такая мысль мелькнула в голове, еще не совсем потерявшейся в незнакомых чувствах. Сложись на войне по-другому, может, и у Марии была другая жизнь. Когда почтальонка пришла к дому не одна, а с соседскими женщинами, уже вернувшимися с работы, мать ее Евдокия вышла во двор, вышла Фрида и вышел Яков, опираясь на костыли, Мария бросила доить корову и выскочила из пригона. Почтальонка со слезами подала Евдокии два конверта со штампами. Все село знало, что в этих конвертах, Евдокия приняла их и завалилась на бок. Ее поддержали, Маша разорвала один конверт: «Ваш муж и отец...». Разорвала второй: «Ваш сын и брат...». Евдокия очнулась, повела мутными глазами, остановила на Якове, потом на Фриде:

– Будьте вы прокляты, фашисты, и Германия ваша проклята! Вон из моего дома, видеть вас не могу, вон, иначе ночью зарежу сонных, вот вам крест святой, и бог меня простит.

Фрида убежала в дом, выскочила с узлом тряпья и посуды, Яков молча заскрипел костылями вдоль улицы, малые потянулись следом.

Мария и сама не знает, как это случилось, но она бросилась к матери:

– Мама, не гони их, я люблю Якова, он муж мне!

Евдокия ударила ее по лицу, кровь брызнула, она села на завалинку и сказала тихим шепотом:

– И ты иди вместе с ними, и ты будешь проклята за смерть отца и брата.

С Евдокией отваживались соседки, семья Кауцев ночевала в клубе. Маша ушла к подружке Федоре, которая слышала ее слова об Якове, и сейчас смотрела на нее с жалостью:

– Ты что творишь-то, ты хоть в своем разуме! На всю деревню объявить, что живешь с немцем. Наши парни теперь тебя браковать станут.

– Ну и пусть. Яков любит меня и не бросит.

– Яков-то любит..., – вздохнула подружка.

Она, наверно, больше понимала в отношениях местных и поселенцев, была чуть взрослее и видела все со стороны, ее понимание не мутилось от чувств и было верным. Пока идет война, ничего не изменится, только под страхом наказания властью бабы терпели чужих. Отношение начальства смягчалось тем, что работали немцы старательно, исполняли все, что прикажет бригадир, а парни толково понимали в технике, изладили большую кузницу, сами ремонтировали инвентарь и простенькие конные сеялки, жатки-«лобогрейки», веялки на току.

С разрешения властей Яков оборудовал свою мастерскую в уголке клуба, молодые немцы после работы помогли ему. Маша пришла в клуб вечером, позвала Якова, но вышла Фрида, его мать.

– Не жди Яков, он не приходит. Мы, наш фамилия, не дает тебя в жены, не берет. Это наш слов. Уходи.

* * *

Мария помнит, как она страдала, как плакала ночами, мешая всем спать. Федора утром предупредила, что мать сердится, называет ее немецкой подстилкой и в квартире отказывает. Она пошла на работу, а навстречу братик бежит:

– Машка, тебя мамка зовет. Она упала нынче, кровь изо рта идет!

Вбежала в дом, встала перед кроватью на колени. Заметила, что пола давно не мыты и наволочки на подушке не стираны. Мать открыла глаза:

– Дочка, ты остаешься старшей, на тебя надежда. Проклятье мое прости, я уж молилась за тебя. Но за немца не выходи, грех это перед отцом и братом твоим. Обещай, я помирую.

Она крепко взяла дочь за руку и сдвинула до боли.

– Поклянись.

Мария ткнулась матери в грудь и кивнула. Мать шумно выдохнула и затихла, вытянувшись.

Потом пришел из госпиталя Афанасий Хлынов, в грудь ему прилетел осколок, ничего, выдюжил. Он еще до войны ушел на службу, Машу встретил на улице и остановил:

– Ты чья будешь, красавица? Не признаю совсем.

– Каурова Ивана дочь.

– Верно, вот теперь вижу породу. А отец?

– Убило его, и брата Гришу тоже убило. И мама весной померла. – Маша заплакала, как перед близким человеком.

– Ты не реви, слезами горю не поможешь. Выходи вечером после управы, поговорим.

– Нет, не выйду.

Афанасий обиделся:

– Что, не глянусь я тебе? Или старым считаешь? Верно, не мальчик. Или боишься, что раненый, работать не смогу?

Маша заревела в голос и убежала.

Поздно вечером, когда уложила ребятишек спать, услышала, что сбрыкала жердочка воротная, песик залаял. Сердце заколотилось: «Яков!». Надернула платишко, выскочила. Среди ограды под яркой луной стоял Афанасий.

– Зачем ты пришел? – зло спросила Мария.

Афанасий помолчал, потом предложил присесть на завалинку.

– Ты мою судьбинку знаешь, все на глазах. Отец и братья погинули на войне, мать тут с горя повесилась. Пришел в дом – живым не пахнет, зиму простоял нежилым. У тебя тоже хорошего мало, сватов присылать не буду, сам сосватаю, если судьба. Приглянулась ты мне, да и породу вашу знаю. Что скажешь, Мария? – с надеждой спросил Афанасий.

– А все ли ты про меня знаешь, дорогой мой сватовщик? Знаешь ли, что немца я полюбила, замуж за него собиралась, да родня его, фамилия, не захотели русскую сноху. – Мария говорила это со злостью на все: на войну, на маму, на Якова, на свою случившуюся слабину тоже.

Афанасий не перебивал, закурил, глубоко затянулся и закашлялся, втоптал папиросу в землю. Сказал, как бы извиняясь:

– В легкое ранен, врачи курить запретили, но бывает, срываюсь. Я тебе вот что скажу, Маша: мне про тебя и про немца все уши пропели, только я битый на трех фронтах, чтобы такой дешевкой быть. Признаюсь, я тоже не ангел, успевал, если баба подворачивалась. Так что теперь, из-за этого нам в разные стороны? Нет, так дело не пойдет. Оно, конечно, если не люб я тебе совсем, то я без претензий, но жалеть буду. А что до меня – попала ты мне в самое сердце, как будто еще один осколок прилетел, только радостно от этого осколочка, и сердце замирает.

Маша вдруг спросила:

– А ребят я куда?

Афанасий вскочил, обнял ее:

– Маша, да об чем ты заботаешься? У меня дом больше, все войдем. И сестер с братом вырастим, и своих народим.

Так на диво всей деревне образовалась новая семья. Афанасий пошел в плотницкую бригаду, все-таки на свежем воздухе, и сосновый да березовый запах очень для легких полезны. Выбери он тогда другое занятие, не поехал бы в тайгу сосны валить, не захлестнуло бы его ветвистым деревом, не осиротели бы детки и сама не жила бы остывшей вдовой.

Яков женился на немке из соседнего села, ее звали Эльза, он освоил столярное дело и в колхозной мастерской вязал рамы, делал двери к строящимся домам, угодил председателю, украсив его дом резными ставнями, и тут же выкупил красный лес на дом. Дом рубили «помочами», когда приходили родственники, друзья, соседи. Уже не только немцы, но и русские мужики не таили ненужной обиды, они-то, прошедшие фронт, хорошо понимали, что их немцы – не враги, а односельчане. Эльза родила шесть или семь ребятишек, старший уже работал трактористом, а младшие ползали в ногах у матери. На ограде поставили избушку, в которой хозяин занимался швейным и столярным делом.

...Мария подошла к резным тесовым воротам, повернула ручку калитки, здоровый и злой пес в железной загородке подал сигнал, вышла Эльза, располневшая и улыбчивая. Мария, понимала, что жена Якова знает про их отношения, но вида не подавала. Хозяйка прикрикнула на собаку и позвала Якова, по-немецки объяснив ему что-то. Он вышел, опираясь на костыли, улыбнулся гостье и спросил:

– Ты мне работу принесла? Проходи.

Сел на низенькую табуретку, развязал узел, гостя села на скамейку. Три пары пимов, изрядно поношенных, но просушенных и протертых от грязи тупым ножом. Ему это понравилось.

– Мария, я поставлю на валенки двойную заплатку, у меня есть такой материал, прошью плотнее, и будут твои ребятишки носить их еще не один год. Как живешь, Мария? Сын говорил, что дочка твоя на ферму пришла работать. Не от хорошей жизни, да. Жалко Афанасия, он добрый был человек, мы много раз с ним беседовали о жизни. Жалко. Ты совсем не старишься, Мария, правда. Тебе надо найти хорошего мужика, чтобы хозяин был.

Мария улыбнулась:

– Хорошие мужики все при деле, а те, кто шупаться лезут – не мужики, так себе, в поле ветер... Да и дочь у меня на выданье, стыдно матери о замужестве думать.

– Ладно. Приходи в воскресенье, в обед, все будет готово. – Яков предупредительно поднял руку: – Ни о каких деньгах и речи быть не может. Эх, Мария! В общем, в воскресенье в обед, только сама приходи, битте.

Он проводил ее и открыл дверь. Мария прошла по двору под пристальным взглядом Эльзы.

* * *

Устин Денисович не просто так поехал тем переулком, которым Нине домой идти. Ночь, зги не видать, но идут по дорожке двое, поближе подъехал – Наталья, вечно не в свое дело носует. Понужнул Жулика, пролетел мимо. Досада брала, что обнаружил свои намерения, а Наташка точно учуяла, отомстила, что когда-то завалил ее в бытовке, ладно, что девчонки

ведрами забрякали, вскочил, ширинку под гимнастерку спрятать успел. Тогда после дойки она подошла к бригадиру и улыбнулась:

– Кожин, я своему скажу, что ссильничал меня, он к тебе домой придет и прямо в теплой постели около Апроши твоей зарежет. За ревность много не дают, да еще бабы поддержат, года три, не больше, лес повалит в тайге, ему это запросто.

Устин возмутился:

– Наталья, ты дурочку-то не гони, а то и вправду брякнешь своему, а ему человека зарезать...

– Вот и я про то же, – закончила за него Наталья, и больше он к ней не подходил.

Дома выпряг коня, поставил под сарай, большой кусок брезента, свернутый в рулон и закрепленный под крышей, опустил, бросил из кошевки охапку сена и сыпанул из мешка полведра овса. Через часик вынесет ведро теплой воды из дома. Коня своего Устин берег, он его и от зверя, и от недобрых людей уносил. Года три назад на подъезде к селу выскочил на сугроб мужик с ружьем, Жулик толи его испугался, толи порох почуял – рванул в галоп, хозяин едва в кошее удержался. А тот выстрелил, да из другого ствола. Картечь просвистела у самого уха и ударила Жулика в бедро. Кровь хлынула, конь сбавил ход, испуганный Устин повернул к дому ветеринара, выдернул его из стола, и в лечебницу. Зажали Жулика в стойле, ветеринар рану осмотрел и командует: «Держи его, Устин Денисович, потому что резать придется, картеча глубоко». Обнял он конскую голову, ласковые слова шепчет, а у коня слезы из обоих глаз. Нета-нета вынул ветеринар картечь, Устин ее вытер от крови, в карман положил, а сам налил из бутылки в шкафчике стакан спирта и залпом выпил. Конь тогда неделю в лечебнице простоял, ничего, выправился.

А Кожин по пути домой перебрал всех баб, которых трогал в последнее время, и сразу прикидывал, а не охотник ли у нее мужик? Таковых определил два, но заявлять никуда не стал, решил сам разобраться. Выяснилось, что один, тракторист Фомин, в это время лежал в больнице, остался учитель физкультуры Супрун, парень здоровый и развитый. Поглядев на него со стороны, Кожин решил, что дешевле это дело вообще замять.

* * *

В июле 1944 года ранним утром, на восходе солнца, наступающие войска Красной Армии освободили польский город Люблин и вслед за ним маленький городок Пулавы с лагерем военнопленных. Разбираться было некогда, для больных и слабых развернули госпиталь, здоровых после формальной проверки поставили в строй. Вместе со всеми красноармейскую книжку и автомат получил Устин Кожин, хотя лейтенант СМЕРШа внимательно на него посмотрел и спросил:

– Давно в плену?

– Три месяца, товарищ лейтенант

– Где воевал?

– В партизанском отряде под Ровно, товарищ лейтенант.

– Вид у тебя, будто ты не в лагере, а в санатории был, – подозрительно посмотрел офицер.

– Я, товарищ лейтенант, старшим был по бараку, так что продуктов хватало.

– Ладно, воюй, потом разберемся.

Разбираться лейтенанту не пришлось, когда проходили Пулавы, лейтенант был убит выстрелом в голову. Кинулись искать фашистов, все дома прочесали, в каждую квартиру заходили – нет никого. И лейтенанта нет.

Кожина зачислили в пехотную роту. Ломая сопротивление оставшейся после прохода танков немецкой пехоты, рота вместе с соседями медленно продвигалась, освобождая польские города и села. Во Вроцлаве Кожина откомандировали в комендантскую роту, где он дождался Победы и вскоре, как узник концентрационного лагеря, был демобилизован.

Корнеевка встретила его слезами и улыбками, родные нарадоваться не могли, потому что с весны сорок второго он числился без вести пропавшим. Вечер собрали по такому случаю, фронтовики после первого стакана стали выяснять, в каких войсках воевал, на каких фронтах, много ли наград заслужил. Костя молчал, дождался тишины и спокойно сказал:

– Служил я, ребята, в таком месте, о котором рассказывать не могу, подписку дал. А что касемо наград, вот они, в коробке, мать прибрала.

На том и закончили.

Через три дня сержант Кожин поехал вставать на воинский учет, но быстро вернулся, сказал, что военкома нет. Второй раз поехал – опять неудачно. Уж и сроки выходят. Прибыл к военкомату, заходить не стал, слушал разговоры, и понял, что завтра военком уезжает в область, за него останется старший лейтенант. Видел Кожин этого офицера, утром приходит с похмелья, с обеда уже в добром расположении духа, а вечером бежит в магазин. Кожин дождался вечера и пошел вслед за старшим лейтенантом, вперед его встал в очередь, купил бутылку водки. Офицер тоже взял бутылку, вышли они одновременно. Кожин на крыльце вытянулся в струнку и четко отдал честь, офицеру понравилось:

– С фронта прибыл, сержант?

– Так точно, товарищ старший лейтенант. А следом телеграмма, награжден орденом Красной Звезды, – напропалую врал Кожин.

– Так это дело надо обмыть, – обрадовался офицер.

– Обязательно, я и бутылочку припас, да выпить не с кем. Вы не порадуетесь со мной, товарищ старший лейтенант?

– Отчего? Это можно. Пошли ко мне, на жену внимания не обращай, поворчит, но картошки поджарит.

После второго стакана Кожин приступил к главному:

– Товарищ старший лейтенант, такую даль ехал, даже пешком шел, чтобы на учет встать, а мне сказали, что военкома завтра не будет. Это же непорядок, когда военком отсутствует, то никто не имеет права солдата на учет поставить. Правильно я говорю?

– Конечно, правильно. У тебя документы в порядке?

– Так точно! – с радостью отчеканил сержант.

– Заночуешь у меня на веранде, завтра пораньше пойдем, пока эти мокрощелки не явились, и я заполню карточку прибытия. Какие могут быть проблемы?

– Вот спасибо, товарищ старший лейтенант, я вас разбужу, – пообещал квартирант.

Утром полупьяный офицер с трудом заполнил бланк, разыскал ключ от сейфа, достал печать, подышал на нее и тиснул в военном билете Кожина. Костя сам прочитал учетную карточку, заполненную под его диктовку, и вернул офицеру:

– Быстро все прибри, сейчас сотрудики придут, – скомандовал он офицеру.

– Понял. У нас есть чем похмелиться? – с надеждой спросил уже спившийся старший лейтенант.

Костя поставил перед ним купленную утром бутылку и быстро вышел.

* * *

Трое суток пехотный батальон сдерживал прорыв противника на вверенном участке, солдаты вымотаны были до крайности, спали сидя, ели, отбежав триста метров к подъехавшей кухне, если враг позволит. И вдруг танки, развернулись для атаки, а у ребят по три гранаты на всякий случай, да в каждом взводе по десятку бутылок-зажигалок. Комбат дал команду от каждого взвода по пять человек выдвинуться вперед и встретить танки гранатами и бутылками. Поползли мужики на верную гибель, даже не оглядывались. На белом снегу грязные солдатские фуфайки хорошая цель, пулеметчики из танков безжалостным огнем прошили худенькие солдатские тела, так и остались они во всеоружии, и плавился снег от теплой крови под остывающими русскими мужиками. На танках пехота, соскочили солдаты, залегли до лучших времен, а танки вдоль окопов, по живым людям. Кто уцелел – выскочил, а автоматчики уже кричат ту единственную фразу на немецком, которую знал каждый русский солдат. Его учили так брать в плен противника, а тут сами вляпались, без перевода понятно. Только поднял винтовку – сразу очередь, в спину прикладами автоматов погнали несколько немецких солдат серую массу обезумевших от беды мужиков в свой тыл от линии фронта.

Первые дни держали в бывшей колхозной ферме, разрешили жерди ломать и жечь костры, чтобы не замерзнуть. Привозили кашу и кипяток, кто-то нашел в закутке сено, мелкое, лесное, с листочками и даже цветочками полевыми. Степан Кондаков не выдержал, заревел горячими слезами:

– Братко, перед мобилизацией, уже повестки получили, завтра в район, а мы сено дометывали в Коровьей Падье – помнишь? Вот такое же, с чабрецом, с визильком молодым. Помнишь?

Семен обнял брата:

– Все помню, только ты слабинку свою оставь, фашист слезы увидит – всей Германии сообщит, что уже плачут русские солдаты, пощады просят. Не моги, брат, терпи.

Подняли на восходе солнца, построили, дали команду грузиться на машины. Потом целый день везли на грузовиках, разместили в приличном бараке и объявили, что здесь будет большая стройка. Перед строем прохаживалась охрана из солдат и полицаев. Полицаи были в хороших бушлатах и шапках, в теплых сапогах, один из них форсисто разворачивался на каблуках и вставал лицом к строю, любуясь и хвастаясь. Уж на третий раз Степан ухватил брата за рукав:

– Сема, это же Кожин из Корнеевки, помнишь, на призыве вместе были?

– Да нет, вклепался ты.

– Да он, гляди! – горячо шептал брат.

Семен похолодел: точно, похож! И брату:

– Натяни шапку потуже, да не гляди на него, узнает – сразу к стенке, чтобы, не дай бог...

Отряд, в который попали братья, отправили на рытье канавы под фундамент, промерзшую землю долбили кайлом, дальше лопатой. Старший бегал с меркой и материл, что мелко, надо еще на штык. Полицаи ходили поверху, покуривая, но Кожин не появлялся. Семен после работы, разместившись на нарах так, чтобы ослабить натруженную спину, спросил брата:

– Ты и теперь точно веришь, что его видел, а не другого?

– Кого – другого? – переспросил Степан.

– Ну, мало ли что? Вдруг просто похожий. Мы ведь только раз и встретились на призывной комиссии.

– Это ты раз, а я с ним на мельнице в Малышенке вместе был, помнишь, перед войной последнюю пшеницу на сеянку мололи? Вот в тот раз и видел. Он это, – заверил Степан.

– Ладно, тогда осторожней, вдруг появится? – предупредил Семен.

– И чего ему нас бояться? Отсюда, похоже, нам одна дорога, на родине не бывать, в контрразведку не наступишь, – рассудил Степан. – А может, устыдится он земляков. Есть же совесть какая-то.

– Нету у него совести, Степа, какая совесть у полиция? Ладно, спим, – скомандовал Семен.

Наступила весна, в этих краях ранняя, зелень появилась, зацвели кустарники, но запахи не наши, не родные. Семен вспоминал ночью, когда во влажном воздухе скапливались незнакомые ароматы, как дома в такое время мать открывала створки, черемуха с сиренью вливались прямо в дом, аж сердце заходило от милого духа. И до того тоскливо стало на душе, до того пакостно: ты, русский мужик, горбатишь на эту сволочь, которая страну твою и дом твой разорила, ребят самолучших сгубила, девушек наших по березам развешала. Да лучше пулю получить в затылок и упасть лицом к дому!

Днем выбрал время, подозвал брата:

– Бежать надо, Степа!

– А куда? Где мы находимся?

– А что тебе не понятно? На восток надо бежать, навстречу своим, – пояснил брат.

– Нет, Сема, в чужой земле мы долго не протянем, на людей выйдем, и все тут.

– А, может, на партизан? – с надеждой сказал Семен.

– Какие тут могут быть партизаны?

Вечером в бараке к ним подошел средних лет мужчина, гимнастерка с чужого плеча, сразу видно, брюки солдатские великоваты.

– Вы, парни, не братья ли будете? Уж больно лицами схожи, – начал он издали.

– Братья. Близнецы, я Семен, он Степан. Даже отец путал.

– Славно. Вы из 141 батальона? Я там начальником штаба был, окружили, застрелиться не успел, гранатой оглушили. Очнулся на руках товарищей. Они и переодели, выбросили офицерскую форму.

– Как-то странно, товарищ командир, что вы нам об этом говорите, не боитесь, – поинтересовался Степан.

– Своих не боюсь, вас наблюдаю, хорошие вы парни. Что дальше будем делать?

– Наверное, еще что-то строить надумают, – невпопад ответил Семен.

Гость засмеялся:

– Я о будущем говорю. Наши уже границу с Польшей сломали, будут ближе подходить – нас могут расстрелять, чтобы не возиться. Надо уходить. Согласны?

Братья кивнули:

– Сами об этом говорили.

– Понял. Когда появится возможность, дам знать, – пообещал офицер.

Возможность появилась неожиданно. Из-за высоких облаков бесшумно вывалился самолет со звездочками и, проходя над стройкой, сбросил пару бомб. Рухнула выстроенная стена, поднялась паника, вот тогда и раздался крик:

– Кто может – бежим на восток! Быстро!

* * *

Выборная кампания в местные органы государственной власти требовала постоянного внимания первого секретаря райкома партии. В этой должности Хмара пятый год, но родился в районе и всю жизнь здесь живет и работает, кроме отлучки на войну и учебы в высшей партийной школе. Потому он хорошо знал почти все взрослое население, тем более людей, отличающихся в труде и общественной работе. Он еще раз просмотрел списки кандидатов, кажется, все пятьдесят человек, намеченные в районный совет, знакомы не один год, все люди порядочные, уважаемые, в общем, достойные, и избирателя это оценят.

Хмара был в селе Корнеевке на большом собрании в клубе по выдвижению кандидатов в местный и районный советы. Когда дошли до фамилии Кожина, намеченного райкомом на должность председателя исполкома сельсовета, одобрения зала он не услышал. Только что обсуждали доярку Терлееву, зал шумел:

– Пойдет!

– Хорошая работница, и в семье порядок.

– Записывай, голосуем.

А тут тишина нездоровая. Но выручил парторг колхоза:

– Товарищ Кожин работает бригадиром животноводства центральной бригады. Планы все выполняются, обстановка в коллективе нормальная, вполне достоин быть депутатом сельского совета.

Проголосовали. После собрания Хмара оставил парторга и председателя колхоза:

– Что скажете по Кожину? Только без игры. Почему народ так отреагировал?

– Да нормально отреагировал, Василий Федотович. По руководителям всегда будут вопросы, кого-то обидел, с кого-то спросил лишнее.

Хмара нахмурился:

– Что значит: «Кого-то обидел?». Кто нам, руководителям, дал право кого-то обижать?

Или вы что-то скрываете?

Председатель до сих пор молчал, а тут вмешался:

– Василий Федотович, есть у него грешок, баб любит. И народ об этом знает.

– И ты знаешь? – спросил парторга.

– Не то, чтобы знаю, но разговоры есть, а что было на самом деле – я же со свечкой не стоял.

– Твою мать! – выругался Хмара. – Бригадир моральный разложенец, а мы его в депутаты, а мы его в председатели. И народ скажет: «Его же райком двинул, значит, для всех начальников и коммунистов закон не писан». И самое печальное, что народ будет прав, если мы сегодня же не примем меры к этому... любителю. Разберитесь, и завтра мне доложишь, товарищ парторг.

Парторг возмутился:

– Кожин беспартийный, Василий Федотович, какие меры я могу принять?

Хмара спокойно и поучительно разъяснил:

– Вот ты молодой парторг, запомни раз и навсегда: ты отвечаешь за все, что происходит на территории совета и колхоза. Вот он, – Хмара ткнул пальцем в сторону председателя, – он отвечает за колхоз, а ты за все. Понял?

К обеду следующего дня парторг позвонил первому и доложил, что проведено дополнительное собрание по поддержанию кандидатуры Кожина прямо на животноводстве, коллектив проголосовал единогласно. Протокол собрания обещал привезти к вечеру.

Хмара об этом инциденте вскоре забыл, тем более, что выборы прошли организованно, не было отказавшихся от голосования, хотя в трех селах членам избиркома пришлось уговаривать супругов, пообещав от имени советской власти удовлетворить их просьбы, и они опустили бюллетени за пять минут до завершения голосования.

* * *

На первой сессии Кожина избрали председателем исполкома, бухгалтер проинформировала, что председателю назначается оклад в размере зарплаты по прежнему месту работы. Кожин в перерыве убедил председателя колхоза передать в совет лично для него жеребца Жулика вместе с кошевкой. На летнее время в совете есть мотоцикл М-72.

Устин был хорошим хозяином, дом свой содержал в порядке, хозяйство имел солидное: корова, бычок-подросток, это в колхоз за хорошие деньги, свинья породистая, каждый год приносит два помета по десятку поросят, а спрос на них постоянный, дюжина овец. Малого теленка и овец весной угонял к казахам на лесные стоянки, где они пасли колхозный скот, осенью выбирал самого упитанного бычка из колхозных, а казаху все равно, лишь бы число голов и хвостов сходилось. Детей у них с Ефросиньей не случилось, может, потому вольно гулял мужик, отлавливая свободных женщин и чужих жен.

С замужними сложнее, припугивал, что работы лишит или припишет телка павшего, а то и корову, по ее вине загубленную от молока, и бабы молчали. Но молва гуляла, прорываясь редкими драками в семье, когда пьяному мужу кто-то подзуживал насчет Кожина, мол, видали скотники на выпасах, как он ее на Жулике в лес увозил. Да, можа, и не возил, а увозил, но не ее, а так в кампании мужику продиктовали. Ну, и драка, бабу отберут, несколько ночей по людям ночует, потом домой идет, знает, что трезвый, да и ребятишки за руку тянут каждый вечер. Придет, а мужик в глаза не глядит. И начнет бабочка воспитывать:

– Дурак ты, Ваня, ведь пятнадцать годов живем, ребятишек народили, а ты в ревность ударился. Пусть язык отсохнет у того, кто тебе под пьяную задницу такую пушку отлил. Ишь, зарос весь, поди, обовшивел без меня. Топи баню, такого грязного я тебя на постель не пушу.

И загремят ведра, со звоном лопаются толстые полешки, чтобы мелкие лучше горели и быстрее нагрели, и задымила труба, выпуская в высокое небо столб белого березового дыма. А после бани мир в семье. Виноватый мужик ребятишек на полати шугнул, в горнице жене спину промокнул махровым полотенцем, даже волосы расчесать не дал, обнял со спины, ухватился за влажные груди, она состонала и махнула на все рукой...

А молоденькая доярочка Нина Каурова так с ума и не шла. Для приличия приезжал на ферму к началу дойки, разговоры вел о выполнении планов и обязательств, хвалил передовиков. Все, как и раньше. А сам бумажку с расписанием ночных дежурств доярок просмотрел, даты напротив фамилии Кауровой запомнил. И в такой вечер, когда все животноводы управились и разошлись по домам, а ночная дежурная осталась одна, Устин

толкнул дверь в чистый коридор, где было приемное отделение и красный уголок, комната отдыха для доярки. Дверь оказалась на крючке. Он постучал, голос Нины:

– Кто?

– Ниночка, открой, – ласково пропел мужичек.

– А, товарищ председатель, ночами посторонним в базе делать нечего, – смело ответила девушка.

– Поговорить с тобой хочу, дурочка, зря ты меня чураешься, – растекался Устин.

– Да некогда разговаривать, у меня корова начинает телиться в родильном.

И ушла. Кожин знал каждый закоулок на ферме, прошел с обратной стороны, в фетровые валенки снега начерпал, но дверь открыл, в полной темноте, наощупь пробрался в базу и прокрался к комнате отдыха. Вдруг в спину ему сильно уперлись вилы, уже проткнули кожаную тужурку и коснулись тела, он невольно подался вперед и уперся лицом в стену.

– Нина, не дури, это хулиганство! – тихо сказал Устин Денисович.

– А крадчи проникать на ферму, это с какой целью? Может, теленка украсть или корову увести? Вот сдам вас утром в милицию, и пусть разбираются.

– Нина, убери вилы, у меня уже кровь по спине течет. Вилы грязные, заражение может быть. Убери! – уже не грозил, а просил председатель.

– А может это и к лучшему. Будет заражение, что-нибудь отрежут, чтобы к молоденьким девушкам не лазили черным ходом. Ладно, разворачивайся, и к двери, крючок снимай, и бегом домой. Если что – я ткну вилы, заколю, и суд меня оправдает.

– Согласен, ослабь, я к дверям, – униженный мужчина едва сдерживал себя.

Сидя в кошке, ощущал липкую кровь под задницей, с ужасом думал, что делать. Только к сестре, Зинаида поругает, но поймет, и не сдаст ни жене, ни улице. Постучал в ворота, в комнате загорелся свет, женский голос:

– Кто там среди ночи?

– Зина, пропусти, помоги мне.

Испуганная сестра впустила позднего гостя, он скинул тужурку, вязаную кофту и рубаху вместе с исподней. Зинаида глянула на спину и ахнула:

– Устин, ты это где так?

– Зина, потом, промой раны и смажь чем-нибудь, чтоб заражения не было. Это вилы, – с трудом признался брат.

– Вилы? – изумилась сестра и принесла теплой воды, протерла спину, промыла раны, предупредила: – Не молодуха ли какая на ферме отбивалась? А теперь терпи, любовник хренов, самогонкой буду мыть.

Устину хотелось орать от боли и злости. Зинаида подложила ватки с какой-то мазью и перетянула все тело разорванной простыней.

– А теперь снимай штаны, кальсоны надо стирать, наденешь Ивановы.

Брат возмутился:

– После покойника не надену.

– Ну, ходи голышом, брюки замывать надо.

Устин нехотя надел кальсоны, Иванову же рубаху.

Зинаида предложила:

– Тебе лучше заночевать у меня, а завтра в больницу.

– Ты о чем, какая больница, чтобы вся деревня знала? А до властей дойдет – попрут с работы, – расходился брат.

Зинаида вздохнула:

– Устин, все равно узнают, тот, кто тебя колол, скрывать не будет. Кого опять домогался? – поинтересовалась сестра.

– Да-а-а, дурочку одну хотел пощупать, а она оказалась шустрой, – зло ответил Кожин.

– И вот результат любовной ночи. Ночуй, утром посмотрим, если краснеть не будет, сделаю перевязку, а Ефросинье скажешь, что в районе задержался, – с простой души посоветовала Зинаида.

– Ага, я из дома уехал уже потемну, после ужина, – грустно кивнул Устин. Сестра развела руками:

– Тогда придумай сам.

* * *

Матери Нина говорить ничего не стала, зачем расстраивать? Еще пойдет, не дай бог, правду искать. После ночного дежурства доярке полагается выходной. Нина стала еще до восхода солнца, прибрала в доме, постирала скромненькое белье, побелила стены и большую русскую печь на кухне, а вечером собралась в клуб. После кино объявили танцы под радиолу, ее подружек-школьниц дежурный учитель, физик, попросил покинуть вестибюль, после десяти вечера надо быть дома. Окинула взглядом кампанию – ничего интересного, поднялась, чтобы домой идти, а тут музыку запустили, «На побывку едет молодой моряк», и прямо к ней идет самый настоящий моряк, подошел, поклонился, каблучками прищелкнул:

– Разреши, Нина, пригласить тебя на танец!

Нина чуть не расхохоталась, это же Володька Бородин, сосед, два года назад в армию проводили.

– Здравствуй, Володя, ты насовсем прибыл? – спросила она.

– Нет, только на побывку, как тот моряк из песни. Впереди еще два года.

– Интересная у тебя служба?

Володя ответил:

– Трудная, но и интересная, полмира уже повидал. Правда, в основном с борта, на берег не каждый раз отпускают.

– Вон моряк поет про подругу нежную, которая ждет. Ты тоже обзавелся? – подмигнула Нина.

Володя засмеялся:

– Нет. И не собираюсь. Я планирую домой возвращаться, не каждая в Сибирь согласится ехать, а для просто так – смысла нет.

Заскрипела пластинка, кончилась песня, Володя предложил:

– Пойдем на улицу, хочу по деревне родной пройти, соскучился. А ты как?

– Да никак, не спрашивай, – махнула она рукой.

– Ты что, Нина, или обидел чем? Я же по-свойски, – смутился моряк.

– Хвалиться нечем, школу бросила, дояркой работаю, подъем в четыре, весь день на ногах, а зарплата зимой – только на хлеб да сахар.

– А я тебя сразу узнал, хоть и повзрослела ты за эти годы, настоящая невеста, – похвалил Володя.

– Ну, так посватай, если невеста, – озорно засмеялась девушка.

Володя осмелел:

– Нина, я серьезно тебе говорю, что понравилась мне сразу. Уходил-то – ребенком была. Если согласна – станем переписываться, и мне легче, буду знать, что есть у меня девушка дома, ждет. Приду, в техникум поступлю заочно на механика, и ты тоже на зоотехника, свадьбу сыграем, дом построим...

– Ой, Володя, куда тебя понесло! Уж и дом и свадьба, только про ребятешек не сказал. А ведь два года, – напомнила она.

– Это только кажется, что два года, а на самом деле – два похода по полгода, и все, – штатно ответил матрос.

– А как же письма? – спросила Нина.

– Так. Сразу целый мешок получишь, а если удастся, пришлю тебе из Индии или из Австралии. Ребята находят русских и отдают письма, те отправляют. Нина. – Володя взял ее за плечи. – Ты можешь не верить, но я ни разу не целовался с девушками. Можно, я тебя поцелую, хоть в щечку.

Она приподнялась на носках, и он коснулся ее прохладной щеки, потом стал искать губы, Нина не пряталась, Володя целовал ее неумело и нежно.

– Ну, все, – сказала Нина. – Мы ведь домой пришли. Проводи меня до ворот и поцелуй еще раз. Ты сколько будешь гостить?

– Десять дней.

Нина взяла его за руки:

– Если завтра не передумаю, то буду тебе писать и ждать. Вроде как жених мой будешь. Пошла я, Володя, мне в четыре вставать на дойку.

Он стоял долго, пока в комнате горел свет, Нина раздевалась и разбирала свою кровать, потом свет погас, и Володя быстро отбежал: из темной комнаты его под фонарем хорошо было видно. А он стеснялся.

Еще девять вечеров Нина и Володя встречались, уже поздно, после дойки. У Володи отец строгий, но сын насмелился и попросил разрешения привести Нину в избушку на ограде, она же летняя кухня, она же мастерская у отца. Разрешил, улыбнулся: «Только без баловства». Сын покраснел.

Обнимались, целовались на стареньком диване, пытали, наивные, друг дружку:

– А ты вернешься, не обманешь?

– А ты будешь ждать, не задружишь с кем?

– Володя, адрес ты мне не сказал! – в последний вечер спохватилась Нина.

Володя нашел на верстаке тетрадку отцовскую и карандаш, четко написал зашифрованный флотский адрес. Нина прочитала и удивленно глаза подняла:

– А какой корабль? Как тебя искать будут?

Володя посерьезнел:

– Название корабля не указывается, это военная тайна, а имя у нас настоящее, подводная лодка «Ленинский комсомол». Нина, это ты никому, поняла?

Утром с колхозной машиной Володя уехал. Нина попросила девчонок коров подоить, все сидела у окна, ждала, когда выйдет моряк. Подъехала машина, вышла вся Володина родня, Нина закусила губу, фуфайку накинула и за ворота. Володя увидел, улыбнулся, помахал рукой. Вот и все прощание.

* * *

Готовились к празднованию Дня Победы, в школе объявили встречу с фронтовиками, троих пригласили. Максим Ключев был стрелком-радистом на самолете, в боях под Москвой по два вылета делали в сутки, так вышло, что Максим за месяц сбил три фашистских истребителя и два бомбардировщика. Получил большой орден, а на другой день их сбили, Максим вывалился из горящего самолета, «Мессершмитт» хлестанул по нему очередью из пулемета и бросил. Максима подобрали наши бойцы, отвезли в госпиталь и довоевывал в пехоте. Павел Менделев танкист, лицо и руки обожженные, три машины от Сталинграда до Праги под ним сгорели, из первого экипажа один остался. Два ордена Красной Звезды, Боевое Красное Знамя, медали. Ребятишки до начала встречи смотрели на дядю Максима и дядю Пашу совсем другими глазами. Соседи, односельчане, а оказывается, герои, получше, чем в книжках.

Перед самой встречей на мотоцикле подъехал председатель сельсовета Кожин. В коридоре снял плащ, и все ахнули: на армейском командирском кителе погоны лейтенанта и ордена в два ряда.

Максим и Павел говорить не особо мастаки, тем более – перед ребятишками, о войне говорили просто, без надрыва, рады, что живые остались, вспоминали друзей погибших, и ребятишки слушали, хотя никто этих героев не знал. Перед выступлением Кожина вперед вышла старшая пионервожатая, громко и торжественно объявила:

– Дорогие дети! Сейчас я предоставляю слово прославленному командиру и нашему руководителю Устину Денисовичу Кожину. Вы видите, сколько у него наград. Он завоевал их в жестоких сражениях, к которым готовился задолго до войны. Вот что писала наша районная газета весной 1941 года, еще до войны.

«Красная Армия разгромит любого врага. Наши славные чекисты во главе с лучшим сыном коммунистической партии тов. Ежовым разоблачили подлый «правотроцкистский блок» убийц, шпионов, предателей. Эти фашистские наемники Бухарин, Рыков, Ягода и др., хотели разд^елит^ь нашу счастливую родину между фашистами, восстановить в СССР капита^лизм. Гнусные убийцы умертвили наших любимых руководителей т. т. Менжинского, Куйбышева, великого писателя А. М. Горького. Это была подлая месть фашистских вырождак прекрасным людям, с горячим сердцем, посвятившим всю свою жизнь без остатка служению трудящемуся народу.

Цепным собакам фашистских разведок никогда не удастся видеть нашу ро^дину до сапогом фашистов. Красная Армия и весь советский народ разгромит любого врага.

Я, как курсант полковой школы, беру на себя обязательство овладеть на отлично боевой и политической подготовкой и призываю всю молодежь нашего рай^она через военные кружки ОСОАВИАХИМА изучать в совершенстве технику военного дела. Овладевая большевизмом, еще больше усилить бдительность, чтобы ни одна фашистская гадина не смогла притаиться в нашей стране. Быть всегда готовыми дать сокрушительный отпор врагу, если он посмеет посягнуть на нашу счастливую Родину, на нашу радостную счастливую жизнь».

Товарищ Кожин честно выполнил свою клятву. Предоставляем ему слово.

Кожин встал, гремя медалями.

– Мы, ребята, честно выполнили свой долг перед Родиной, разгромили фашизм. Спасибо Анастасии Николаевне за приятный сюрприз, мое письмо в газету, но я рад доложить, что все,

что обещал, исполнил. Как и мои товарищи по оружию Максим Павлович и Павел Михайлович. С праздником Днем Победы поздравляю всех вас.

Когда вышли, Менделев спросил:

– Устин Денисович, ты на каком фронте в конце войны служил?

Кожин ответил:

– На Втором Белорусском. А что?

– Да вот, смотрю, медаль у тебя, как у меня, «За освобождение Праги», а брал ее наш Первый Украинский товарища Рокоссовского. Так что сними, ошибка вышла.

Кожин побагровел:

– Ты что, Павел, ты в чем меня обвинил? Что я чужую медаль нацепил? Какую дали, ту и ношу.

Менделев улыбнулся:

– Да носи на здоровье, знаю, что и нужная бумага у тебя припасена.

Кожин вышел первым, так рванул свой мотоцикл, что комья грязи полетели в разные стороны.

– Врет он, Максим. И не только про Прагу. И бумагу эту Насте он сам утром принес, мой племянш видел, сказал. Помню, в сорок четвертом отпустили меня домой по ранению, мать его приходила, не видел ли где Костиньку моего, два года писем нет, пропал без вести. И вдруг он объявляется, весь в орденах, как в репье, цел и невредим. Спрашивается: где был?

– Он же всегда говорит, что засекречен, в особых подразделениях служил...

– ...Где матери письма писать запрещали? Ладно, хрен с ним, только не к Душе мне все это.

* * *

Володя присылал Нине короткие письма: служу, скучаю, хотя скучать некогда, много работы, готовимся к серьезному делу. И вдруг писем не стало. Нина поняла, что «серьезное дело» – это поход его корабля по морям и океанам, и он начался. Мечтала, что получит письмо из-за границы, с красивыми марками и картинкой на конверте. Но писем не было. А в конце сентября в Корнеевку приехал военный комиссар из района, с ним «скорая помощь», остановились около дома Бородиных, которых Кожин уже предупредил, что приедут представители. Отец и мать сидели на скамейке в избе, напуганные и готовые ко всему, хотя – что должно случиться, чтобы им обоим непременно быть дома и ждать? Оба понимали, что хорошего на их пай не отведено, а что худое – сидели и ждали. Майор военкомата вошел первым, отдал честь родителям и произнес четко:

– Я уполномочен сообщить вам, что ваш сын Бородин Владимир Федотович погиб, выполняя воинский долг. Он похоронен по месту гибели, о чем вам сообщат дополнительно. Командование благодарит вас за воспитание настоящего патриота своей родины. Примите мои соболезнования.

Последние его слова заглушил истошный крик матери, закатилось ее солнышко, черным мороком заволокло разум, сердце ойкнуло и остановилось. Молодой майор, никогда не бывавший в подобном положении, выскочил, уступив место медикам. Матери наставили уколов, вкололи и отцу, который тупо смотрел себе под ноги. Братья и сестры плакали в горнице. Военком подошел к своей машине, закурил. Собирался народ. Начали задавать вопросы:

– Товарищ майор, как же так, парень служил по третьему году, не салага. Что могло случиться?

– Что это? Войны нет, а тут «при исполнении долга»?

– А тело почему не отдают? Ему место на родном кладбище, да и родителям было бы легче. Где его зарыли?

Военком бросил окурок, раздавил его ботинком:

– Товарищи дорогие, я знаю не больше вас. Получил приказ, выполнил. Знаю, что служил Бородин на флоте, больше скажу: на подводном флоте. А что и как – неизвестно.

Нине кто-то сказал о горе, она бросила недомытые фляги и кинулась в село. Толпу народа около Бородиных увидела издали, и ноги подкосились, подошла тихонько, слушала разговоры и плакала. Молодой учитель физики из школы взял ее под локоть:

– Вечером приходите ко мне на квартиру, к десяти часам.

Нина подняла мокрые глаза:

– У вас совсем стыда нет, я дружила с Володей, а вы мне почти на похоронах свиданье назначаете.

Учитель смутился:

– Простите меня, Каурова, вы не так поняли. Я хочу, чтобы вы узнали некоторые подробности гибели Бородина.

– Откуда вам известно? – встрепелась Нина. – А может он и не погиб вовсе?

– Не могу сказать, приходите, только одна, и ничего не опасайтесь, я человек порядочный.

Нина приехала с летних выпасов, обмылась в теплой баньке, наскоро перекусила и пошла к учителю. Он квартировал у стариков Мыльниковых, жил в маленькой комнатке, устроенной из казенки старшим сыном, который уже женился и поставил свой дом. Нина поздоровалась со стариками, они ее узнали, хотели поговорить, но она прошла вслед за учителем. На столе стоял большой радиоприемник, какие-то приборы и пластины с припаенными круглыми и продолговатыми железками и десятком разных лампочек.

– Каурова, это очень секретно, я сконструировал приемник, который ловит иностранные радиостанции. В десять часов на радио «Свободная волна из Кельна» начнутся последние известия. Они еще раз повторят то, что передавали вчера вечером.

– А зачем это мне? – спросила Нина.

– Бородин служил на подводной лодке, ты об этом знала?

– Нет, Володя говорил, что служит на корабле.

– Ну, какая разница, подлодка тоже корабль. Слушай, на тебе наушники.

Сам тоже нацепил наушники и стал подкручивать ручки приемника.

«Вы слушаете «Свободную волну из Кельна». Последние новости. На военной базе советского Северного флота идут работы внутри подводной лодки «Ленинский комсомол». Как мы уже сообщали, этот атомный подводный корабль нес боевое дежурство в Средиземном море, якобы сдерживая агрессивные выпады Шестого американского флота. После смены лодка направилась к месту постоянного базирования в Северодвинск, но в Норвежском море в двух отсеках внезапно возник пожар. Ценою собственных жизней моряки задраили перегородки и локализовали пожар. Погибли тридцать девять моряков, но лодка в надводном положении своим ходом дошла до базы. Советское правительство скрывает от своего народа эту трагедию, все погибшие моряки похоронены в братской могиле, их родственникам сообщили, что моряки погибли при исполнении воинского долга. Но не

сообщили, где похоронены их мужья, отцы, сыновья. Ни одна семья не получила материальной компенсации от государства за потерю родного человека. Более того, с родственников берут подписку о неразглашении якобы государственной тайны. Внимание: через несколько минут мы передадим список погибших моряков с советской подводной лодки «Ленинский комсомол». Слушайте «Свободную волну из Кельна». Следующая новость из Москвы...»

Учитель выключил приемник, Нина сдернула наушники и испуганно спросила:

– А список?!

– Подожди, Каурова, приемнику надо остыть. Я включусь через пять минут, они как раз закончат обзор известий и начнут читать список.

Нину била мелкая дрожь, она вышла на кухню и попросила горячего чая, бабушка Мыльничиха налила ей чашку, Нина пила, обжигаясь.

– А что, Нинка, не щупат тебя учитель?

Нина поперхнулась:

– Что вы, бабуса, мы слушаем последние известия.

– Да само собой ясно-понятно, последние известия вон, на тумбочке стоят, а вы в горенке закрылись. Да ладно, дело молодое.

И тут учитель позвал Нину. Она надернула наушники и услышала:

«Бородин Владимир Федотович, старшина второй статьи, призван из села Корнеевка Тюменской области...»

Нина прямо в наушниках упала на пол. Учитель поднял ее под руки и повел на улицу. Бабка хихикнула:

– Интересные известия по вашему радиову передают, до потери сознательности.

– Замолчите, – крикнул учитель. – С ней обморок, только что передали, жених ее погиб в армии.

Старуха перекрестилась:

– Спаси и сохрани. Я-то думала, что на радостях она брякнулась.

* * *

На очередной планерке а райкоме первый устроил разнос заведующему организационным отделом за плохую работу с кадрами:

– Не модно сейчас вспоминать Сталина, но его умные высказывания знать надо и им следовать. Известная фраза: «Кадры решают все». Но нам небезынтересно, что это за кадры. Приняли редактора со стороны, сектор печати обкома рекомендовал, лишь бы дырку заткнуть, а он у нас через полгода загулял, да так, что неделю найти не могли. Потому особое внимание на руководителей, они от имени партии работают, а у нас человек второй год возглавляет советскую власть на селе и не является членом партии. Владимир Тихонович, пора решать.

Кожина принимали на общем партийном собрании, так рекомендовал Хмара, поскольку глава местной власти должен быть на виду у всего народа. Все равно собрание прошло вяло, рутинно. Кто-то с места крикнул:

– Чего тут обсуждать? Голосуем.

– Райком знает, кого ставит на такие должности.

Но вопросы позадавали, так, для порядка, хотя вдруг женский голос:

– Пусть про вилы расскажет.

Председательствующий, колхозный инженер, переспросил:

– Про какие вилы? Чей вопрос? – Но в зале около ста человек, не вдруг найдешь. – Объяснишь, Устин Денисович?

Кожин помялся:

– Провокационный вопрос. Я тогда работал на животноводстве, доярки сено раздавали в кормушки, у одной вилы сорвались, а я рядом стоял, и прямо мне в спину.

В зале смешки, но проголосовали за прием Кожина кандидатом в члены партии. А он все прислушивался к женскому голосу, стоящему в ушах, знакомый голос, долго понять не мог, потом осенило: это же Наташка, рядом работает с Кауровой, ей эта сучка разболтала. Ладно, найду способ прижать ее к ногтю, подловлю, даже мужику не скажет.

В следующей газете появилась заметка про партсобрание, и было сказано, что в ряды КПСС принят фронтовик, орденосец, председатель сельсовета Кожин Устин Денисович. Жившие в полусотне километров от Корнеевки в Тюкале братья Семен и Степан Кондаковы районку читали, и в тот же вечер сбежались:

– Сема, вот я сроду беспартийный, но знаю и вижу, что в партии в основном народ порядочный. И как эту гниду могли принять? То-то я вижу, в заметках «Кожин, председатель сельсовета». Даже подумать не мог, что это тот, у них в Корнеевке Кожиных не меньше, чем у нас Кондаковых. А оно видишь, как: фронтовик, орденосец. Что делать будем?

Семен помолчал, потом спросил:

– А что мы можем сделать? Его органы должны были проверить, может, он в полициях по заданию состоял? Опять же и наград много.

– Сема, да этих побрякушек мы с тобой ведро могли привезти с поля боя, – разошелся Степан. – Помню, назначили меня в похоронную команду, это где-то уже под Варшавой, считай, у каждого солдата вся грудь в значках. А старшина велел мне их снимать и на каждого убитого записывать, потом родным высылали. Я их тогда пол вещмешка набрал. Вполне мог стать орденосцем.

– Ладно, орденосец, есть власти, им виднее, – подвел итог Семен.

А на другой день на поле, где они молотили озимую рожь, приехал первый секретарь райкома Хмара, дело к обеду, мужики собрались в кучку, обед из столовой привезли. Хмара тоже попил чаю, со смородинным листом заварен, вкусно. Семен дождался, когда Хмара отошел в сторонку из кружки листочки выплеснуть:

– Василий Федотович, я хотел про Кожина из Корнеевки спросить. Вам все про него известно?

Хмара напрягся:

– Продолжай.

– Например, что он в плену был.

– А ты откуда это знаешь?

– Так мы же с братцем полтора года на фашиста горбатили, пока не сбегли.

– И он с вами?

– Нет.

– Все. Никому ни слова, рожь уберете, и ко мне. Сразу. Понятно?

Рожь обмолотили, агроном дает команду быстро переоборудоваться на косовицу яровых. Семен подошел, говорит, надо им с братом один день по важным делам. Агроном закричал, что нет сейчас дела важнее уборки, тогда Семен вынул туза козырного:

– Нас товарищ Хмара вызывает. Не веришь – позвони ему, уточни.

– Ладно. Но только один день!

Поехали рано утром на Степином «Москвиче», за прошлую уборку получил, зашли в райком, техничка в коридоре пол подтирает.

– Вы куда, ребята, наострились? Тут райком, а не проходной двор.

– Ишь ты, десятый секретарь, раскомандовалась. Скажи лучше, Хмара пришел?

– Тут, с шести часов, не спится ему, уборка.

– Так вот, мы до него.

Поднялись на второй этаж, нашли дверь в приемную, открыли створку кабинетных тяжелых дверей. Хмара говорил по телефону, увидел гостей, махнул рукой: «Заходите!».

Семен рассказал все, как было. Хмара повторил вопрос: а не ошиблись? Тогда Степан дополнил про то, как вместе с Кожиным зерно мололи на Малышенской мельнице летом сорокового года, целый день были вместе, даже бутылочку распили, как земляки.

– Мы почему вам решили сказать, Василий Федотович? У вас власть большая, вы можете проверить, мало ли, что в полициях был, а, может, он задание особое выполнял? Прочитали в газете, что в партию его приняли, вот и подумали: а знает ли райком? И что он будет за коммунист, если действительно в предателях был? Вы уж проверьте, товарищ секретарь, чтобы нам грех на душу не взять, оклеветать честного человека.

Хмара посмотрел на братьев: малограмотные, беспартийные, а ведь не в милицию пошли, а в райком. В них партийности больше, чем в некоторых наших бумажных активистах.

– Давайте так договоримся. Кожин принят в партию в своей организации, ее решение будет утверждать бюро райкома. Мы во всем постараемся разобраться, и решение будет безошибочным. И вас пригласим на бюро, вдруг потребуетесь. За информацию благодарю, но больше никому ни слова.

Они попрощались, и Хмара проводил мужиков до дверей.

* * *

После известия о гибели Володи прошло полгода, никто уж и не вспоминал, только мать не смогла смириться с потерей сына, вроде головой тронулась, лежала, плакала без слез и только просила:

– Приведите меня на могилку моего сына, приведите меня, ведь где-то она есть.

Приведите меня...

Возили в больницу, но там сразу предложили отправить в психиатрический диспансер, только пожилая женщина-врач в коридоре шепнула мужу:

– Не вздумайте в психушку, вы ее потеряете. Пусть будет дома. Сколько времени прошло? Ну вот, еще полгода, и она придет в себя. Поите ее настоями трав, сонных, чтобы больше спала. И кормите хорошо.

Нина про это узнала, хотела бы сходить к тете Феше, да неудобно, кто она им? А тут возвращается с вечерней дойки, снежок идет, тепло, и настроение хорошее. Видит: около дома прохаживается парень, сердце вроде екнуло, но тут же смутилась Нина, не тот это парень. Подошла ближе – учитель физики, вспомнила, что зовут его Геннадий Васильевич. Увидев Нину, он шагнул навстречу:

– Добрый вечер, Нина Каурова, в клубе вы не бываете, а мне вроде на ферме не с руки появляться, вот, решил около дома вас дожидаться.

– У вас еще какие-то новости про Володю есть?

Учитель смутился:

– Нет, к сожалению. Я по другому поводу. Когда мы вместе были там, у приемника, я еще ничего не понимал, а потом понял, простите, что хочу вас видеть. Вас это удивляет?

Нина пожала плечами:

– Не вижу ничего удивительного, хотите видеть – смотрите. Только я не понимаю, зачем вам это?

Физик согласился:

– Да я и сам пока не знаю.

Нина засмеялась:

– Эх, вы, ухажер, пугаете девушку темной ночью, и сами не знаете, зачем.

– Нет, знаю, – твердо ответил учитель. – Вы мне нравитесь, еще там, в комнатке, понравились, но все никак не мог вам об этом сказать.

– Так вы же меня в классе не замечали! И двойки ставили. Забыли? – Нине было интересно разыгрывать своего мучителя законами Ома и правилом правой руки.

– Да, представьте – не замечал. Но сейчас... Нина, давайте дружить? Мне квартиру дали в двухэтажке, однокомнатную, сегодня дали, в выходные попрошу школьную технику побелить и покрасить. Будете ко мне в гости приходить.

Нина посмотрела на него не как на учителя, а как на простого парня. Симпатичный, умный, трезвый, даже не курит. Работа постоянная и зарплата, наверное, неплохая. И не хам, под фуфайку не лезет. Чем не жених?

– Геннадий Васильевич, подружим мы с вами неделю, месяц, а потом что? – напрямую спросила она.

– Почему только месяц? – удивился учитель. – Можно дольше.

– Господи, какой же вы бестолковый! А замуж вы меня возьмете? – засмеялась Нина.

Учитель растерялся:

– Да! То есть, я об этом не думал, не знал, что все решается вот так вместе, но, если вы согласны стать моей женой, я готов хоть завтра подать заявление в загс.

Нина не знала, плакать или смеяться, сама себя просватала, скажи кому – не поверят. А она сейчас все решит, пропади все пропадом!

– Геннадий Васильевич, давайте так: завтра после двух часов, когда уроки у вас закончатся, приходите в сельсовет, с паспортом, я вас буду ждать. Подадим заявление, и через месяц нас зарегистрируют как мужа и жену. Вы согласны?

– Очень! То есть, я рад, я счастлив, Нина, я буду в совете сразу после двух.

– Вот мы и договорились, – грустно улыбнулась Нина. – Поцелуйте меня, и я пошла спать.

Учитель явно никогда не целовал девушек, так неловко он обнял Нину, с такой опаской коснулся ее губ, что она взяла его за голову, чуть приподнялась и присосалась к его пухленьким губам, как тренировались когда-то с девчонками. Выдохнула и побежала домой.

Секретарь сельсовета подала им бланк заявления, Геннадий сам все заполнил красивым почерком, оба расписались. Секретарь, тоже бывшая учительница и почти соседка Нины, улыбнулась:

– Если вам, молодые люди, невтерпех, я могу вас и сегодня зарегистрировать.

– Нет-нет, – возразила Нина. – Нам нужен месяц на размышления. Мы только вчера вечером познакомились.

У секретаря сельсовета очки свалились с носа.

На крыльце Нина сказала:

– Покажите мне квартиру свою, да никого не зовите, сами все побелим и покрасим.

В обшарпанной квартире, осмотрев все и определив, сколько надо извести и краски, прикинув, куда поставят стол и кровать, которые жених после ремонта купит в сельмаге, Нина привалилась спиной к косяку и позвала:

– Гена!

Он был на кухне и быстро подошел.

– Ты теперь мой нареченный муж, ну, как бы не совсем муж, но все равно уже не просто ухажер. Потому звать тебя буду по имени, любить тебя буду всю свою жизнь, и ты скажи.

Геннадий Васильевич произнес, как торжественное обещание:

– Я тоже всю жизнь. Ниночка, всю жизнь буду тебя любить.

– Ты целоваться, наконец, научишься? Иди сюда ближе.

Целовались, пока у Нины голова не закружилась.

– Все, Гена, хватит, а то уж дурные мысли в голову полезли.

– Да, и мне тоже.

– Ты их пока не пускай, ладно? – хитро попросила она.

– Кого?

– Мысли, глупенький ты мой!

* * *

В тот же день Хмара связался с управлением Комитета государственной безопасности, его соединили с нужной службой, майор выслушал секретаря райкома и ответил, что запрос принят, ему потребуется несколько дней на подготовку материалов для бюро райкома. Через два дня майор позвонил и сообщил, что готов выехать для информирования парторгана на месте.

Чекист привез копии всех документов, касающихся Кожина Устина Денисовича и относящихся к периоду от призыва его на действительную военную службу в 1940 году и до демобилизации в 1945. Просмотрев все бумаги, Хмара спросил:

– Почему органы, имея такие сведения, не привлекли изменника Родины к ответственности?

Майор ответил:

– Вы же фронтовик, помните, какая обстановка была в западных областях и в Прибалтике после Победы, так что вот такая мелкая сошка, за которой не было раскрытых особо опасных преступлений, вроде участия в расстрелах, пытках и прочее, оставалась без внимания. А потом было решено проверить, как тот или иной гражданин, да, оступившийся, служивший на врага, ведет себя после войны, чем занимается, как работает, как относится к власти и партии. По Кожину есть заключение, что после демобилизации он женился, работал в колхозе, учился в школе руководящих кадров, был бригадиром и даже избран депутатом и председателем исполкома. Остановись он на этом, и вы бы ничего не знали, и мы бы не создавали вам проблем.

– Сейчас его можно судить?

– Комитет не будет поднимать это дело, – категорично ответил чекист.

Хмара возмутился:

– Товарищ майор, но оно все рано всплывет, мы же не можем принять в партию бывшего полиция, и мы сошлемся на ваши документы, которые неопровержимы. Этого от народа не скроешь, тем более, что в районе есть люди, которые видели его в форме полиция. Кстати, по наградам: у него полная грудь орденов.

Гость пожал плечами:

– Об этом у нас нет информации. Медаль «За Победу» числится, более ничего. Думаю, вы сами разберетесь с этим. Вот и все, чем я мог бы вам помочь.

Майор уехал, а Хмара соображал, как быть в этой ситуации? Спустить на тормозах, тогда чем мотивировать отказ в приеме в партию? Да и допустимо ли, когда в районе числится больше трех тысяч погибших на фронтах, умолчать, покрыть мелкого позера, до войны публикующего патриотические призывы и торжественные клятвы, а на фронте предавшего Родину и служившего врагу? И его счастье, что нет на нем крови наших людей, не доказано, но молчать об этом нельзя во имя погибших, во имя тех, кто на своем хребте вынес тяготы тыла, тоже бывшего фронтом.

В день заседания Хмара собрал членов бюро за полчаса до начала работы и проинформировал, подкрепляя слова документами КГБ. Все были ошарашены. Договорились, что разговор с Кожиным будет вести только Хмара, в итоге голосование и отказ в приеме.

Кожин вошел в костюме, но все ордена с мундира перецепил на пиджак. Хмара указал ему на стул с торца стола, за которым сидели члены бюро. Началась обычная процедура: решение партийного собрания, заключение контрольной комиссии, вопросы к секретарю парткома. Наконец, заговорил Хмара. Его била мелкая дрожь, он с трудом держал на весу первый документ:

– Встаньте, Кожин. Скажите, где вы находились с октября 1942 по июль 1944 года?

Кожин помолчал, но держал себя в руках:

– На фронте, товарищ секретарь.

– Где, в каких войсках, на каком фронте?

– В учетной карточке военкомата все указано, товарищи члены бюро.

Хмара бросил на стол лист бумаги:

– Передайте ему. Это твоя подпись?

Кожин пробежал глазами копию своей расписки о согласии служить великому рейху и сел.

– Встать! – неожиданно крикнул Хмара. – Верни документ. Вот, товарищи, читаю: «Я, гражданин России Кожин Устин Денисович, настоящим подтверждаю, что добровольно соглашаюсь служить великой Германии и выполнять все приказы немецкого командования». Дата, подпись. В какой должности ты служил фашистам?

Кожин едва стоял, но ответил четко:

– В полиции.

– Полицаем был? Какие обязанности выполнял?

– Охрана объектов, иногда сопровождение.

– Кого и чего? Кого охранял и сопровождал?

– Склады, технику, учреждения.

– Не ври, Кожин, ты охранял советских военнопленных, тебя видели два наших земляка, как ты вытанцовывал перед шеренгой наших ребят, которые остались верны присяге. Они здесь. Спросить их? Отвечай, было?

– Было.

– Скажи, Кожин, на тебе есть кровь советских людей? Имей в виду, вот документы КГБ, тут все про тебя. Так пытал ты наших людей, расстреливал?

Кожин заплакал:

– Нет, матерью своей клянусь, не пытал и не расстреливал.

Хмара махнул рукой:

– После измены Родине нельзя верить ни одной твоей клятве. Откуда у тебя столько наград?

– У меня они записаны в военном билете, можете проверить.

– Вот подлец, и тут врет! Сними пиджак, военком, сорви с него ордена и медали, оставь только «За Победу!», хотя я бы и этой лишил. Все, Кожин, оттанцевал. В приеме в партию отказываем. Члены бюро, голосуем. Единогласно. Парторгу: собрать сессию сельского совета, вывести из депутатов и выгнать с работы. Председателю колхоза: никаких руководящих должностей, путь лопату в руки берет. Кожин, свободен. А жаль!

* * *

Утром, когда взошло солнышко, деревня уже отряхнула ночную дрему; на машинном дворе заводят трактора, юркие «Беларуси» выкатываются из ворот и в луга; ребяташки-копновозы сбегали в табун, у каждого своя лошадь, каждый припас для дружка подгоревшую хлебную корочку или кусочек сахара, набрасывают простенькую узду, развязывают путы; бабы гонят коров и молодняк за околицу, пастух Ерема залихватски бьет хлыстом, и выстрелы радуют его, как ребенка.

Вчера схоронили Фешу Бородину, не сбылось обещание докторши, так и ушла мать в поисках сына и его могилки. Провожали, как водится, всем селом, без оркестра и без речей, сообщали в военкомат, но никто не приехал.

Учитель физики Геннадий Васильевич и Нина Каурова зарегистрировались и в школьной столовой отгуляли свадьбу. Колхоз подарил молодым холодильник, а учителя скинулись на стиральную машину, современную, с отжимом. Доярки тоже в стороне не остались, всем коллективом пришли, и скотников своих привели, вручили квиток на оплаченную электроплиту с тремя конфорками и духовкой, надо только из магазина привезти.

Жена Кожина Ефросинья, когда узнала правду про мужа, собрала свои манатки в узел и ушла к сестре свое Дусе, одиноко живущей в большом доме. Мужу, соседи слышали, сказала: «Проклят ты от людей и от Бога, жизнь свою загубила с тобой, не знала радости материнской и внуков теперь не обнять. Не дал Господь детей, не тебя наказал, меня, а ты так жеребцом и пропрыгал эти годы. Неуж-то Бог простит тебя?».

Солнце поднялось уже высоко, обещая крестьянам сухую и жаркую погоду. Сенокос – работа артельная, дружная, с шутками, смехом, с вкусным супом с зеленью и сметаной, сваренным поварихой тут же, в сторонке на костре. И чай на травах с комковым сахаром и сливочным маслом, только вчера сбитым на молоканке.

-0-0-0-

Свята икона, вот сижу и думаю, с которого краю начинать, потому как житуха наша жалостливая и никчемная, а жить-то надо, хоть новой раз и взбрыкнешь: «Да лучше бы Господь прибрал, чем все это видеть и пропускать, а сердце не каменное». Как-то посередь улицы обмер я, завалился, медичку привезли, отдула, в район отправила. А там нашего брата в каждой камере по шесть, сестричка забежит, таблетки на стол кинет и гумажки с фамилией, а я глянул через увеличительные очки, в которых за пенсию расписываюсь: бог ты мой, таблетки-то все одинаки. Сижу на койке и кумекаю: тот с грыжей, этот с животом пособиться не может, у меня кровя в башку кидаются, аж в глазах темно. Не стал ничего говорить, собрался и вечером с автобусом домой.

Живу я девяносто лет, а сны вижу цветастые, радугу вижу и птиц райских. Проснусь, и до того на душе светло и томно, что лежу и не шевельнусь, знаю эту причину: как только ворохнёшься – сразу все виденья пропадут, и окажешься один на один со старостью. Я, грешным делом, стариком себя не осознаю, ну, знамо дело, и сила не та, и работы той, что раньше робил, уже не сдюжить, опять же, как венчанную свою проводил, так к женскому полу никакого стремления. А речи про меня разные в деревне, будто знаю травы и заговоры от слабины мужской, даже бабы стучались вечерней порой: «Пропусти, сил нет, чем хошь одарю». Все как есть правда: и травы знаю, и другие разные приспособы, но только при большой нужде помогал семьям. Зачем мужику дурь нагонять, если рядом с ним желанная бабочка и близко к сердцу? Чего про меж их бывает, каждый должен испытать, иначе и не жил на свете. Сам через то прошёл, помню, а в чужой кровати и после взвару того не достигнешь. Был у нас в деревне бык-производитель, водили его по дворам, исполнял свою службу, вот так и мужик иной, единожды в том краю ночует, потом в другом.

Ну, полно об этом. Когда новая жизнь случилась, флаги снимали, партийных с должностей поперли, кто-то сказал, что вот теперь коммунизм и наступит. Я, грешным делом, столько разворотов за свою жизнь испытал, и только одно усвоил: после, как вверх начальство новое сядет, добра мужику ждать неоткуда. Так и тут.

Живет со мной рядом в приличном доме, еще при колхозе ставили, хорошая семья. Нет, не могу притворяться: жила та семья. Мужчина, хозяин то есть, дальней родней мне по старухе приходился, в колхозе механиком был, Михаилом Гавриловичем звали. Ну, по мне просто Михаил, да и никаких возвеличиваний. И он ко мне славно относился, вообще с народом был запросто. А когда все ломаться-то начало, колхозишко и потянули, кто сколько сможет. Я сам слышал, как баба евоная во дворе чистила муженька, что даже трактористы на двоих один трактор упрятали, а ты начальник, механик, ржавого болта не принес. А он молчит, но и она не со зла, хотя надо сказать: женщина она резкая, прямая. Да и сама из себя бабочка – есть на что глянуть. Михаил, видно, души в ней не чаял, ну и приносила она в пятилетку по паре ребят. К тому времени у них уж пятеро было.

Жену его Тamarой зовут, по отчеству Ивановна, дело известное, школу кое-как закончила, а тут Мишка из армии объявился, в первую же осень окрутил девку, свадебку изладили, она на ферму дояркой. И ведь зажили. Колхоз, вот хай его – хвали, дом им поставил, правда, и самим пришлось повкалывать, день на колхоз, полночи на дом. Переходить стали, гляжу – не то творят, нарушают всякий обычай и порядок от отцов. В дом следно вперед кошку пускать, а

они натопырились малую дочку на порог поставить. И ведь не подскажет никто, то ли позабыли напрочь, то ли на ребенка залюбовались. Оно и правда, шибко славно, когда первенец твой своей ногой в новый дом входит, но без кошки никак! Останавливаю церемонию, перелажу через плетень, свою кошку за пазухой схоронил. Высказался:

– Что же вы, – говорю, – робята, от законов и обычаев отцов и дедов отступаете? Неладно это. Вот вам кошка, пусть дите ее вперед толкнет за порожек, а потом и сама двинется.

Речи-то распеваю, а сам с собой совсем другое говорю негласно: «Дедушко-Суседушко, коли ты пришел к дому, тогда входи хозяином, да знак дай, чтобы я понял, что ты при месте».

А сам смотрю да слушаю, и только девочку с кошкой обрядили, колыхнулася занавеска у дверей и половица скрипнула, да так знатко, что сосед засмеялся:

– Прослабил, Михаил, половицу при входе, все нервы вытянет, по ней взад-вперед десятки раз пробежите за день.

Промолчал хозяин, он вообще редко в какие разговоры вступал, только если сам начал. А так спрошу у него что-нибудь, плечами пожмет, либо головой кивнет. Вот и гадай, что он тебе просигналил.

Ладно жить начали, толково, баба его деньгами руководила, никуда копейка не выскользнет. Все у неё рассчитано, что на ребят купить, что мужу и себе тоже. На третью осень выпросился Михаил у председателя на комбайн, хлеб надурил небывалый, я сам в середине августа хаживал в первые лесочки, где начинались поля со пшеницей. С малых лет учил меня дед Панфила слушать поле. Это, брат, не всякий может, да не каждому оно и надо. Присядешь под ветерок, припухнешь, здышишь легонько, только сердечко и колотится. Вот, подобно тому, ни ветерка, воздух горячий стеной стоит над хлебом, дозреват его, сушит. Пройдет какое-то время, то ли природа тебе поверит, то ли сам ты во все это живое всей душой войдешь, и тогда услышишь, как колос с колосом целуются, перешептываются. И вроде даже зернышки, если в колосе высохли, позванивают. Такая музыка, аж слеза упадет... Взял Михаил комбайн не самый добрый, чтобы мужиков не обижать, но за неделю до болтика перебрал, уплотнители поставил на стыках шнеков, в молотилку, чтобы утечки зерна не было, и в поле. Не знаю, вроде за всю уборку пару раз домой приезжал, в баньке помыться, переодеться да с ребятней повозиться с полчаса. А чуть свет – подходит машина, кончилась медовая ночь.

Сам слышал, сидючи у себя в ограде, как две бабенки-соседки после управы подтянулись к Тамаре, на бревнышках расположились, вздыхают. «Неделю Веня не бывал, ждала в баню, а у него комбайн изломался, вместо бани да чистой постели всю ночь с железом». Вторая ту же тоску выводит: «Гляжу – бегом бежит к дому, у меня ретиво остановилось. А он заскочил в мастерскую, я туда, на шею ему кинулась, он руки-то мои разомкнул, весь обвиноватился: «Вот, за подшипником приехал, у Генки Рамазанки шкив вариатора заклинило». И вся любовь, а я потом до свету уснуть не могла». Тут Тамара вступила: «Чудно все устроено, в девках жили до двадцати лет, и хоть бы хны, если никто не доведет дрожи, а тут неделя прошла, и терпежа нет. Девки, я прошлой ночью ребят уложила, на велик и к полевому стану. Роса уж пала, комбайны заглушили, мужиков машиной привезли. Не пересказать, как своего отыскивала, угадала, что до ветру пошел, выцепила. Ой, девки, он поначалу испугался, думал, дома что, а потом на руки меня и в копну соломы. Утром вышла на ограду: господи, сколько же соломы я с себя вытрясла, как раз свиньям на подстилку». И хохочут все, так

добросердечно да радостно, что сами по себе мои молодые лета всплыли, сладкой тоской душа окатилась, да и на том спасибочко.

За ту уборку получил Михаил мотоцикл «Урал», за свои деньги, понятно, но право такое надо было заработать. И Тамара его тоже в передовики вышла, правление ей за сохранность всех народившихся телят трех месячных бычков выделило в премию. Видел я, какая радость была в доме. Уместно ли тут признать, что к тому времени остался я бобылем. Жену схоронил последней из семьи, а вперед сына из армии в цинке привезли, второй по пьянке утонул на рыбалке, дочь своей семьей жила, при родах ничего наши коновалы не могли сделать, и ее, и дите уханькали. Так что эта картинка через плетень и была моим светлым местом. Вечером цеплял Михаил тележку к мотоциклу, прежде ребят по улочке прокатит, а потом с Тамарой в лески, двумя литовками вмиг копешку сколотят, в тележке пологом прикроют и веревкой свяжут, чтоб не раздуло. Это телятятишкам на весь день, а остатки на сарай, ветром охватит да солнышко пару раз глянет – сухое сенцо, можно в зиму.

Когда колхоз распустили, гляжу на соседа – другой человек. Он свою работу знал с утра до ночи, а тут никому не нужен. Бывший председатель свою банду сколотил, позвал Михаила Гавриловича вместо инженера, тот радехонек, даже вроде на мордашку повеселел. Посеяли, хозяин стол в поле выставил, по бутылке на брата. Михаил к нему, мол, так и так, вино не пью, ты мне деньгами в счет отработанного. А тот отвечает: «Вот твои деньги, только всходят, как обмолотим да продадим, тогда и карманы дополнительно можно пришивать, озолотимся все». Михаил, ребята сказывали, молча кивнул, сел на мотоцикл и домой.

Первыми доярки шум подняли: почему ни гектара кукурузы на силос не посеяли, трав никаких на сенаж. А дольше и того хуже: травы дуром дурят, а косить никто не собирается. Приперли председателя, он и вылепил: молоко дешевое, себе в убыток, проще под угол слить. Так что коров осенью всех на колбасу. Бабы в голос, а он пал в легковушку и газу.

Мы хоть и рядышком жили, а общались реденько, здравствуй и прощай, подобно тому. Какие у меня к нему разговоры? Я водочку уважаю, перед каждым аппетитом, пока старуха жива была, рюмку принимал – он и в праздники в рот не берет. Я табак смолю от самой Сталинградской битвы, теперь на самосад перешел, трубку вырезал из корня вишни, крадчи от бабки сделал заготовку. Потом всю зиму вошкался, ходил в мастерскую, где газовая сварка, соседа же и попросил, чтобы он трубку слабым огнем обработал. Курю. Я балагур, люблю язык почесать, а от него слова не дождешься, выслушал, улыбнулся, кивнул и ушел. Ну, я уж говорил про то.

А парень он был славный. Телом крепок, новой раз специально сяду и любуюсь, как он робит во дворе. Все в руках играт. Рубаху скинет, штаны закатат до колен и грядку навоза за час перекидат, выправит, тряпицей закинет. Тамара выйдет по своим делам из летней кухни, сама в легоньком халатике, считай, все на виду, тазик поставит на полочку в сарае, подойдет к мужу и со спины прижмется. Дело прошлое, по себе знаю, на мужика это зверски действуют. А Михаил развернет свою красавицу, поцелует в шейку и за свои дела. Я так понимаю, что бабочку это обижало, не затем она выходила. Да и орда вся на озере купается. Пошла, и тазик оставила. Ну, это дело семейное, позже разберутся.

Опять про Михаила. Смотрел я на старые фотокарточки, старуха моя была из достатка взята, торговлишкой промышляли и предки, я папаша успел, пока советская власть не прихлопнула. Тем и спасся, что магазин вместе с товаром благословил, да деньгами не знамо, сколько. Моя после похорон батюшки и приволокла толстенные книжки, а в них карточки

наклеены. Понятно, что я акромя тестя с тещей никого не знал, но досе распахну, пыль сдую и гляжу скрозь очки. Долго не мог в толк взять, чего мне от их надо, а потом доперло: не похожи оне на нас, то исть, не только одежей, это само собой, а совсем иные, не из мира сего. Лица ихние почти как на иконах: взгляд самостоятельный, лица светлые, без улыбок, а радостные. Я так себе сфрумулировал: счастливые оне, вот так. Наши тоже порой лыбятся на полгазетки, а души нет, одна фотокарточка. Это я к тому, что лицо у Михаила было достойное, благообразное, на его смотреть хотелось.

Осенью хлеб убрали, на колхозной еще сушилке очистили и просушили, и в одну ночь колонна камазов с прицепами выдернула все до зернышка на элеватор. Сказывают, по три или четыре рейса сделали. И председатель наш как сквозь землю провалился, хотя добрые люди заметили, что еще недели за две большая машина к нему в ограду запяtilась, утром потемну ушла с барахлом, а семью на легковой сам увез. Мужики закидались: робили-то за что? Все районное начальство прошли, нет никакой помощи, только смеются.

Вижу я, что мой Михаил Гаврилович совсем с лица спал, и надо же было такому совпасть, что мужики из района вернулись ни с чем, а бабы их встречают страшной новостью: коровушек на длинных скотовозах увезли в город. Деревня как-то присела вся, криков нет, переговариваются втихушку, как при покойнике. Жутковато. Михаил за ворота вышел, мне кивнул, стоит. Тамара выскочила, он, видно, от разговора и ушел. Встала рядом:

– Что же вы, мужики, отцы да мужья, что же вы допустили до такого? Чем жить будем, вы про это думали? У меня последняя десятка от получки. Миша, скажи хоть что!

Он повернулся и с виноватой улыбкой на нее посмотрел. Я собрал кисет и с глаз долой, тут не моего ума дела решаются.

А утром рев, да такой, что шкура оширшевила: Михаил Гаврилович повесился в вишневом саду. Записку, говорят, в кармане нашли, что так жить не хочет, перед детьми стыдно, что куска хлеба не сможет им дать. Вот так решил свою долю.

Похоронили, горячий обед отвели в столовой, Тамару с ребятишками мужики на машине домой привезли. Я видел, она, как уточка, впереди, а пятеро ребят следом, старшему пятнадцать, младшей три. А дня через два она ко мне в калитку стучит, выхожу.

– Дедушка Мирон, пойдём к нам, помоги с инструментом разобраться.

Интересуюсь, что за инструмент. Она показывает литовки, грабли, вилы. Спрашиваю:

– Ты не на покос ли собралась?

Спокойно отвечает:

– На покос и есть. У меня корова с весенним теленком да пяток овец. Если лишусь – с голоду помрем.

Слеза меня смутила, буркнул, что все забираю и к вечеру изготавлю. Литовки отбил, подправил, одну для Тамары, другую для парня, помене. В грабельцы пальцы крепкие вставил, пару вил пересадил на черенки потоньше. Вот и вся работа. Собрал в охапку, принес, а она с мотоциклом возится. Завела, бензин залила, всю снасть укрепила на тележке. Видно, рано собирается.

– Дед Мирон, ты за ребятишками посмотри, эти пусть играют, а малую хоть к себе бери.

Так и стали жить, как бы одним домом, я сено сгребать помогал, потом картошку вместе рыли, приехали какие-то азиаты, дешево, но купили. Я к старшему подошел, за рукав взял:

– Ежели у тебя к Аллаху своему вера есть, не обидь эту бабочку, муж повесился с горя, ему там красота, а у неё пятеро на руках. Заплати по-человечески, все равно в полете не будешь, а я за тебя перед нашим богом слово замолвлю.

Возымело, подошел, еще несколько бумажек отслонявил, подал Тамаре.

Смотрел я на нее и дивился: всю жизнь за спиной мужика жила, никакой работы домашней не знала, а случилось один на один с бедой великой схлестнуться, и откуда силы взялись, проснулась в ней русская баба, на которой в самые злые времена пахали и сеяли, которая коров весной подымала и на помоча подвешивала, которая кули с зерном ворочала на элеваторе для фронта и для победы. Не растратилась в сытное время, не изнежилась душа, не изломался характер. Мужик вот, Михаил Гаврилович, не совладал, порешил все разом. Верно, он и слабее был бабы своей, на нее оставил детушек своих, свой завтрашний день.

Одно время, в аккурат перед Пасхой, смутно мне стало, в грудях ломота, голову то и дело теряю. С великим трудом спустился в подпол, там в глиняном горшке сложены все мои накопления, пенсия моя военная. Расход мой невелик, а зачем курковал – сам не знаю, и вот сгодилося. Поднял горшок, повынимал гумажки, завернул в тряпицу, полушубок старенький накинул и пошел к соседям. Они в аккурат за столом сидят всей семьей, праздник все-таки. Я Тамару попросил выйти в коридорчик, чтоб ребятишки не видели, тряпочку откинул и показал ей свой гостинец. Она было в слезы, но я возразил:

– Не смей! Ты бабочка разумная, сумеешь определиться, как быть.

Проводила она меня, а через время в дверь стукнула, зашла.

– Дедушка Мирон, скажи, верно ли я мыслю. Если к твоим деньгам... Дом хочу продать, мотоцикл, скотину всю и собрать все до кучи, да купить домик в городе. Там и работа есть, и учиться ребятишкам тоже, и техникум, и училище медицинское. Что ты мне скажешь?

А чего я мог сказать?

– Если, – говорю, – Тамара Ивановна, хватит капитала, то лучшего и не придумать. Но ты сперва съезди, присмотришь, к ценам приноровишься, что и как. Да дом-то внимательно обследовай, чтобы не подпревший, у тебя переставлять некому. Да чтоб не у черта на куличках, и чтоб огородчик был.

Впервые за все время засмеялась моя Тамара.

– Ну, дедушка Мирон, у тебя столько хотелок, что наших денег не хватит.

Однако съездила, и домик нашла, и задаток у нотариуса оформила. Тут же северянам свой дом продали, те не скупилась, забрали вместе с коровой и овечками, по-крестьянски жить хотят.

Когда все имущество на машину сгрузили, всей семьей пришли ко мне. Я на ограду вышел, весна, в доброе время к новой жизни двинулась семья. Благословил и домой.

Двадни шел дождичек, бусил, как через сито, все напитал, успокоился, тучки спустились за гору, только солнышка еще нет. В открытую оконную створку сочится влажный прохладный воздух, его почти видно в натопленной комнате, он опускается вниз сразу за подоконником и растекается по влажному полу. Теплое будет лето...

-0-0-0-

СЕРЕБРЯНЫЙ КУПОЛ В ГОЛУБОМ НЕБЕ

– Четыре братца пошли на речку купаться. В небе молния сверкнула, с неба кумушек упал. Один перекрестился, другой недокрестился, двое за руки взялись! – оттароторил Венька и накатил на друзей: – Чё получилось? Кто знает?

Знали, конечно, все, но связываться с Венькой не хотелось, он спорун страшный и никогда не признает, что проиграл, всегда упирал на то, что «на правду сойдется». Венька выше других ростом, серые и всегда грязные волосы торчат на темени и на затылке, придавая хозяину грозный вид. На руках «цыпушки» – летом кожа трескается от воды и грязи. «Цыпушки» есть у всех ребятишек, кроме Славки – мать за ним следит. Этим летом она и Косте дала вазелин, он вечером с мылом тер руки и смазывал, обернув платком умершей матери.

Венькин отец Анатолий Брызгин был бригадиром тракторного отряда, а прозвище носил Беспалый, потому что в войну сплеховал, и какая-то штука разоралась в его кулаке. «Э-э-э, – говорили вернувшиеся с фронта солдаты. – На втором году службы он не знал, как с миной обращаться? Его надо было в штрафбат или к забору, а он домой поехал с забинтованным кулаком». Анатолий по большой пьянке проболтался, что в полевом госпитале положила на него глаз пожилая врач-хирург. Ну, не сказать, что пожилая, однако офицеры её отодвигали, пробираясь к юным медицинским сестрам. Анатолий и до войны был парень сообразительный, выучился на тракториста, а как призывать начали, удостоверение спрятал, с командой прибыл в танковый батальон, а там признался, что хоть прав и нет, но в танкисты шибко охота. Знал, конечно, что никто его дубликаты запрашивать не будет, и остался Анатолий при батальоне на подхвате. Взрыватель у него в правой руке сработал подозрительно удачно, в аккурат перед танковой атакой – не до него. Ребята на броню и вперёд, он кровавый кулак под мышку и в госпиталь. Дарья Власьева вся в предчувствии поступления раненых и обгоревших, быстро окромсала ему куски кожи и раздробленные фаланги, однако на каждом пальце по обрубку остались. Хирург работала без особой заботы о состоянии пациента, ни обкалывания, ни наркоза – полстакана чистого спирта, это она называла прифронтовой анестезией. Анатолий мужественно перенёс экзекуцию и был вознагражден поцелуем взасос. «Солдат, я тебя при госпитале оставлю, демобилизацию организую, пошли ко мне в кабинет, потискай меня, ты же мужчина». С этого момента началась у рядового Брызгина новая жизнь. Три месяца обслуживал он Дарьюшку, которая оказалась на пятнадцать лет его постарше, но всегда приговаривала, что она, любовь, то есть, ровесников не ищет, и выжимала из молодца все соки. На усиленном пайке Анатолий отъелся, а когда начальник медслужбы корпуса увидел его в палате, сразу все понял и предложил хирургу в течение суток решить судьбу солдата. Дарья Власьева подготовила протокол военно-врачебной комиссии, который без сомнения подписали все, кому следовало.

Вкусивший волюшки гулеван оказался очень кстати в деревне, где выросло целое поколение не целованных девок и тосковали молодые вдовы и просто солдатки. Анатолий так размахнулся, что к нужному сроку не восемь ли малышей приняли повитухи, и все матери в сельсовете указали на Тольку Брызгина. Перепуганный насмерть угрозами троих отцов соблазненных им девок, троих фронтовиков и отчаюг, он на годик смотался в дальнюю МТС и

переждал ненастье. Вернулся с женой и двумя ребятишками, чем поверг в смятение всю деревню. Ну, привези он близнецов трехмесячных, тогда бы все было в порядке, а парнишка пяти и девчонка трехлетняя в эту арифметику не укладывались. Вся деревня говорила, что это отлились слезыньки невинных девиц и вдов-молодок, Толькой искушенных, Бог, оказывается, шельму все-таки метит. Вот и попал Анатолий в руки бабочке, у которой два брата всю войну в тюрьме просидели, а сейчас вернулись поприличней победителей, в хромовых сапогах и при шляпах. Анатолий жил у вдовы на правах мужа, а когда брательники появились, смикнул, что сие не в его пользу и вроде собрал чемоданчик для перебраться в общежитие. Брательникам это пришлось не по душе, Анатолию показали две обоюдоострые финки, способные продырявить его насквозь вместе с фуфайкой, и сказали, что только он от любимой сестрицы дёрнется, то с того дня бабы уже будут ему без надобностей. Брательники согласились, чтобы новая семья переехала в деревню мужа, но предупредили: только один раз что узнают... По приезде Анатолий неделю пил, пока председатель не пригрозил НКВД, бражку пришлось бросить и начинать работать. На том веселая часть жизни Анатолия Брызгина окончилась. Но будет еще другая.

У Кости наоборот, отец Максим должность исполнял на лошадке, вечером уезжал к работающим в поле тракторам или комбайнам, а перед тем с утра, пока бабы не ушли на работу, объезжал дома всех механизаторов. В поле кормили только один раз за счёт колхоза, а во всякое иное время надо было развязывать семейный узелок и кормиться, что супруга прислала. Мужики принимали его гостинцы, ужинали и продолжали пахать, сеять или молотить, пока погода позволяла или пока сон не валил. Особенность этих его обязанностей позволяла Максиму знать кое-что из семейной жизни, чего бы постороннему человеку знать не следовало. Было, что стукнув в окно Ульянки Макуриной, за бесшабашно отдернутой занавеской увидел метнувшегося в сенки Ваню Соловья. Среди дня Ульянка прибежала, сунула в Максим ходочек с плетеным коробком поллитровку и стыдливо прикрылась платком. «Максим Петрович, ради Христа, никому не рассказывай, до моего донесется – зарежет ножичком. Слышь, Макся, ежели что, дак тебе-то я завсегда открою за доброту твою». Максим был большим шутником: «Ладно, сговорились, только сёдни не жди, от Ваньки обсохни, да на сёдняшний вечер у меня уже одна намечена, тех я вовсе голяком прихватил на соломенной подстилке у погреба». «Поди, колется солома-то?» – посочувствовала Ульянка. Максим хмыкнул: «Знамо, что колется, дак они же не дураки, мужнин тулупчик раскинули». Знал Максим, кто какие щи варит, вкусно из печи через чувал пахнет, или так себе. Знал и видел хлебы, какие укладывали ему бабы для мужей своих. Дивился на пышные булки, на круглые калачи, печеные на горячем поду, были и такие, что совали в мешочках твердые, как кирпичи, ковриги, и на ехидный вопрос Максима «Чего это они у тебя так испугались, что присели?» одинаково поспешно отвечали: «Ой, да! Квашня не подышла!». По мешочкам этим отмечал он мужиков любимых и для баб своих, как свет в окошке. Баб сердечных по кошелкам определял. В тех мешочках были баночки со сметаной, десяток вареных яиц, первые огурчики, если по сезону, а то и вместо шматка надоевшего сала половинка отваренной курочки. «Вот, – думал Максим, – в одной деревне жили, одну травку на вечерках мяли, от одних дождей под утлые крышки сараев прятались, а одни сошлись, как так и надо, а иные ненавидят друг дружку, только все равно живут». Сам он, как говаривал, «для семейной жизни не годен», на фронт никто не провожал, кроме матери, ни одна бабочка по нему слезинки не проронила, потому что к тридцати своим годам, к явлению повестки

военкоматовской, вновь Макся оказался холостым, хотя признавался, что «не три ли раза его отец под венец водил». Отвоевался, когда осколком снаряда оторвало ступню, потом из-за гангрены пилили ножонку еще дважды, Макся все шутил, что так могут и до причинного места добраться, но обошлось, у коленка перехватили дурную кровь. На диво всей деревне не самый бракованный мужик женился на вдове с двумя ребятишками. Мать ругалась, а он свое: «Уйду к ней. Тянет». «Ну, и протянете ноги всей семьей, ты калека, она малая ростом и телом слаба. Кто робить будет?». Но Максим с Марией еще одного мальчонку прижили, вот он сейчас в этой кампании и попрекал Веньку, что тот верх всегда силой берет. «А чем надо?» – нагло спрашивал Венька. «Умом» – сам не зная, почему, резко отвечал Костя. Он был малого роста и сильно худой, можно подумать, что больной. Нет, в беге, или в «бить-бежать» не уступал многим, плавать не умел, потому что пяти лет по недосмотру сводных братцев чуть не утонул и воды боялся. Белобрысый, веснушчатый, с высоким лбом и чуть оттопыренными ушами, впечатлительный и обидчивый.

У Володьки Бороздина отца не было вовсе, нет, в самом-то начале он, конечно, был, а потом исчез. Володька его не помнит, а у матери ни единой фотокарточки нет, и не было, кто в те годы в деревне портреты делал? Никто не знал, на кого похож парень. Крепкий, сильный, злой. На лице шрам во всю щеку, но это не по драке, это он сонный упал с полатей и зацепился за гвоздь. Тогда все говорили: хорошо, что не глазом. Володька единственный из друзей, у кого есть отчим. Володька зовет его отцом, только не любит, и тот Володьку не любит, однажды при Косте назвал недосыном. Костя спросил друга, кто это такой – недосын, а Володька с обиды ударил его под дых. Вообще под дыхалку просто так бить не разрешалось, после этого долго в себя приходят, а тут сорвалось. Костя долго стоял, согнувшись, Вовка ждал, потом хлопнул по плечу. Извиняться никто не умел. Отчим с матерью родили еще троих ребятишек, младшую сестрѐнку к пяти годам увезли в интернат для слепых, и больше дома её никто не видел. Вовка здорово играл в бабки. Дядя Семен, родной брат отца, был колхозным кузнецом, он такую плитку племяшу изладил – всем на зависть. Вырезал из толстого железа прямоугольник, посередке дырку пробил, острые грани сточил и зубилом по горячему вышиб слово матерное. Володька носил плитку на веревочке, которую перед игрой снимал и прятал в карман, и по подсказке отчима брал с игроков по одной бабке за кон. Проигравшиеся убегали домой, чтобы выречь у матери гривенник и купить у Вовки десять бабок – по копейке за штуку. Володька был отчаянней всех, потому что никто не мог сделать круг на все еще вращающихся крыльях брошенной ветряной мельницы, а он мог. Когда крыло вставало прямо перед ним, он запрыгивал повыше, цеплялся руками и ногами, и медленно плыл в высоту. Вместе с крылом Володька вставал вниз головой, и вся ребетня замирала. Так же медленно крыло вставало в нижнее положение, Вовка прыгивал и, презрительно осмотрев публику, ложился на траву отдохнуть. Все благоговейно стояли рядом. За нелюбовь и подзатыльники Вовка мстил. Отчим с весны до осени по двору управлялся в литых лаковых калошах. Калоши те стояли на крыльце под жиденьким навесом. Первый раз, промочив носки, отчим пинал кошку, потом ругал бабу, что неловко несла воду в ведрах и сплеснула из ведра, наконец, очередь дошла до кровли навеса. Почерневший шиферный лист хозяин заменил свежим и пропустил по карнизу две тесины. Когда он снова с матерками пришел в избу снимать мокрые носки, жена принялась: «Проня, свята икона, от тебя все время мочой пахнет. Ты случайно в калоши не попадаешь?». Володькины проказы отчим изобличил и хотел побить, но мать спрятала сына за спину: «Только тронь!». «И трону». «Нет, не тронешь. Проня, я тебе за

сироту горло ночью перережу». Проня поверил, но Вовке стало еще хуже. А тут еще он упал с берёзы.

По весне ребетня уходила в лес на весь день. Из дома брали по краюхе хлеба и спичечный коробок соли. На всех было одно ведро, подойничек, маленькое и легкое, прокопченное, кажется, насквозь. В лесу питались. Летом дома есть нечего, кроме краюхи хлеба и молока, что в кринке оставит мать в погребке от утреннего удоя, все остальное на молоканку, в зачет каких-то поставок. А в лесу уже можно нарыть саранок, вкусных и сытных луковиц, сломить молодую пучку, а всего ценнее – найти колонии гнездовищ сорок и ворон. Тут все лезли на деревья, проверяли гнезда, небольшие яички складывали в рот и спускались. Кто-то уже нашел обвалившийся и заросший смородиной единоличный колодец, ведро с водой стояло наготове, а куча сухого валежника обещала быстрый обед. Общими силами вдавливали во влажную землю две рогатки, поперёк ложили обломанную сырую осинку, на нее вешали ведро. Прикидывали, чтобы вода только чуть скрывала яйца. А сбор продолжался, птицы грозно кричали, пикировали на грабителей, обливали жидким и вонючим. Все терпели разбойники, потому что даже закричать нельзя: полный рот добычи. Да, бывало, что сваренное яйцо уже запарено, в ином и птенчик просматривался, но все остальное съедалось вместе со скорлупой. В этот раз Володька сплоховал, сучок под ним обломился, и он полетел вниз, крича во все горло и выплевывая раздавленные яйца. Вовка ударился боком о нижний крепкий сучок, неловко крутнулся вокруг него и свалился без сознания. На него плескали воду, дули в лицо, потом сняли рубаху и испугались большого синяка на боку. Когда друг зашевелился, его приподняли, он не мог говорить, только высунул кончик прокушенного языка. Шла посевная, кто-то побежал на дорогу и вернулся с машиной. Шофер накидал всем по загривкам, пнул ведро с яйцами, посадил парня в кабину, всем велел прыгать в кузов и сидеть тихо, как мыши. Володьку увезли в больницу, но ничего страшного не нашли, через неделю отпустили. Володька был героем.

Славка считался у ребят самым счастливым. Он всегда был чисто и аккуратно одет, но команды не гнушался. Широколицый, глаза большие и серые, лохматые, как у взрослого, брови. Славка один из всех нравился взрослым девчонкам, они ловили его и целовали, пока он не вырывался, вытираясь чистым платком и тихонько матерясь. Его родители работали учителями, Вера Семеновна учила младшие классы и к друзьям никакого отношения не имела, зато Василий Матвеевич, фронтовик, раненый в лицо, отчего из-за разбитой челюсти речь его была резкой и жестковатой, всем своим видом нагонял страх. На уроках физкультуры учил ходить строевым шагом, делать комплекс упражнений, учил лазать по шесту и по канату. Зимой, поскольку лыж на всех не хватало, гоняли по площадке футбол. А потом были уроки труда, где надо было правильно держать ножовку, рубанок, топор. За каждый промах Василий Матвеевич строго выговаривал и гнал от верстака. Однако все они только со временем поняли уроки учителя, когда с одного удара вбивали гвоздь, ловко строгают полки для первого своего угла. Со Славкой дружили, но домой к нему отваживался ходить не каждый. Славка иногда брал ключи от лодки, прикованной на плесе, звал с собой Костю, и они выезжали блеснуть, или гонять блеску. Славка подплывал под самый берег Малого омута, бесшумно укладывал на дно лодки весло и начинал по правому борту запускать блеску, разматывая с катушки толстую леску. Косте доставался левый борт. Славка закладывал леску за ухо, чтобы слышать блеску, а Костя держал в руках, чуть поднимая над водой, меняя глубину. Щука хватала блеску жадно, как живого чебачка, леска дергалась, и тогда счастливчик ловко выбирал леску, подводя

добычу к лодке. Чаще всего подались небольшие щуругайки, их звали «локотушки», но случались и серьезные шуки, выводить которых было не просто. Если шука срывалась и уходила, Славка ругался и показывал на раскинутых руках, какая рыбина ушла. Костя срывы переносил спокойно, все равно за вечер достанет три-четыре штуки, принесет домой, и новая мать, пятая по счету после смерти мамы, похвалит, рыбу почистит, подсолит и поставит в погреб – для всякого случая. Славка был единственным из всех ребятишек деревни, кому вырезали аппендикс. Летом пошли поиграть в Лебкасный лог, полазить по карьерам, в которых в войну и после еще несколько лет люди копали левкас, скатывали его в небольшие головы и продавали в городе на рынке. Левкас – не прижился, проще было звать лебкасом. Наигрались, пошли к старице обкупнуться, и на взгорке наткнулись на солодку, невзрачная трава, но корень у неё сладкий. Полакомились, а Славка, видно, то ли проглотил что, то ли грязь попала – вечером заорал от боли в животе. Отец завел мотоцикл М-72, усадили Славку в коляску, Мария Семеновна села на заднее сиденье и поехали в участковую больницу, что в десяти километрах от деревни. Славка потом рассказывал, что утром хирург, который его резал, принес на блюде его аппендицит и поставил на тумбочку. Был он похож на крючковатого жирного червяка. Славка уверял, что только отвернулся, глянул – а блюде пустое. Позвал медсестру, всей больницей искали и не нашли. Ребятишки верили. Мария Семеновна, когда узнала, строго-настрого запретила Славке врать. Он, если честно, то и почти не врал совсем, так, реденько.

Деревни в Сибири – как люди, вроде и похожи друг на дружку, а приглядишься – далеко не родня. Есть такие, что вдоль озера одной улочкой выстроены, а в соседней все дома в куче, только переулки и разделяют. Наша на отличку ото всех, две улицы повдоль, две поперёк, только у малой речушки Сухарюшки с одной стороны дома поставлены, а на береговом склоне бани прилепили. Это Зарека. Сказывали старики, что из Смоленской губернии переезжали всем селом, не только скарб – церковь деревянную разобрали и на новое место перевезли, сложили и вновь освятили. А потом пришли казаки с какого-то восстания, семьями, да большими, землю им отвели и покосы. Тот край и назывался Казаки. Сами казаки оказались народом вполне уживчивым, помогали храм строить и ходили потом молиться. О судьбе своей не шибко делились, но случалось. На ночной рыбалке Илья Казаков (их всех такой фамилией называли) после вечерней ухи и бокальчика самогонки рассказал, что в их станицу прибегали гонцы от Емельки, но народ не хотел ввязываться, да и какая нужда: у каждого хозяйство, земля, дом. Еще думалось: и супротив царя как? На круге решили старики: ни одного казака в разбойные банды не пущать. А когда сам Емелька пришел, выслушал старшинское решение, стариков велел пороть на площади, чего в века не бывало, а всех казаков от шестнадцати до пятидесяти лет с конем и оружием в строй. Правда, скоро и баталии с войсками начались, наскочила на нас конница, а мы покидали оружие и сдались. Суд был неверный, не учли нашу невольность, а погнали в Сибирь. «Одно хорошо, – сказал Илья, – что места тут золотые и народ славный. А там видно будет».

Случился в Петровки большой пожар, тогда чуть не полдеревни выгорело, ладно, что догадался Паша Менделев, огонь еще в сотне метров, а он велел свой дом разбирать. Верно говорят, что ломать – не строить, в минуту крышу скинули и брёвна выкатили на середину улицы. Вот тут огонь и захлебнулся. Тогда и церковь сгорела. Кто видел, клялись, что горела она, как свеча, такой же язык, только огромный. А потом три столба огня ушли в небо,

потому что было в церкви три престола, с огнем, сказывали, вся святость ушла в небеса. Сразу народ послал ходатаев в Тобольск ко владыке, но тот денег на храм не обещал, а проект, мастерами нарисованный, благословил. Вернулись ходоки, глаза в пол: нет ничего, и не будет. И тогда восстал народ: «Отчего не будет, ежели мы того желаем?». Собирают сход и решают, с какого дома сколько серебром ли, ассигнациями или зерном или мясом должно быть внесено. И казначея избрали, и ящик сковали в кузне под два замка: один у казначея, другой у старосты. И прорезали столь узкую щель, что туда ты монету либо бумажную деньку просунешь, а обратно ей уж нет ходу, сколько ящик не тряс. Да и трясти его было невозможно, приковали в волости к полу надежно. Десять лет собирали по крохам, а когда вскрыли ящик, оказалось довольно, чтобы артель подходящую искать. Сыскали в уездном городе Шадринске, мастера проект посмотрели, потом велели показать, где может глина залегать, для кирпича пригодная. Все кругом изрыли, а нашли под берегом Сухарюшки, рядышком. Так мяли мастера, и этак – сошлись, что весьма годна для делания кирпичей. Стали формы ладить да глину месить, всей деревней сходились. Потом сараи рядами выставили, наделали полки, сырые кирпичи выкладывали и каждый день переворачивали, сушили. Дальше артельщики из этой же глины сбили большую, как пещера, печь, народ носил кирпичи, а мастер командовал, как укладывать. Потом разожгли большой огонь, вход в пещеру замуrowали, только снизу оставили пустоту для тяги воздуха. Густой мокрый дым выходил в задней части печи, мастера ни на минуту не отлучались, то тягу уменьшат, то дымоход приоткроют. Все лето работали. Отверзнут артельщики ворота в печь, народом начинают выносить обожженный кирпич в отдельные сараи. Потом мастера стали искать место для церкви, всю деревню с тихим молебном обошли, остановились на взгорке, где по утрам коров собирают в табун. Сделали замеры, вбили колышки, велели священника везти, чтобы освятить место и водружальный крест поставить. Три лета артельщики выводили стены, башенки и купола, потом кресты нарисовали и велели кузнецам браться за дело. Купец Афанасьев нужного железа привез. Чудные вышли кресты, легкие, как воздушные. На водружение опять батюшку привезли, самые отчаянные мужики, благословясь, поднялись по веревкам на алтарь, укрепили крест, потом на колокольню, и крест тяжелый, но с Божьей помощью укрепили и его. Большой молебен отслужили. А по зиме на крепких санях, запряженных четверкой тяжеловозов, аж из города Каменска привезли колокола, один большой, поди, на сто пудов, да набор вплоть до маленького, в четверть пуда. Опять служба, опять охотники лезут наверх и по указке мастеров крепят колокола на мощных дубовых бревнах, матицах, вложенных в стены. На освящение прибыл сам владыка, народ собрался весь, от стариков до младенцев, тут же крестили и исповедовали. А батюшка, назначенный на приход, перед народом на колени встал и благодарил за храм, и нарекли его при освящении в честь Рождества Христова.

Великий разум и могучая сила создавали эти места. Вот только что ни спроси – все есть. Озеро прежде всего, на берегу которого в давние времена, еще до переселенцев, в землянке жил старец Афоня. Кидал с берега утлый невод, доставал несколько рыб, и тем жил. Говорить уже не мог либо не хотел. Умер тихонько, и стали мужики место для кладбища искать. Выбрали под Горой высокий песчаный бугор, там и упокоился раб божий Афоня, а чтобы долго имя новой деревни не искать, сказали «Афонино», и всем поглянулось. Сколько глаз видит, въётся Гора из казахских степей и далее в холодные северные края, местами крутая, а

потом опять спокойный склон. Изрезана оврагами и логами, как шрамами по телу отчаянного ратника. Сразу на Горе берёзки да осинки, заросли смородины, малины и ежевики, а ещё костянка, голубянка. В июле попрут грибы, неведомые, но бабы быстро разобрались, что самый добрый после белого – груздь настоящий, очень хорош вымоченный и засолённый – пахуч, вид благородный и похрумкивает. В трёх верстах в глубине мелколесья вдруг возникает широкая лента сосны, кедра и лиственницы. Так лентой и стелется вдоль Горы. Обошли мужики после первой посевной окружные земли и подивились: столько воды, не то озеро, не то старица. Старицы переходили одна в другую, и имена получили разные: Мочище, Малый омут, Афонино, Большой омут, Прорва. Это с одной стороны. А с другой так намешано, что и не разобрать. Вот Арканово, ну, точно озеро, но вытянутое, все равно что река. А дальше Диконькое, Слепое, Утиное, Поперечное, Ванькино, Калачик. А кроме того – с полсотни малых озерин, которым и названия не стали давать.

Всё это было в давние времена, Костя записал от стариков, кто что помнил. А потом приехали учёные, три недели жили в палатках и изучали местность. Ученые – это для ребят, на самом деле студенты-землеустроители, изучали старицы, изрезавшие всю подгорную часть деревни. Старицы эти сильно интересовали Костю, вечером он подъехал к палаткам на велосипеде, отец купил после смерти матери, хоть чем-то отвлечь парнишку. Студенты варили картошку, очищенная селёдка и лук уже томились на сколоченном из досок столе.

– Проходи, молодой человек! – радушно пригласил кашеваривший паренек в трусах и майке. – Что скажешь?

Костя знал, что надо сказать:

– Все названия у нас для озёр, а по форме почти все речки. И откуда питаются? Неужели везде родники бьют? И почему их только у нас так много, в других местах, мужики сказывают, настоящие озера, круглые, по километру и боле?

Парень засмеялся:

– Ты вопросов задал на целый вечер разговора. Леня, иди, посмотри за картошкой, а я удовлетворю любопытство будущего исследователя. Ты знаешь, что рядом протекает река Ишим, узкая, мелкая, но – река. Так вот, мы склонны считать, что ваша Гора есть берег древнего Ишима, потом произошли какие-то изменения, Ишим сузился и принял нынешний вид. А в тех местах, где испокон веков били родники, образовались озера и старицы. Форма их могла зависеть от плотности грунта и интенсивности родников. В целом понятно?

Костя кивнул:

– А где второй берег древнего Ишима?

Студент развёл руками:

– Нету. Ни на одной карте нет ничего похожего. Скорее всего, берег был пологим и скоро сравнялся с окружающей местностью. Картошку с нами будешь есть?

Косте было неловко садиться за чужой стол, но за время после смерти мамы и длительных гуляний отца он научился отличать, когда приглашают от души, а когда ради приличия. Вот несколько раз приходили к Славке, Мария Семеновна заставляла мыть руки и садиться за стол. Славка упирался, он только что ел. Мария Семеновна сурово на него смотрела, и Славка послушно хлюпал умывальником. Такого супа Костя никогда не ел, такой хлеб никогда не мог испечь отец. А потом появлялась тарелка с картошкой и котлетой. Сверху полито чем-то белым, но не сметаной. Вот и здесь он увидел доброту, она не заметна сытым и счастливым, но обиженные жизнью улавливают её проявления сразу. Костя степенно брал круглую

картошку и макал в подсолнечное масло, полученное студентами на колхозном складе. Он знал, что это то самое масло, для которого они всей школой осенью выколачивали зерна из шляп подсолнухов, потом семечки сушили, веяли на ветру и везли в Красноярку на давилню. Оттуда привозили масло во флягах, отец тоже получал с полведерка на трудодни.

Раздавленные семечки лежали на самом дне. Съел две картофелины, сказал «Спасибо», поднял свой велосипед. Тот студент, который ему объяснял, подошел, подал руку:

– Ты приезжай, мы тут еще с неделю поработаем и в город. Ты в каком классе?

– В шестой пойду.

– Учишься хорошо?

– Ударник.

– А книжки любишь читать?

– Шибко люблю, только у нас библиотека совсем маленькая, я все книжки перечитал.

Студент удивился:

– Во как! Назови свои имя и фамилию, мы тебе пришлем книги. Обязательно. Приезжай, пока мы здесь.

«Хорошие люди, – ехал и думал Костя. – Городские, а по-простому разговаривают».

Деревня гудела. Ранним утром бабы коров в табун сгоняют – об этом речи и тревоги. Мужики на наряд собираются – вместо анекдотов о том же разговор. Председатель колхоза, из которого всю душу вымотали эти вопросы, взвыл и резко послал всех. Прошел слух, что в районе принято решение с церкви снять купол. Колокола и кресты сорвали еще в тридцатые годы, на правом крыльце до сих пор видна глубокая вмятина от большого колокола, который при ударе развалился пополам. Колокольня, надстроенная над сводами, была пуста, и мальчишки проходили испытание: надо по лестнице добраться до бревна, на котором крепились колокола, и пройти по бревну от стенки до стенки. Высота больше пяти метров, бревно в длину восемь широких шагов, специально замеры, внизу кирпичное перекрытие церковного свода, каждый понимал, что упал – убился. Но это испытание проходили все. Костю после смерти матери освободили, Толя Синий, парень пятнадцати лет, не учился и в колхоз не брали на работу, вот он и руководил всей деревенской оравой, он и сказал, что Писаря (Костю звали Писарем, он умел сочинять стишки) нельзя допускать на колокольню. Костя вместе с другими поднимался на верх и наблюдал с завистью, как наиболее отчаянные пробегали по матице бегом и даже встреч друг другу, ловко разводясь при встрече.

Наконец, слухи в один день стали правдой. В сельсовете обсуждали, как проще сорвать купол. История повторилась, деда вздымали церковь, зачав кладку основы в глубокой трехметровой яме, а потом за великую честь считалось, если удалось попасть в артель для установки крестов и подъема колоколов. Специальный молебен за этих людей служили, чтобы все у них обошлось и благополучно дело свершилось. А теперь внуки советовались, как эту красоту разрушить. Ни у одного в душе не дрогнуло. Но шел мимо лесник соседней деревни, Ваня Однорукий по прозвищу Берёзка. Однорукий потому, что правую руку в войну минным осколком, как бритвой, срезало, вместе с гимнастёркой. Сказывают, Ваня-то за ней поначалу кинулся, а потом уж сознание отлетело. На дальнем кордоне часовенку маленькую срубил, картинка! Кто-то по привычке стукнул, куда надо, приехали начальники, полюбовались, ни слова не сказали. Всякий раз, проходя мимо церкви, останавливался, и долго молился, крестясь левой рукой. В этот раз понял, что сотворят со святой красотой люди, чуть в

сторонке встал на колени и склонил седую голову.

– Отмолился, Берёза, снесём купол, чтоб вид не создавал, и устроим в твоей церкви пекарню, – захохотал Митя Рожень.

– Ошибаешься, добрый человек, церковь не моя и не твоя и не их всех – она Господу Богу принадлежит, сиречь она и есть Его дом на земле.

– Да хоть и дом! – хохотал Рожень. – На небе он у вас живет, зачем ему дома на земле? Снесём, Однорукий, – злился Рожень. – Ровное место будет. Как будешь молиться? В лесу колесу?

– Опять ошибаешься, добрая твоя душа. Месту будем молиться, святому, великую силу имеющему. Гляжу на тебя – не ты ли первым падешь ниц и станешь землю грызть и просить Бога убить тебя по грехам твоим?

Рожень обозлился:

– Иди, иди, пока я тебя не проводил. Ишь, развел опиум! Землю я буду грызть! Вот тебе, Однорукий, коммунисты ни перед кем в ногах не валялись, тем больше – перед богом, евреями придуманном.

Бабы зашумели на Митю, Иван Березка поднялся с колен, и, не отрясая пыли со штанов, пошел своей дорогой, вытирая слёзы пустым рукавом рубахи.

Главный колхозный инженер предложил поднять на колокольню мощные тросы, которыми тракторы таскают солому, продернуть из окна в окно и обвязать один угол. Весь купол и держится на этих четырёх углах. Нашлись и охотники, назвали цену, начальство посоветовалось и решило уплатить. На другой день Митя Рожень, Гриша Крутенький и Вася Машкин Сын залезли на колокольню, на ременных вожжах притянули тяжелые тросы. Долго возились, закидывая вожжи из восточного окна в южное, ведь надо было угол обогнуть. Потом чуть не сорвался Рожень, один ухватившись за конец подтянутого троса. Трос пропустили через вплетенное на заводе кольцо, и конец подали вниз. Тут уже стоял трактор С-80, тоже с тросом, который крючками сцепили с верхним. Мужики на всякий случай спустились с колокольни. Надо тянуть, а Ганя Паленский вдруг из трактора вылез и отказался ломать церковь, сославшись на мать, которая заявила, чтобы после этого греха он дома не показывался. Колхозный председатель ткнул локтем Анатолия Брызгина: «Ты бригадир, ты и решай!». Анатолий сам сел за рычаги, трос стал медленно натягиваться, все напряглись, рев машины нарастал, тросы гудели, колокольня вроде чуть даже приподнялась. Толпа народа собралась вокруг, старухи крестились, старики курили молча. Все – продавцы и покупатели сельповского магазина, животноводы, свободные от управы, механизаторы с ремонта в мастерских, школьники, побросавшие уроки, и увещающие их учителя – все в незнакомом ужасе ждали чего-то страшного. Но в это время гусеницы трактора букснули, и он стал медленно зарываться в землю. Анатолий сбросил обороты и выскочил из кабины. Все были ошарашены. На церковной стене только штукатурка потрескалась. После обеда перевязали трос на другой угол, пробовали не в натяг, а рывком – ничего не получилось. Председатель колхоза велел поставить трактор на место и прибрать тросы.

– Григорий Андреич, и что же делать? – чуть не заплакал председатель сельсовета. – Мне в районе дали всего три дня.

– Вот видишь, время у тебя еще есть. Нанимай мужиков, пусть долбят.

– Чем!? – изумился председатель.

Андреев улыбнулся:

– Не было бы баб вокруг, я бы подсказал. А так – придется лома брать и пешни.

Народ рассосался, всё вокруг церкви опустело, и она стала ещё более одинокой, чем была прежде. Костя стоял у магазина, прижавшись спиной к прохладной стене, и глядел на самый верх церкви, где когда-то стоял главный крест. Он видел фотокарточки, снимали митинг на могиле жертв кулацко-эсеровского мятежа ещё до войны, и кресты, и колокола было хорошо видно. Сейчас он, прищурившись, пытался представить крест, золоченый, восьмиконечный, но черная, давно не крашенная железная кровля не позволяла вырастить на ней величавый крест. Тогда Костя стал представлять белый, серебряный купол, а потом золотой крест, и у него получилось, серебряный купол на фоне голубого неба принял крест, и они вместе поплыли ввысь, медленно, и Костя глядел, не моргнув, на это чудо, пока слезы застили глаза, и видение исчезло. Но он по-иному смотрел теперь на бывший еще утром сиротливый купол, хлопающий листьями оторванного ветрами железа, на потрескавшуюся штукатурку церкви, они перестали быть чужими и беззащитными, церковь стояла теперь, как православный воин после изнурительной битвы, израненный, с пробитым шлемом, одеждой, порванной мечами чужеземцев, почти истекающий кровью, но непобежденный. Костя вытер слезы и увидел рядом однорукого Ивана Березку.

– Ты плачешь, дитя моё? Господи, благослови сие мгновение! Ты видел, как серебряный купол с золоченым крестом уходил в небо? Радуйся! И Господу нашему великая радость. Благодать снизошла на тебя, сын мой, сохрани её и она проведет тебя по жизни прямо к ногам Бога нашего. Беги с миром!

Володьку мать встретила в воротах, вечером на Голой Гриве была большая игра в бабки, пришли ребята из Казаков, бабок принесли по два кармана. Долго бились, зареченские все продулись, как шведы, а у казачат бабок не меряно, скота чуть не табунами держат. Только тайно всё, в дальних лесах загоны поставили, днем пасут, к ночи загоняют и охраняют, не столько от зверя, сколько от чужого человека. Ребятишки тоже натывались на загоны, только не было никого из казахов, все скот пасли. Бежали оттуда без оглядки. В прошлом году терялся колхозный пастух Чиликов, неделю не было, а потом обнаружился дома, сказал, что вино пил, потому на работу не ходил. А кто ему поверит, если Чилик по болезни желудка вино на дух не принимал! Потом слушок прошел, что наскочил он случайно на загоны казачьи, словили сторожа и держали, пока на иконе Пресвятой Богородицы не поклялся, что не выдаст. Вот и сразились, у Володьки глаз острый, плитка к руке льнет, своя, родная, а казачата все мимо да мимо. Правда, без драки обошлось, казачата задиристые, а тут куда попрешь, в чужом краю, да и зареченских больше. Володька ни одной бабки, ни единой люшки не упустил, все собрал в мешок и домой.

– Ты смотрел, как над храмом изголялись? Смотрел? Зачем тебя туда понесло?

Вовка заартачился:

– Один я разве, все ребятишки там были.

– Пусть! – разгоралась мать. – У нас и так ребенок Богом обижен, и сами не знаем, за что, а ты ещё беду накликаешь! Чтоб больше ни шагу!

Отчим закрепил наказ добрым подзатыльником.

Максим складывал на сарай только что скошенную зеленую траву. Так он за лето хороший стожок стоношит за пригоном.

– Чо, Костя, не изломали церкву? Не по зубам? Говоришь, и трактором не могли взять?

Костя, завтра опять иди, картошку вечером окучим, гляди, кто что делать будет и запоминай. Ты грамотной, опиши все для людей. Как можно руку поднять на храм?

Костя чуть не засмеялся:

– Папка, ты же неверующий?

– Кто тебе сказанул? Запомни, сынок, кто на войне был и смерть своими глазами видел, тот сразу делается верующим.

Костя насторожился:

– А ты разве смерть видел?

Максим воткнул вилы в кучу травы и закурил:

– Вот как тебя сейчас.

– Врёшь! – Невольно выдохнул Костя.

– Два раза. – Отец не обратил внимания на грубое «врешь!» сына. – Первый раз – когда наркоз дали, в госпитале ногу пилили. Я вроде память теряю, а она заглядывает мне в глаза и шепчет: «Мой, мой, мой!». Я испугаться не успел, уснул. На другой день хирургу рассказываю, а он смеется: «Смерть – это пустяки. У нас один на прошлой неделе самого Гитлера видел и даже поймал его, но уснул. Бывает.». А второй раз, когда мать умирала. Я у кровати сидел, видел, что последние часы, она все в памяти была, потом махнула мне ладошкой, уходи, мол. Я встал, а она над матерью стоит, та же самая, глянула на меня, улыбнулась, как старому другу, а матерее шепчет: «Пора, Мария, своей болью ты заслужила, что на небеса сразу пойдешь.». Я к матери, а она уж и не дышит.

Костя пришел в себя, спросил:

– Папка, а как верующим стать?

Максим засмеялся:

– Не знаю. Можя, тебе лучше и не быть, это все через горе и болезни приходит. Ну, знамо дело, от книжек священных, да где их взять? А завтра чего они собрались делать?

– Сказали, долбить будут.

– Иди и запоминай, после напишешь в тетрадку.

Венька ткнулся в калитку, увидел Максима, остановился:

– Проходи, меня, что ли, испугался? – засмеялся отец.

У Веньки синяк под глазом. Костя привычно спросил:

– Откуда?

– Мать врезала. А отца сковородником в воротах встретила и полчаса по огороду гоняла. Он ей кричит: «Дура, всю картошку вытопчем». А она свое: «Чтобы близко к церкви не подходил! Мало тебе немец оторвал, надо было все под самый корень! Совсем хошь нас погубить!». Дядя Максим, я седни у вас ночую, ладно?.

Максим подал ему вилы и сказал, чтобы всю траву ровненько по крыше разложили.

Славка еще в ограде услышал, что под сараем гости. Тихонько прошел, но отец увидел:

– Назови мужиков, кто под куполом лазил.

Славка назвал. И добавил, что завтра они же будут долбить стены ломami.

– Господи! – Мария Семеновна всплеснула руками. – Так ведь купол-то на них может упасть!

– Думаю, у них хватит ума убрать простенки, а несущие углы оставить, – подал голос Паша Менделев. – Хотя надо бы подсказать, а то рухнет купол и ...

Василий Матвеевич согласно кивнул и предложил Паше сходить завтра на обсуждение и

разъяснить.

– Не пойду, – огрызнулся тот. – Пусть отставной майор идет, он партийный. А я на войне сына потерял.

Майор Попов поморщился:

– Народишко там гнилой, и придавит, так не велика потеря. Но упредить надо. Опять же и церковь жалко. Я, когда в сельсовете работал, целую папку документов собрал, как её строили, как на кладбище ходили всем миром канаву рыть, чтобы скот не бродил, потом сосенки привезли, каждый из дому кустики принес. А теперь смотри, какое у нас кладбище, все в округе завидуют.

– И заметь, – перебил Менделев. – Завидуют, а ведь никто не сделал. Потому что надо полвека ждать результата. А мы сейчас каждую весну тополя садим, если бы все приросли – в лесу бы жили. Ладно, хоть коровы да овцы всё объедают.

Ночью случилась гроза, какие часто бывают в июле, с низкими тучами и железного звука громом. Нынешнюю грозу всей деревней посчитали за предзнаменование, но утром у сельсовета собралась большая толпа. В артель набирал Митя Рожень. В договор с сельсоветом включили Гришу Крутеня, Васю Машкина Сына, Макара-Чудака и Осташку Пимоката. Двое поднялись вперед, приняли на вожжах лома и пешни, кувалды и ведро с железными клиньями. Когда начали долбить, запоздалый гром так резко ударил в наступившей тишине, что Осташка кинул кувалду и стал спускаться на землю. Жена подбежала и прилюдно обняла:

– Спасибо тебе, Осташенька, у меня сердце на место встало. А эти как хотят. Гром – слышал – ну, не просто же так!

– Очень даже просто, – сказал школьный физик. – Остались от ночной грозы заряды, вот и собрались в кучку, отсюда разрыв.

– «В кучку, в кучку», – передразнил дед Поликарп. – Кучки только за пригоном бывают, у кого тавалета приличного нет. Гром – это вон тем придуркам предупреждение. Ладно, иди, кого с тебя возьмешь?

Три дня долбили стены, оставляя по столбу на всех углах. Получалось, если сейчас дернуть за один угол, то потерявший опору купол рухнет на свод молельного зала и может проломить его. Стали думать. Выход подсказал отставной майор Попов:

– Надо расширить на куполе отверстие, где стоял крест, а потом через него пропустить трос. Тогда резким рывком можно сдернуть купол вниз.

Провозились еще день. Постепенно интерес у народа пропал, только кучка старушек не покидала своего поста в стороне, у самого магазина. Когда все тросы были готовы, пригнали трактор, прицепили, выровняли, тракторист, вызванный из соседнего колхоза, сдал назад, включил передачу, резко добавил оборотов и отпустил муфту. Трактор зверем рванулся с места, подняв нос, потом его дернуло, натянутые тросы сработали, купол сорвался с места и, упав на южное крыльцо, развалился на куски.

Первым пострадал Вася Машкин Сын. От предвкушения расчета и близкой выпивки он стал быстро спускаться, оступился и упал с лестницы. Орал нещадно. Привезли фельдшера, она распорол штанину и велела принести два обрезка тесин. Нашли и принесли, ногу обвязали, чтоб не тряслась, и в кузове грузовика отправили в участковую больницу. Старуха Раздорчиха, подозреваемая в потомственном колдовстве, подошла и громко сказала:

– Это вам первый. Видит Бог: дальше хуже будет.

Её прогнали, но холодок пробежал по спинам оставшихся артельщиков. Как-то понуро

получили расчет, набрали водки и пошли к Макару. Пили до рассвета, потом уснули, кто где. Утром хватили Гришу Крутенького, а он уж холодный. Приехала милиция, врачи, Гриша почернел, как негр, сказали, что сердце остановилось.

Макар и Митя Рожень протрезвели, пошли под сарай, опохмелились.

– Митя, это все дело случая. Васька сорвался – куда было спешить? А Гришке давно врачи сказали про водку, что ни грамма. А мы вчера, – он окинул взглядом поле боя, – по литре приняли. Тут и без церкви можно крякнуть.

– Не поминай мне про церкву! Господи, черт меня дернул ухватиться за эти сто рублей! Все, я пошел.

Многие видели, как Митя Рожень подошел к развалинам, встал на колени, плакал и целовал рваные обломки купола. Никто не беспокоил Митю, пока не пришла жена и не увела его домой. Митя перестал пить и пошел работать пастухом, сказал, что в лесу со скотиной ему тихо и спокойно.

Макар погиб осенью. На гусеничном тракторе таскал солому с горы. Под большой зарод соломы он задним ходом подпихивал иглы волокуши, потом обносил зарод тросом, чтоб не свалился, трос крепил на поперечный брус. Дорога шла по краю оврага. Октябрь, гололед. Десять лет таскал солому по этой дороге Макар, а тут зарод накатился, полозья вывернулись по льду из набитой колеи, и воз стал сваливаться в овраг. Весом прицепа трактор дернуло, вырвало с дороги, и он медленно поехал боком по крутому склону, потом зацепился за что-то и перевернулся несколько раз, пока упал на дно оврага.

Володькины книжки

Ночь упала вдруг. Густые мрачные тучи опрокинули свет и погасили его, уже нигде не было видно даже краешка чистого неба – все замерло от жуткой тишины. Далеко под стреху хозяйского дома залез серый воробей, галки молча слетели на развесистый тополь, собаки сначала выли, побеждая страх и показывая хозяевам свою преданность, потом, поджав хвосты и загремев цепью, волокли свой перепуганный зад под стену сарая. Корова перестала хрустеть своей жвачкой и тупо поворачивала голову, ожидая уже знакомого грома.

Внезапно прямая, как стрела, молния располовинила небо и уперлась в свинцовые воды озера. Дикае утки побежали по воде, как посуху, и врезались в камыши, перепугав всегдашних тамошних обитателей. Заквакали и смолкли осторожные лягушки, щуки спустились поближе ко дну и сунули головы в корневища камыша и лопушек. Молния сгорела, и только тогда сухой гром раскатился над водой, над полем, над лесом, бухая раскатами, громкими, как выстрелы.

И хлынул ливень. Молнии, опережая одна другую, высвечивали деревню и все вокруг, они играли в небе, изображая всегда что-то ветвистое, похожее на выдернутые корни огородного паслена. Гремело уже без перерывов, иногда ухало так близко от земли, что она содрогалась, и вода в озере поднималась крутой волной. Не было в природе иных звуков, кроме грома, все затихло на земле и на воде, подчиняясь пугающей стихии.

Жизнь человеку дана для чего? Никто не знает. Потому тычется каждый, как слепой котенок, напрягается, вытягивает шею, и все ждет чего-то, что с ним должно случиться непременно. Володька где-то прочитал, сильно поглянулось: не все догадываются, что сидеть и ждать – безнадежное дело, если сам не приколотить к каблуку поношенных ботинок потерянную доходягой-одром истертую подкову и не станешь упираться, как тот носитель подковы. А, потоптавшись и умяв почву под ногами, выверишь свою тропинку, и пойдешь по ней, спотыкаясь, падая, сдирая локти и коленки, разбивая лицо, вытирая пот, слезы и кровь. И как только человек душой и сердцем почувствует, что это его стезя, его дорога – расправит плечи, соберет в горсть усердие и примется улучшать и расширять ее. А кто не поднимется

над собой, кто с молодых ногтей удовольствуется тем, что есть, уготована жизнь пресная, тоскливая и даже надоедая. И пройдет его время стороной, не захватив, не закружив, не порадовав страстью нестерпимой, оравой добрых друзей, кулачной дракой на чьей-то свадьбе. Все тускло и серо, вплоть до самой жизни.

Володька думал об этом, сидя в старой бане, где скрывался от отца и читал книжки. Отец книжек не любил, потому все, что Володька нашел в доме покойного безродного учителя Николая Николаевича, стаскал под крышу сарая, и соображал, куда это богатство заныкать к зиме. Ему уже шестнадцать, лицом в мать, чуть конопатенький, рослый, только все еще суховат, сказали, с годами силы наберет и в плечах раздвинется. Он любит читать книжки и думать, за что отец, подойдя втихушку, больно доставал по загривку.

Володька всегда так делал, вычитав не совсем понятные суждения, будто переиначивал их на свой лад и свое понимание. И тут пристыдил сам себя, что до сих пор не определился, куда он пойдет по жизни. Учительница Анна Петровна в седьмом классе говорила: «Эх, Рюмин, голова у тебя есть и сердце тревожное, да не в той семье ты уродился». А в какой надо было – не сказала, и Володька никак не мог увидеть себя не в своем доме, с другим отцом и особенно матерью, с братом и сестрой – тоже другими.

В баню волехнулся солнечный свет в открытую дверь, отец Иван Иванович стоял в косяках, как в раме, и Володька встречь солнцу не видел его лица, только знал, что ничего доброго отец не скажет, сжался, готовый принять матерок или кнут.

– Ты подскалу нарубил? – безразлично спросил отец.

– Нарубил и в кучу стаскал.

– Бери тележку, привезем, пока никто не скоробчил.

Пошли с тележкой на берег озера, густо заросший ивняком. Володька катил тележку, в ней веревка и топор на всякий случай. Отец шел рядом. Он рослый, сутулый, с большими руками, на голове кепка–восьмиклинка, на ногах изношенные кирзовые сапоги. Кепку и сапоги он носит с первых оттепелей и до морозов. Лицо будто облеплено сухой задубевшей кожей, брови выцвели и совсем не видны, усы тоже отгорели, но подкрашены табачным дымом из самокрутки, которую он почти не выпускает изо рта, перекидывая из одного уголка губ в другой. Глаза черные и глубокие, отчего вид Ивана Ивановича суров и грозен. Да он такой и есть. Может ожечь кнутом или супонью, даже не ругавши, Володька как-то определил, что от лающей собаки можно отмахаться, а тихая молча подойдет и тяпнет. Таков отец. И никого он не любит.

Берег озера густо зарос тальником, отец зовет его подскалом, а мать вербочками. Он рубил, выбирая в зарослях стволы толщиной в завять, так отец наказал, потом стаскал в кучу, получилось, что за один раз в тележке не увезти. Сложили комлями вперед, вершинки свисают, но они не будут цепляться за землю, если везти ровно, не поднимая оглобелки. Отец обвязал воз веревкой в трех местах, откинул в сторону топор:

– Я утяну, а ты тем часом наруби виц.

Володька понял, что почитать сегодня уже не придется, потому что вицы сохнуть не будут, отец сразу начнет налаживать прясло. Полез в чащу, выбирал тонкие недлинные побеги, срубал и высовывал на волю комельком вперед. Нарубил почти сотню, хватит на городьбу, хотел обкупнуться, пот застил глаза, и вода уже созрела, но боялся отца, он в бога не верит, но до Троицы купаться не велел, а Троица нынче аж в середине июня.

Тележку с вицами отец велел поставить в переулке, чтобы не бегать за каждой палкой, жерди привезли на той неделе, они, пролыщенные, лежали котюром, отец принес в береме заготовки для кольев. Двухметровые заготовки с толстой стороны он тремя ударами топора заострял, сверху донизу прогонял три залысины, чтоб просохли, а не прели. Володька приготовил ведро воды.

Огород у Рюминых был большой, тридцать соток, но пришли депутаты из сельсовета и разрезали его пополам, одна часть Рюминым, другая поселенцам, которые построились на пустом месте без земли. Иван вышел на огород в сапогах и кепке с кнутом в руках, он пас колхозный скот и плетью стегал непослушных телок. Глаза его нехорошо блестели, а руки перебирали овитое тонким ремешком кнутовище. Депутаты не стали пытаться судьбу и утянулись лягой. Вбитые колышки Иван шевелить не стал.

Дома было тихо, мать и ребетня боялись, что отцов гнев выплеснется на них, коли там сдержался, только Володька в душе радовался: в два раза меньше тять и окучивать, а пуще того – копать картошку. Но в этот раз обошлось.

Новое прясло городили как раз по меже, установленной депутатами. Отец несколькими ударами колом намечал лунку, Володька плескал в нее ковшик воды, отец дожидался, пока вода впитается, и во влажную землю, ухая, глубоко вгонял кол. В четверти от первого вставал второй кол, Володька в это время подтащил три жерди, по ним отец определит, где будет следующая пара кольев. Потом в трех местах связал парные колья вицами, заправлял комелек за кол и сильным движением прокручивал вицы, они рвались повдоль и делались податливыми. На эти опоры укладывали жерди. Работы хватило до темноты, водрузив последнюю жердь и выплюнув измусоленный окурочок, отец махнул рукой: «Все!». Володька сильно устал, приволок топор и ведро, умылся в кадushке, в старой бане вытянулся на сухом и теплом полке.

Вот зачем живет отец? На колхозной работе целную неделю в лесу, пасут табуны молодняка, спят поочередно с напарником на голых нарах в вагончике, поест нечего, кроме хлеба и сала. Их отец зовет небрежно жраниной. Со смены приедет – опять работа, с весны до осени: дров надо напилить, сена накосить скотине, огород обиходить, рыбы наловить в зиму, дичи набить осенью. Семья большая, никто за столом не дремлет, а работник он один. А что видит? Каждую осень почетную грамоту от колхоза, в прошлом году медаль дали. Дома никто не приголубит и он никого. Никак не вписываются мать с отцом в Володькины книжные представления. Вон какие там жены: обнимут, целуют, милыми называют, что-то про любовь... Володька не видел, чтобы мать отца обнимала, разве что когда пьяного вела из застолья. Интересно, отец в городе бывал? Как-то спросил его об этом, он нахмурился, отвернулся: «Бывал, много городов, вплоть до Берлина». Володька понял. А вот кителя с орденами у отца нет. У гвардии танкиста Прони есть, а у него нет. У Прони на кители много чего, он в Октябрьскую с трибуны громовым голосом пугает загнивающий мировой капитализм. Говорят, батальоном командовал, а отец рядовой, хоть и с одного года.

Летом Володька в дом почти не заходил, разве что поест, если мать не ставила обед в летней кухне, спал в своей бане или под крышей сарая на ланишном сене. На сене было заманчиво, даже перезимовавшие травы сохраняли свои запахи, и они уводили сонного парня в луга, на выкост солнца, на тяжелую работу с вилами и сеном, которое только так кажется

воздушным, а поднять и уложить в день тридцать копен – света не взвидишь. Зато вечером, уже потемну, так сладко бултыхнуться в прохладные воды старицы...

До сенокоса еще далеко, завтра отец приведет лошадь с плугом и всей семьей будут под лемех бросать картошку. Из погреба ее достали за две недели, в тени сарая она согрелась, ожила и стрельнула белыми, синими и даже красными выскочками–росточками, в теплой и влажной земле быстро схватится и пойдет в рост. После посадки отец, мать и Володька деревянными граблями будут ровнять пахоту, и отец прогладит, чтобы ничьего следа не осталось, только правильные черточки от пальцев граблей.

Как только тепло согнало снег, и в березовых лесах на Горе обнажились поляны и пустоши, один за другим в Гору пошли гурты скота, и молочные, и нагульные мясные, особо охранялись от набегов пакостных бычков табуны телок, ремонтный фонд, будущее обновление дойного стада. Размещали скотину по порядку, чтобы не смешивались, и чтобы травы хватало хотя бы на неделю без перегона. Гурты ходили так близко, что скотники перекликались, если курево кончилось или тоска накатила. Большие и маленькие начальники везли на выпаса своих телятишек, чтобы снять обузу на лето, не сдавать в деревенский табун, не заботиться проводить утром и встретить вечером. Иван знал это уже не первый год, что поздней осенью, после последней перевески, хозяева приедут, отберут бычков поупитанней, пастуху поставят магарыч, и к вечеру в деревню, чтобы потемну вернуться. Все об этом знали, и никто не обращал внимания.

Нынче Иван будет пасти бычков в паре с Костей Ильиным, тот сам к нему пришел и попросился, Иван кивнул, потому что Костя пастух многоопытный, не особо пьющий, стало быть, сменит вовремя. А еще было соображение: Костя заядлый охотник и, как в деревне считалось, не живет без мяса, зимой и летом вкрадчи то козу застрелит, то кабана. У Ивана тоже ружье, снимал его с полатей осенью, когда на всех озерах открывалась охота на северную перелетную дичь, да и то не особо удачливый был охотник. Но уже на вторую смену ружье взял в лес, и патроны зарядил: по пять крупной дробью, мелкой и картечей. На смену приехал не утром, как положено, а накануне вечером. Привез свежего хлеба, сала соленого и бутылку водки. Бычки зашли в загон, Иван накинул на воротца и столб кольцо из проволоки, чтобы какой шалун не раскатал ворота. Перед вагончиком развели костер, комаров в этом году густо с первых теплых дней. Иван разложил закуску, выпили по стаканчику. Костя не особо разговорчивый, но под стакан и он не умел молчать.

– Слышь, Иван, – Костя прожевал и с трудом проводил жесткое свиное сало. – Вон по ту сторону колка оденок от вороха остался, кто-то из комбайнеров осенесь вытряхнул бункер, а ночью собрали. На хлеб выходит лось, ближе к рассвету, я выследил, а днем съездил: точно, пожрал и тут же оправился. Так что пить больше не будем, ружье свое приготовь, с вечера поспим, я разбужу.

Пока Костя вошкался с лопнувшим по середке седлом, Иван успел глотнуть прямо из горлышка, вытащил из-под нар мешок с разобранной «ижевкой», вставил два патрона с картечью. Думалось, хорошо, что напарник лося надыбал, поделим по-братски, по задней ляжке возьмем для себя, а остальное Костя в город сбавит, есть у него тропка натопанная. Копейка все же не лишняя. Костя, как положено, обошел загон, проверил, все бычки лежат, жвачку жуют. Столько лет со скотом, и все надивиться не может: каждая тварь по-своему спит. Один лежит на боку, аж ноги откинул; другой под себя ноги подобрал, голову согнул и

тут же уложил; этот лежит на брюхе и шею вперед вытянул. А тот вообще стоя спит, видно, так ему нравится, но чутко: только человек подошел, он вскинулся. Костя вернулся в вагончик, хотел подпалить «летучую мышь», да Иван заворчал, что комаров напустит, тогда он в темноте приподнял плаху в полу и добыл ружье.

– От кого прячешь? – спросил Иван.

– Ну, не от тебя же. Уходишь с гуртом за версту, а вдруг какой человек?

– Дак замок же есть!

– А что замок? Для доброго человека. А худой раз стукнет, он и отвалится.

– У тебя картечь заряжена?

– Со вчерашнего дня. Я хотел один завалить, да поостерегся, лось не дурак, не вдруг допустит.

– А вдвоем как пойдем? Ты мне разъемачь, я еще тот охотник-то.

– Да вот и думаю, что надо было с тобой по свету съездить, прикинуть. Ну, ничего, прежде посмотрим, как ветер дует, чтобы он нас не учуял. Если как сейчас, то пойдешь с правой стороны колка, а я с левой. До края не доходи, остановись. Я сам на него выйду. Если учует и побежит – бей, мы его с рассветом по крови на лошадях загоним. Все, спим.

Иван уснул сразу, и ему снилась веселая гулянка, где он плясал «цыганочку» и пел матерные частушки. Даже во сне Иван удивлялся, с чего это вдруг так раздухарился, ведь в жизни на круг не ходил и песен не пел. В самый разгар веселья кто-то неловко толкнул его в плечо, Иван встал, хлебнул горячего чаю, Костя уже расстарался. Стало теплее, из щелей тянуло прохладой.

– Вроде не жарко на улице-то? – спросил сонным голосом.

– Прохладно. Да ты очухивайся, выходить пора. Так, дождевик оставь, шуршать будет.

Костя с ружьем вышел, дверь не закрыл. Иван нашарил бутылку и ухватил пару глотков, враз согрелся, и сон пропал. До колка шли вместе, молча, остановились, Костя показал рукой, куда идти Ивану, шепнул:

– Дойдешь до горелой осины, она поперек лежит – припухни, он скоро прийти должен. Захрустит, слышно будет. Ты лучше ляг, шуму меньше. Ветер нам в спину, хорошо, не учует.

Иван осторожно краем леса дошел до горелой осины, чуть шагнул вглубь леса под разлапистую большую березу, лечь не стал – земля холодная, приткнулся к дереву, ружье положил стволом на нижний сучок. Тишина. Ночь безлунная, черная, только звезды чуть видно из полосы предутреннего сумрака. Пробежал какой-то зверек, может заяц, а может суслик, кому-то тоже не спится. Он чувствовал, что вроде разглудался, пришел в себя. Сильно хотелось курить, но нельзя, сам понимал, да и Костя припугнул. Глаза к темноте привыкли, сквозь мелкоколосье вырисовывалось поле, не пахано, где-то тут зерно в стерне, тут и будет лось. Интересно, кто из мужиков хапнул бункер? Это же надо вдвоем управлять, в мешки засыпать, потом в кузов. Значит, и шофер в доле, и должны быть друзья. А кто? Иван улыбнулся догадке: точно, что братцы Чигунаевы, Андрюха и Генка. Потом вдруг подумал: а если зверь с этой стороны выйдет и прямо на него? Стрелять надо наверняка, не дай бог – ранишь, он дурной делается, на рога может поднять.

Чуток начало зариться, воздух побледнел и стал совсем влажным, Иван провел по стволам рукой и снял росу. Поежился, осторожно прошел краем леса вперед, потом в чашу, там темнее. И вот! Хрустнуло в тишине громко, потом опять, и несколько раз. Вскинул ружье: точно, тут! Выстрел, потом вторым стволом. Страшный рев вырвался из леса и ушел в

вышину. И жуткая тишина, только слабый стон человека. Иван кинулся в ту сторону и наскочил на прислонившегося к березе Костю.

– Ох, Ваньша, осиротил ты моих ребятишек!

Иван встал на колени, приподнял Костину голову, струйка крови вытекала из уголка перекошенного рта, Костя вытянулся и затих. Иван ничего не понимал, ведь лось должен был идти, почему Костя, зачем он так тихо, что сбил с толку? Живой, надо его трясти, чтоб очнулся. Пошевелил, а тело сползло на бок, дурно запахло из развороченного живота. Ужас поднял Ивана, он бросил ружье и кинулся вон из колка. За всю послевоенную жизнь не видел так близко мертвых, потому бежал прочь, не понимая, что происходит. Уже у вагончика, когда присел на скамейку, вдруг понял: он убил Костю. Иван захватил голову и завыл.

Светало. Иван очнулся, надо что-то делать. Надо в деревню, в сельсовет, к участковому. Надо вести их сюда, показать, где лежит Костя. Он со слезами оседлал коня и погнал его, что есть мочи.

Через три часа его привезли обратно на газике председателя колхоза, с ним участковый Ганя Черненький, фельдшер Валя, председатель сельсовета Лукин. Следом пришла грузовая машина. Дорогой Лукин все домогался, как получилось, что Иван застрелил напарника, пока милиционер не велел ему замолчать и лишний раз не нервировать преступника. Иван не ослышался: он так и сказал: преступника.

Иван показал, где лежит Костя, указал место, откуда стрелял, ружье его тут и лежало. Костю увезли, фельдшер тоже уехала, Лукин остался, шепнув участковому, что опасно в такой глуши один на один с убийцей.

– Скажи, Рюмин, почему Ильин шел к тебе через лес? Он тебе не кричал, что идет? Ну ладно. Я вот тут в тетрадке нарисовал как бы колок, вот тут зерно рассыпано, кстати, надо еще разобраться, кто хапнул, тут, судя по всему, тонны две было. Да, тут зерно, тут ты, а он? Укажи, где он стоял на номере?

Иван глянул на бумагу и показал пальцем:

– С той стороны колка должен быть.

– Непонятна мне ваша схема. – Милиционер снял фуражку, солнце успело подняться. – Почему ты у самой пшеницы, а он в стороне, не меньше ста метров.

– Я тоже сначала далеко был, как договорились. А потом подошел.

– Почему?

– Не знаю. Тут ближе.

– А Ильин знал, что ты должен переместиться?

– Откуда? Я ему не кричал. Ведь лося ждали.

– Рюмин, уточни: когда ты стрелял, уже начало светать?

– Чуток светлело.

Ганя Черненький захлопнул свой кожаный планшет:

– «Чуток!». Если светать начало – кончилась охота, зверь уже не придет. И Ильин это знал, бывалый браконьер. Потому и шел к тебе напрямую через лес. Он тебе кричал?

Иван безнадежно качнул головой.

– Плохо дело, Рюмин, – подвел итог участковый. – Поедешь со мной в райотдел, следователь этим делом будет заниматься.

Володьке никогда не забыть, как он метал первый свой стог. Сгребали сено с братом Серьгой и сестрой Надюхой, потом копнили, дело это знакомое. К вечеру пешком пришла мать.

– Ты зачем, на ночь глядя? Мы уже сложили, – доложил Володька.

– Метать будем, меня на завтра в бригаду занарядили, на огород.

Володька все не верил: метать сено ночью, что ли?

– Ночью, Володька, теперь все будем делать после работы. И ты в колхоз выходи.

– А школа?

– Хватит семилетки, у нас в породе шибко грамотных не было.

Верхом на бывшей отцовской Пегухе Володька доехал до Коровьей Падьи, срубил пять ветвистых березок, поперечинка к волокуше лежала в телеге. Создевал вершинки на поперечинку, на Пегуху надел хомут с тяжами, концы у тяжелой петлей, натянул их на поперечину, сказал брату:

– Серьга, бери вилы, учись на волокушу класть.

И сестре:

– Ты, Надюха, за ним следом подсребай.

Мать вмешалась:

– Не шевель парня, малой он.

Володька сказал устало:

– Ты стог уминать залезешь, я снизу подавать, а кто нам сено подвезет? Пусть привыкат, я подучу.

Мать перехватила вилы:

– Пока сама буду.

Володька крикнул:

– Сергей, вставай рядом с мамой, учись. Не велика наука.

Три копны ссадили с волокуши одну к одной, Володька стал закладывать проемы, ничего, получалось, только тяжело и сильно охота пить. Втыкал вилы в землю, подбегал к телеге, сдергивал с жестяного ведра материн платок, отцовской походной кружкой загребал воду, пил, не отрываясь, и быстрым шагом возвращался к стогу. Одному метать – это не с отцом, но мать подсказывала:

– Метальщик, с того краю нависат, а с этого пусто.

Он закидывал провалы, а она снизу лишнее грабельцами убирала.

– Поди, пора, Володька, уминать начинать, сено доброе, не дай бог – прольет ливнем.

Володька воткнул в стог пару вил, мать, как по ступенькам, поднялась, встала на верхние, а нижние он тут же переткнул выше, мать оттолкнулась и уползла в центр стога. Утоптала середину, обошла по краям, и началась главная работа. Володька по кругу подавал наверх тяжелые навильники, мать перехватывала их грабельцами и безжалостно втаптывала по кромке стога, обозначая ненасытную середину. Володька взмок, только рубашу с длинным рукавом сбрасывать нельзя, сухая сенная пыль зудом изведет все тело, а там только начти расчесывать – все комары твои.

Серьга подвозил неуклюжие копны, он не знал еще, что к каждой работе на лугу надо приладиться, может, сто раз бестолково сложить копну, чтобы на сто первый получилась настоящая, которую не только к стогу, а хоть до самой деревни вези.

Большая круглая луна мешала Володьке подавать сено ей навстречу, слепила глаза, а он уже пересадил вилы на длинный стоговой черен, и из последних сил забрасывал матери под ноги охапки сена.

Завершили, длинные вицы связал вершинками и подал на вилах матери, она раскинула их по сторонам света, чтобы ветры не трепали стожок. Закинул наверх вожжи, ухватился, еще Серьгу позвал и крикнул:

– Мама, спускайся.

Вожжи потянул обратно и сразу ослаб, мать села рядом и плакала. Серьга прилег рядом. Надька заскребала сено и черенком граблей подбивала его под основание стога. Володька поднялся запрягать Пегуху. Луна повисела над головой и медленно покатилась на отдых.

Раным-рано прибежала Матренка Петелина, она в этот день исполнительница при сельсовете, разговор у нее быстрый, из всей скороговорки Володька понял только, что вызывает его председатель и прямо сейчас. Володька с матерью тоже ходили в исполнители, назначали, и от колхозной работы освобождали. Надо было сидеть в коридорчике и заходить в кабинет, когда председатель крикнет: «Исполнитель!». Велено было бежать к бригадиру животноводства, найти его дома или на ферме. Потом искал киномеханика Сашку, он вчера билеты продал, полный зал народу запустил, а сам кинобудку закрыл и на своем «ковровце» уехал к полюбовнице красавице Гале Смирнихиной. Люди ждали долго, потом засвистели, затопали ногами, стали кричать: «Сапожник!». А в кинобудке тишина, тогда и расчухали, что Сашка уже на седьмом взвозу. А вечером председатель дал Володьке два рубля 87 копеек и велел купить в сельпо бутылку водки, да не сказывать, для кого, принести и его вызвать в коридорчик. После этого их с матерью отпустили домой.

Зачем Володьку вызвали в сельсовет, он не задумывался, сказали прийти – придет. Шел по улице безлюдной совсем, большие на работе, ребетня в школе, маленькие в садике или дома с бабками. Навстречу учительница по русскому языку и литературе, так и знай, будет выпытывать, что в школу не ходит. Самое время хорошую книжку спросить, да ее разговор не перебьешь.

– Здравствуй, Рюмин.

– Здравствуйте, Анна Петровна.

– На днях вечером заходила к вам, да дверь на клямке.

– Сено метали всей семьей.

– Ты в колхоз-то не вышел еще?

– Нет. Хотел на тракториста, да годов мало. Скотником зовут, да мать не велит, тяжело там.

– Может, в школу вернешься? Тебе учиться надо, способности есть и интерес.

Володька хмыкнул:

– Только денег нет. Пусть мелкие учатся, а я как-нибудь.

– Рюмин, если все решил, давай, я с директором договорюсь, истопником и дворником в школу.

– Спасибо, Анна Петровна, не пойду. Там девчонки, стыдно. А книжки интересные у вас есть?

– Есть. Я тебе домой принесу, вечером.

Володька покраснел, но промолчал, неловко было про такое учительнице говорить.

Председатель сельсовета Евграф Леонтьевич встретил прямо в дверях. Он один в деревне до сих пор носил военную форму под ремнем и цветную колодку на левом кармане кителя. Длинные седые волосы он клубком укутывал на голове, стараясь прикрыть лысину. Когда он гневался, вся эта городьба сваливалась на сторону, Евграф Леонтьевич терял всякую строгость и быстро нахлобучивал шляпу или шапку, смотря по сезону.

– Вот что, Рюмин, мне в районе дали неделю, чтобы избача нашел, ну, это по-старому, теперь завклуб и библиотекарь. А где взять? Из колхоза никого не отпускают, в школе тоже лишних грамотных нет, а ты вроде не тут и не там. Работа такая: клуб открыть, когда Сашка протрезвится и кинокартину привезет, в субботу Николай Агапович приходит с гармошкой, танцы. Он, понятно, чтобы от Груни утяться, но все равно «Амурские волны» и «Цыганочку» отыграют. Так, а ты каждый день с двух часов и до управы, пока коров пастухи пригонят, сидишь в библиотеке книжечки выдаешь. Завтра доедешь до районной библиотеки, кой-чему научат.

Володька возмутился:

– Прогонят они меня, годами не вышел.

– Дурак, я тебе справку напишу, что семнадцать полных. Женихаться уже вовсю, а? Поговаривают, что к тебе все летичко молоденькая училка захаживала.

Володька смутился:

– Так она книжки приносила, Евграф Леонтьевич.

Председатель засмеялся:

– Знамо дело, и мы когда-то книжки почитывали. Все, пишу тебе бумагу в район.

Володька вышел, и все с ума не идет хохоточек председателя из-за Анны Петровны, наболтают в деревне про девчонку, что зря. Надо сказать, чтоб не ходила. Опа, так она сегодня придет, обещала! Нет, надо перехватить, решил на улице подождать, чтобы в дом не заходила.

Опять вспомнился председатель, что женихаться начал. Тут он прав, соглашался Володька, есть такой грех. Тянет его к Танюше Ильиной, только как к ней теперь подходить, если отец ее отца застрелил? Танюша и сейчас не шибко сторонится, только он не дурак, соображает, что появившись – сразу про отца вспомнит. Если бы в школу ходил, все проще, где-то на перемене зажал бы на парте, пощекотал. Девчонки это любят, хоть и повизгивают для вида. Все ребята так делают, если девчонка нравится, да и они тоже должны соображать, что не просто так парень тяжело дышит. Неделю назад Володька увидел ее во сне в голубеньком платье и такую улыбочивую, решил написать ей письмо, как в романах: «Я к вам пишу...». А что больше остается? Вот разве в библиотеку будет приходить, тогда удастся поговорить.

В район уехал на попутке, да и там недолго задержали. Заведующая посмотрела сельсоветскую бумагу и велела написать заявление. Володька старательно выводил буквы, все слова проверил – нет ошибок. Она глянула на листок и сказала, что приказ вышлет в совет, а к работе надо приступать немедленно. Прибежал домой к вечеру, обрадовал мать:

– Нанялся избачем, завтра клуб открываю.

– А жалованье?

– Какое жалованье? – удивился Володька.

Мать всплеснула руками:

– А робить ты за что будешь? Там же и полы надо мыть, и печи топить.

Володька припух:

– А мне не сказали.

– Узнай в совете и мне скажешь. Может, лучше скотником пойти, зимой, конечно, тяжело, зато летом вольготно, пасешь на свежем воздухе. – И вздохнула, вспомнила отца.

В библиотеке Володька кинулся было к широким дощатым полкам с книгами, но остепенился: в читалке месяцами не метено, на окнах тенеты, стекол в рамах не хватает, пыли и листьев с соседних тополей нанесло. Нашел ржавое ведро, драную занавеску с печи сорвал (попрошу мать, другую даст). Сбежал на колодец за водой, заодно наломал веток, подмел большой мусор, на скорую руку протер подоконники и рамы, помыл пол. Стало приглядней. Глянул в клубный зал, загадили его до последней крайности. Володька и дома часто мыл полы, когда мать на работе, так что и тут управил. В тумбочке стола нашел краски, оторвал вывеску у входа и старательно вывел: «Клуб. Библиотека». Приколотил, отошел в сторону, полюбовался: красиво!

Потом ходил вдоль полок и читал названия книг, попадались и знакомые, но редко, много надо еще прочитать. Исполнительница из сельсовета стукнула дверь:

– Звонили из района, завтра библиотечарша приедет тебе в помощницы, да бухгалтерша Федоровна велела сказать: зарплата у тебя 32 рубля.

Домой пришел к вечеру, надо по хозяйству управиться, только собрался, соседка мать под руки ведет:

– Ребятишки, горяшко-то какое, нетука теперь у вас отца.

Володька выхватил казенную бумагу, прочитал: «Осужденный Рюмин И.И. погиб во время производства работ на пилораме. Похоронен по месту отбывания наказания». Подпись и печать.

Через неделю приехала из района рыженькая девчонка, он видел ее в детском отделе, подумал тогда, что из читающих. На ней было легкое платьице с пояском и стоптанные туфельки, в руках тряпичная курточка. Рыжие волосы вились и были прижаты заколкой с ромашками. А глаза серые и большие, губки поджаты скромно.

– Меня зовут Валентина, а вы Владимир?

– И с чего мы на вы? – дружелюбно улыбнулся Володька. – Тебе сколько лет?

– Почти шестнадцать. Я после семилетки, но в техникум поступила.

– Молодец. Мы с тобой одноклассники. Чему учить будешь, Валентина?

И началось. Валя нашла журнал учета книг, полдня сверяли наличие, расставляли по полкам по авторам в алфавитном порядке. Скучная работа!

– А ты надолго приехала? – вдруг вспомнил Володька.

– На три дня, мне сказали.

Володька засмеялся:

– Уже все управили, осталось с формулярами разобраться. Два дня свободных. Хочешь, по грибы сходим, я заросли опять знаю.

– Мне еще сельсовет квартиру не нашел.

– Эка беда! – рассмеялся Володька. – У нас перекантуешься. На мать не обращай внимания, у нас отца убило.

– Господи, горе-то какое?

– Это далеко, он в тюрьме был. Ладно, пошли обедать.

Ели щи со сметаной и кукурузным хлебом из магазина, пили чай на листочках смородины.

Серьга не утерпел, прям за столом спросил:

– Братка, теперь она у нас жить будет? Вы жених и невеста?

Валя покраснела и выскочила из стола, Серьга получил плюху по затылку. Гостью поймал в дверях:

– Не слушай его, малек, что с него взять?

Пошли в совет искать квартиру.

За это время Володька научился ориентироваться в своем хозяйстве, заполнять журнал и вести учет. И все присматривался к девчонке, такая она славная, добрая, беспокойная. Глаза на Володьку вскинет, у того сердце в горлышке стучает. Валя табуретку поставила, чтобы на верхней полке прибрать, Володька осторожно взял ее за талию и опустил на пол. Девчонка вскинула голову:

– Зачем ты так?

– Не знаю.

– Не надо. Тебе просто пообниматься охота, а я так не могу.

– Да ладно тебе, подумаешь: в руках подержал. Я целуюсь с девчонками, и ничего, – напрополую врал Володька.

– Вот видишь, – громко упрекнула Валя. – А я так не хочу.

Анну Петровну дождался в переулке перед самым домом. Увидел ее издали и вышел навстречу. Были последние теплые дни сентября, она шла в спортивном костюме, в кедах, с косынкой на шее.

– Рюмин, а я к тебе, – она весело улыбнулась.

– Не надо вам ко мне приходить, по деревне уже разговоры пошли. – Володька хмурился.

– О чем, Рюмин?

– Про нас, что вы ко мне не зря ходите.

– Конечно, не зря. Хочу, чтобы ты продолжал расти и становиться культурным, грамотным человеком. Чтобы ты, наконец, понял, что учиться все равно придется, если не хочешь оказаться на обочине жизни.

Володька смутился:

– Ну, это вы так кучеряво, а наши бабы судят круто: ходит – значит, шуры-муры.

Анна Петровна засмеялась:

– Рюмин, кому это в голову пришло? Хотя, сказать честно, ты мне нравишься, и мы могли бы дружить, ведь я всего на два годика постарше.

– Как? – оторопел Володька.

– Да просто, после трех курсов училища ушла на заочное, так сложилось. Впрочем, зачем я тебе все это объясняю? Ты же девушку во мне не видишь, только Анну Петровну, которая двойки ставила, если проболтался. Ну, хорошо, если дома над тобой столь строгий контроль, буду приходить к тебе в библиотеку. Не выгонишь?

Володька стушевался, не зная, что сказать:

– Вы на меня не обижайтесь, Анна Петровна, я за вас переживаю.

– Вот и славно. До свидания. Да, а книги-то возьми.

А ведь Анна Петровна исполнила обещанное, каждый вечер приходила в библиотеку, он и сам не заметил, что ее рассказы о великих людях, мудрецах и писателях, стали ему интересны. Он просил их книжки, она приносила, и ночами, при керосиновой лампе со стеклом, читал, удивляясь, что мятущиеся души и судьбы книжных людей ему понятны, а поступки он тоже совершал такие же. Нет, он не заметил, что учительница стала обращаться к нему проще, поласковей, не как к непослушному школьнику. В тот новогодний вечер они устроили праздник для колхозников, правление выделило немного денег, Анна Петровна столько всего придумала, что даже бабульки вышли поплясать «цыганочку» под гармошку Николая Агаповича. Когда все разошлись, Анна Петровна устало села на стул и обмахивалась капроновой косынкой. Володька подошел, встал перед ней на колени и молча глядел в глаза. Она не ойкнула, не вскочила, нежно сжала руками его голову и поцеловала в губы. Он встал, держа ее за руки, и они долго стояли, глядя друг другу в глаза.

Лампочки три раза моргнули, дизелист на станции предупреждал, что через десять минут выключит электричество, он и так в честь праздника два лишних часа отработал. Володька очнулся, побежал за спичками и зажег настенную лампу, потом вторую, электричество погасло, и сумрак охватил комнату. Они опять сошлись, обнялись неловко и стояли, чуть отшатнувшись друг от друга.

– Володя, ты целовался с девочками? – прошептала Анна Петровна.

Володька подумал, что надо бы сказать о библиотекарше Вале, но не стал.

– А я целовалась с парнем. В училище. Ты не будешь ревновать?

Володька улыбнулся:

– Не буду. С чего мне вас ревновать?

Анна Петровна отошла назад.

– Ты и после поцелуя будешь меня учительницей считать? Володя, зови меня Аней, мне так очень нравится.

Володька неловко ухватил девушку в охапку и крепко прижал, чувствуя ее гулкое сердце, трепетное легкое тельце и щеки пышных волос.

– Аня, Анюшка, буду звать...

Анна высвободилась из непрочных объятий, опять поцеловала парня в губы.

– Володя, я уеду из школы в другой район, так надо, у меня там мама. Я тебе напишу письмо. Можешь приехать, только я скоро выйду замуж, жених мой в армии служит. Проводи меня.

Шли молча, простились за ручку, без поцелуев, да и все случившееся Володьке казалось видением.

Анна Петровна уехала из деревни сразу после Нового года, ему тогда стало тоскливо и совсем безысходно, даже поговорить не с кем. Больше он Анну Петровну не видел и писем от нее не получал.

Анна Петровна вернулась в село через десять лет, после окончания института директором средней школы, одна, без мужа и детей. С удивлением узнала, что Володя Рюмин окончил

вечернюю школу, потом Уральский университет, что у него большая семья и живет он в далеком городе. Бывший клуб переделали в квартиры, Анна Петровна заходила в одну, где когда-то был клубный зал и новогодняя елка, возле которой она целовалась с Володей. Ей было грустно. Хозяева, показавшие директору квартиру, были напуганы ее слезами и проводили чуть не до школы. В ее квартире было много книг. Она сходила в дом Рюминых, и мама, похвалившись сыном, спросила, не заберет ли Анна Петровна Володькины книжки. Тогда она полдня провела в их доме, разбирая мешки с книгами, которые накопил Володя и даже те, что она когда-то приносила ему. Мешки с книгами на колхозной телеге перевезли на квартиру директора, и уже через неделю учитель труда собрал в большой комнате целую стенку полок, сделанных учениками в школьной мастерской.

Анна Петровна была хорошим директором, ее уважали в коллективе, власти давали награды и звания. Вечером, когда школа совсем пустела, она приходила в свой ухоженный, похожий на гостиницу, домик, садилась в глубокое кресло, положив на столик несколько стопок книг из Володиных мешков. Она перебирала их, просматривая страницы, отмеченные его карандашом. Когда часы били полночь, она уходила в спальню и ждала новых снов, которыми жила. Ей снилась новогодняя елка, слышалось Володино «Аня, Анюшка!», потом моргал свет, и наступала темнота, которая принимала ее до утра.

К выходу на пенсию Анна Петровна собрала много материалов о земляке, ставшем известным ученым. По ее просьбе школьные краеведы отправляли сочиненные ею запросы, на которые профессор Рюмин время от времени отвечал, присылая фото дипломов, знаков, снимки с конференций, где он был рядом с большими начальниками и хмурыми генералами. Анна Петровна оформила большой стенд, посвященный Владимиру Ивановичу Рюмину. Когда в школу приезжали гости, она взволнованно рассказывала об удивительной судьбе деревенского мальчика, ставшего мировой знаменитостью. Никто не догадывался, сколько за взволнованностью и сдержанностью было желания рассказать о книжках, какие она носила Володе, о новогодней ночи в сельском клубе и нескольких поцелуях, застывших всю остальную жизнь.

Повстанец

Село Афонино зажато между узенькой речкой Сухарюшкой, грязноватым прудом Гумняха, раньше на той стороне гумна были у крестьян, и широкой старицей Афонино же с двумя рукавами, Большим и Малым омутами. Афонино потому, что первым человеком, которого на новом месте увидели вологодские переселенцы, был рыбак Афоня, одиноко живший в землянке, вырытой в крутом берегу. Правда, в новые времена некоторые краеведы пытались связать имя с великим Афоном, но то пустое. Сама старица больше по форме походит на озеро, да так в народе и зовется, а омуты оправдывают свое название: глубокие, без единой лопушки или балаболки, не говоря о камышах. Малый узкий, до тридцати метров шириной, а Большой размахнулся, от края до края не доплыть, если на ветер, а в конце хитренько увильнул в узкое прямое русло с названием Прорва.

Старики говорили, что в давние времена каждую весну приходила большая вода, где-то далеко скапливал свои воды Ишим, сдерживался льдом, частыми мостами, а потом вырывался на волю и диканился, разбойничал: мосты сносил, камыши вырывал с корнем, прибрежные

кусты срезал острой льдиной, и все это несло вниз, пугая и гоня впереди себя все живое. Сказывают, что стая волков добежала до высокого берега и полдня отлеживалась, мужики хотели пострелять, да пожалели, уж больно худые и жалкие были звери, к тому же волчицы беременны. Зато большая вода вычищала старицы и озерки, приносила рыбу и обновляла местных обленившихся щук, карасей и прочую мелочь.

На крайней улице с названием Голая Грива (выгорала она в старые времена) жил Павел Матвеевич Мендильев, по-деревенски Мендиль со своей женой Ефросиньей Михайловной. Колька был совсем маленьким, когда отец Максим Петрович брал его с собой к Мендильевым слушать радио. В большой и чистой избе, прямо под иконами в переднем углу стоял большой красивый ящик на тумбочке и назывался «Родина-52». Из него пели сестры Федоровы, смешили Штепсель с Тарапунькой, величаво и торжественно звучал ансамбль песни и пляски Советской Армии. В одно и то же время раздавался приятный, но чужой голос, который объявлял: «Говорит Пекин. Начинаем передачу для советских радиослушателей». А после того, как Русланова отчебучила свои знаменитые «Валенки», или какую другую задорную песню, дед Павел кивал жене, и она выставляла кринку устоявшейся бражки.

Потом Колька узнал, что бабушка Ефросинья, а по-простому – Апросинья, – родная сестра дедушки Петра Михайловича, потому отец зовет ее теткой. Колька помнил из того времени, что дед Павел всегда вынимал ему из шкафа пряник или конфетку. А бабушка этого не делала, если деда не было дома. Отец объяснил потом, что Апроха с дедом Петром были самые скупые из всей семьи, даже родитель их Михаил Игнатьевич за это осуждал и дивился, в кого пошли.

Летом Колька видел у соседнего с деда Мендиля дома бородатого угрюмого старика, сидящего на бревнышке с толстой палкой. Отец здоровался с ним, а старик ни разу не поднял головы.

У деда Павла была небольшая ловкая лодочка, с нее он ставил сети на мели Большого омута, фитили в камышах Мыска и морды, большие плетеные круглые короба. Когда подрос, Колька в свободные дни просил у деда ключ от замка, которым лодка прикована к столбу, весло брал с вечера, чтобы утром не беспокоить хозяев, и прятал в траве на берегу, рано утром лодку отковывал и тихонько уплывал под крутой берег Малого омута.

Белесый туман мягкими охапками еще перекатывался по зеркальной воде, но солнце уже вставало, промокший в траве и камышах Колька начинал обсыхать, а согрелся, пока греб к своему любимому месту. Сразу поймал двух чебачков, размотал толстую леску с толстого удилища, которое называется крюком, и на большой крючок под спинной плавник насадил живцов. Крюка закинул по разные стороны лодки и стал ловить на удочку чебачков и окуней, поглядывая на массивные поплавки крюков. Когда поплавок крюка сбулькал, нырнув в глубину и в сторону, Колька понял, что это щука, мгновение потерпел и дернул подсечку. Щука ударилась о днище лодки, он вынул крючок и переломил щуке лен – так рыба остается мягкой.

Потом, когда Колька учился уже в седьмом классе, отец, проходя мимо обросшего и молчаливого старика, сказал ему:

– Это Трушников Демьян, он в восстание коммунистов и комсомольцев казнил.

Колька удивился:

– Комсомольцы были уже при советской власти, как он мог их казнить?

Максим Павлович огрызнулся:

– Сказано тебе: восстание против советской власти. В двадцать первом, мне десять годов было. Вот он и был тут зачинщиком.

– А почему он в живых остался? Товарищ Сталин не давал пощады врагам народа, – уверенно возразил Колька.

– Ну, ты шибко-то не выступай. Сталина тогда еще не было, был Ленин.

– Тем более! – стоял на своем Колька.

– Потом пришла Красная Армия и всех бандитов разогнала. Главарей арестовали и судили в городе. Трушникову дали двадцать пять лет, он долго скрывался, где был и что делал – не знаю, а в дому его сродственники жили, примерли к тому времени, дом заколотили, вот, сохранился. Тут он и живет.

Колька не мог понять, почему среди простых советских людей живет бандит, пусть отсидел свой срок, но был враг, врагом и остается. Он уже боялся проходить рядом с сидящим дедом, а на велосипеде проскакивал по противоположной стороне улицы. Дедушка Мендиль спросил однажды:

– Ты соседа-то нашего видел?

– Видел, – кивнул Колька.

– Отец про него тебе рассказывал?

– Ага, говорил.

– А ты его не боишься? – улыбнулся дедушка.

Колька смутился:

– Ну, не то, чтобы боюсь, а все равно страшно, раз он убивал.

Дед Мендиль засмеялся густым приятным смехом:

– Колька, дак и я убивал, раз на войне был. И отец твой тоже, не зря ему фашисты ногу отстрелили.

Колька возразил:

– Не отстрелили, а осколок попал, потом заражение крови, вот и отпластнули по самое колено.

– Я что про Трушникова-то начал. Он тебя давно заметил, хочет поговорить.

Колька вздрогнул:

– О чем?

– Откуда мне знать? Может, про школу что спросит. А может на рыбалку позовет.

Колька сразу ответил, что на рыбалку он с бандитом не поедет, а если тот просит, то подойдет.

В тот же день и подошел, поздоровался.

– Присаживайся на скамейку, в ногах правды нет. Боишься меня? Наплели тебе люди про мои зверства, так?

Колька помялся, но вынужден был кивнуть.

– Ты в каком классе?

– В седьмом.

– А годов сколько?

– Пятнадцатый.

Дед Трушников кивнул:

– Моему сыну тоже было пятнадцать, когда его убили.

Колька молчал, да и что сказать? Но Трушников уточнил:

– Коммунисты убили. Пришли хлеб забирать, а меня дома не было, по делам уезжал. Вот в этой ограде...

Отряд продразверстки прибыл в Афонино накануне вечером, прошел слух, что в соседней Пелевиной пятерых мужиков связали и увезли милиционеры, а хлеб выгребают до зернышка. В отряде том русских почти нет, все поволжские инородцы, кроме матерков никаких слов не знают. Еще «хлеб», «убью» и «баба нада», за бабу, сказывают, три пудовки зерна оставляют. Ночевали в совете, полночи пили самогонку, председатель всех, кто приторговывал, объехал, с матерками конфисковал в пользу пролетариата. Ребята эти, говорят, набраны были в глухих деревнях, от голода пухли, потому что неурожай третий год, а власти сказали, что хлеб у сибирских кулаков припрятан, надо поехать и под силой оружия этот хлеб и другие продукты забрать и накормить свои семьи. Вот они и старались.

Тактике их научили при конторе губернского продовольственного комиссара Гирши Самуиловича Инденбаума. Прибываете в село, там должен быть ссыпной пункт для зерна, если крестьяне добровольно выполняют задание по разверстке. Сразу в совет, старший берет списки злостных уклонистов, скрывающих хлеб от пролетариата, совет дает две или три подводки с хлебными ящиками на санях, и поехали. Ворота, конечно, для отряда не открыты, потому приходится бить в калитку прикладом винтовки. Обычно выходит сам хозяин, спрашивает, что надо. Присутствующий член совета достает папку, вырезанную из голенища кирзового сапога, находит в нем бумажку, в которой значится, что крестьянин этот сеял пшеницы пять десятин, при нынешнем урожае в сто с лишним пудов пяток кулей на первый случай у него взять можно. Плановое задание он выполнил с первых снопов, десять кулей пшеницы, три мешка овса и мешок проса.

А член совета головой качает, мол, что ты дурака валяешь, то задание – цветочки, губпродкомиссар товарищ Инденбаум довел новое задание, а если проще – забрать весь наличный хлеб, потому что сибирский крестьянин очень хитрый, он уже припрятал столько зерна, что хватит и прожить, и – погляди весной: выйдет с лукошком сеять. Спроси, где семена взял, ведь все велено было сдать, а он усмехнется: «Бог дал!».

Хозяин из всех незваных гостей знает только члена совета, к нему обращается с пояснением, что хлебишко есть, но ведь семья, не токмо накормить, но одеть-обуть надо, да и инвентарь обновить кой-какой. Член совета, сам местный крестьянин, все без слов понимает, но он знает больше своего земляка: не отдаст добром – заберут силой. Так и говорит напрямую, когда командир отряда чуть в сторонку отошел, а может и специально дал им возможность перемолвиться. Иной мужик отворяет амбар: нагребайте, раз надо советскую власть спасать, раз Ленин на голодном пайке страной руководит. Тогда все мирно, мешки в ящик составили, от совета бумажка с печаткой, ни имя, ни отчества, а только цифра: 9 января 1921 года сдал в разверстку столько-то хлеба.

А иной заартачится: по какому такому праву, я поставки выполнил, никому ничего не обязан. Тут много от представителя совета зависит. Если ретивый и хочет верхним властям угодить, тут же дает команду сбивать замок с амбара, да не с одного, а со всех. У чухонцев ломы и кувалды, да и наострились уже ребята, главное – по пьяному делу напарнику по руке не угадать. Отщелкнулись замки, кинулся хозяин, а чуваш или татарин уважительной улыбкой ощерился, винтовку вперед выставил со штыком: подходи, дорогой. До штыка хватает запалу у мужика, а как железо прямо в пупок уперлось, трезвеет, холодным потом покрывается,

крупной дрожью всего колотит, но смиряется, садится на крыльцо, жена выскочит, другую шапку наденет, первая вон в ногах у артельщиков валяется.

– А сына вашего за что убили? – несмело спросил Колька.

Трушников долго молчал, курил самокрутку, усы и борода пожелтели от табачного дыма, нечесаная шевелюра скрывает всю голову, на плечах лежит. Что и видит парнишка – нос ядреный и глаза, чистые и голубые.

– Вот за это самое и убили. Приехали с разверсткой, он дома за старшего, вышел, калитку открыл, те вроде кинулись, а он встал на пути, увидел знакомого от совета, говорит ему, что без отца во двор никого не пустит. Ну, ребята там были оторви да брось, вмиг мальчишку с ног сбили, советский вроде заступился, и ему в рыло, это его и спасло, я в живых оставил. Сынок к собаке, у меня овчарка кавказская была сторожевая. Чухонцы залопотали, один вскинул винтовку и убил собаку. Парнишка опять к воротам. Ну, верховой шашку выхватил, видно, служил в кавалерии, приходилось, устосал парнишку. Тут народ сбежался, бригаду связали, увели в совет. Председатель перепуган, звонит в уезд, так, мол, и так, продотряд арестован, я сам под ружьем, срочно выезжайте. А я приехал раньше...

Он приехал глубокой ночью на тройке добрых коней, запряженных в легкие санки с кошевкой, ехал из Травнинской волости, где собирались мужики обсудить и понять, что же происходит с властью, и как себя дальше вести. Пустое, ни о чем не договорились: жаловаться некому, местная власть глаза отводит, голытьба лютует: грабь награбленное! И грабят потихоньку. А сегодня уж продотряды по волостям поскакали, сказывают, что у них права, как у колчаковских карателей в недавние времена: чуть что – руки за спиной веревкой свяжут, а не доходит – в ствол винтовки заставят глянуть. Поневоле посмотришь, если к самому лбу... А потом и решай, отдашь коней и сам вместе с ними в отряд, или к стенке. Этим коней не надо, им зерно подавай, на уезд такое задание повесили, что вплоть до семенного выгреби по амбарам и сусекам – не закрыть цифру.

К дому подъехал, и ахнул: ворота настезь! Выскочил из кошевки, скинув широкий тулуп, метнулся в ограду, а на крыльце брат с кумовьями курят, фонарь висит.

– Кто? Мать? – снизу вверх смотрит на родственников и видит – нет, не старая мать, что чуток прихварнула. – Да не молчите же вы! Кто?

– Федя, – выдавил имя брат.

– Врешь! Как, говори, Касьян!

– Продотряд не пускал во двор, его какой-то басурман шашкой прямо с коня, голову развалил.

Демьян не вбежал – влетел на высокое крыльцо, через сенки и кухню, и в раскрытые двери горницы увидел сына своего, лежащего на не строганных досках, закинутых половиками, а лица не увидел, кинулся сорвать окровавленную тряпицу, да вовремя поймали:

– Нельзя тебе смотреть, Демьян, не следно.

Жена было бросилась к нему, ее тоже удержали. Его вывели во двор. Коней уже управили, санки затолкали под сарай. Демьян сел на нижнюю ступеньку крыльца, охватил чубастую голову руками. Потом словно очнулся:

– А сейчас они где, отряд этот?

– В совете. Наши ходили, смотрели: пьянствуют, Дыля и Маркуня с ними, потаскухи.

– Касьян, запряги мне Рыжего в санки, – сказал брату. – Сходи в дом, тихонько пройди в комнатку, где мы спим, над кроватью ружье, под кроватью в подсумке патроны. Вынеси, чтобы никто не видел.

– Да как же, Демьян, люди сидят...

Демьян вскочил:

– А ты пронеси, заверни, в штаны спрячь, ужом проползи, но вынеси.

Сам пошел в избушку, половицу приподнял, развернул в промасленной тряпице револьвер, что с гражданской принес, горсть патронов в карман сунул. Под навесом нащупал бутыль с керосином, обернул холстиной, поставил в передок санок. Достал подготовленный черен для вил, веревкой примотал охалку льняной кудели, кинул в сани. Тронул вожжи:

– Мужики, если что – я приехал на зорьке, и вы все тут были, видели.

Мимо совета, который занял волостной дом, проехал шагом, заметил на крыльце человека, лампа горит в комнате. В конце улицы развернулся, остановил коня у крыльца, вышел из саней. Видит, что дремлет охрана.

– Эй, служивый!

Часовой очнулся:

– Цего хотела, гражданина?

– Продотряд ищу, я из уезда. Сказали, что арестовали вас.

– Отпустила совет. Спит отряд, сперва бабу мяли, теперь спят, винка много было.

Демьян смело поднялся на крыльцо, сильно ударил мужика ножом, которым скотину колот, тот и не смамкал. Спустился, взял бутыль и приготовленный факел, быстро с револьвером в правой руке и бутылью под мышкой прошел в большую комнату. Человек десять спят на кошме и тулупах, тут же и местные потаскухи. Осторожно перешагнул через тела до окон, облил их керосином, потом навалил бутыль, жидкость забулькала, он не стал ждать, приподнял посудину и вылил прямо на лежащих у входа. Плеснул на фитиль, вышел в сени, чиркнул спичку и вспыхнувшую куделю на черене кинул в комнату. Яркой вспышки не видел, накинул на клямку замок и провернул ключ. Выдернул забытый было нож из обмякшего тела часового, сел в кошевку и ждал. Пламя охватило всю комнату, стекла полопались, кто-то еще успел крикнуть, а дальше только гул огня и лай соседских собак.

Демьян шевельнул вожжи, конь шагом пошел вдоль улицы, оглянулся: горит совет, людей не видно. Подъехал к дому, брат подбежал, завел коня и шепнул:

– Иди в баню, разболокайся, обмойся, несет керосином сильно. Иди, я тебе всю одежду чистую принесу тихонько.

Демьян и сам понимал: все надо сжечь, вплоть до шапки и полушубка. В бане расшевелил угли, кинул белье, стеганые штаны и вязаную кофту, потом засунул полушубок, шапку и рукавицы. Долго мыл руки, тер песком, принимался – вроде не пахнет. Хорошо промешал в печке, выгреб железные пуговицы и крючки, бросил под полку. Оделся, вышел – в морозном воздухе пахло свежестью, ветер уносил запах пожарища в другую сторону. Постоял, стал мерзнуть, пошел во двор, где жило его горе.

Колька слушал, сжавшись в комок. Он боялся поверить, что все это действительно было в его деревне, и дед Демьян – это тот самый человек, который заколот, как поросенка, часового, и сжег заживо десяток человек из продотряда и двух гулящих – Дылю и Маркуню. Дед дымил своей самокруткой и молчал.

– Вас потом милиция нашла?

Дед Демьян хмыкнул:

– Как они найдут, если меня никто не видел? Ближе к обеду согнали народ, давай пытать. Понятно, меня в первую очередь, хотя я у гроба сына убиенного сидел – нет, пошли на допрос. Предъявляют, что у меня была причина, месть за сына, ответил, что причина была, да так и осталась, за сына кто-то должен ответить, а я приехал из Травнинской волости под утро, засиделся в гостях, а тут уже одни головешки. Да мне и не до того, сын на смертном одре, а я бы побежал любопытствовать. Тому много свидетелей, все они у меня дома были и видели, когда я объявился.

– А дальше? – робко спросил Колька.

– На третий день сына предали земле, без отпевания, потому что попа отправили на Урал лес пилить, я оставил около жены и детишек малых теток своих, а сам ушел в избушку думать. Хлеб у меня выгребли до зернышка, в сусеке мышь повесилась с голоду, но припас у меня был, да и у всех хозяев был, потому что видели, куда власть правит. Но что совет умодил: собрали ребят и девок из школы, выдали им пики, и отправили по домам схроны искать. Пришли и ко мне:

– Дядя Демьян, нам велено спрятанный хлеб искать. Если добровольно не сдадите, станем пиками протыкать и искать зерно.

– Откуда начнете, ребята? – спросил я.

Старшая отвечает:

– Чаще всего, как нас учили, зарывают хлеб под сеновалом или в пригоне.

Повел на сеновал, потом в пригон – нет ничего. Ну, не стану же я им объяснять, что хлеб прибрал еще по осени, сверху ямы потолок надежный, потом земля. Тычь прямо над ямкой – застыл грунт, ничем не взять. Пустое все это.

А на другой день новый отряд прискакал, опять поехали по дворам, правда, ко мне не подворачивали. Но слышу: там рев, в другом месте стрельба, к обеду мужики стали собираться у совета. Вышел вперед командир отряда, сказал прямо:

– Велено весь хлеб забрать, все мясо, а сегодня утром новый приказ: забирать на хранение под роспись семенное зерно. Так что, мужики, не сопротивляйтесь, решение это твердое.

– А нам чем жить?

Красный командир ответил:

– Перебьетесь. До весны на картошке, а там, как сказал губкомиссар товарищ Инденбаум, траву будете жрать, корешки рыть.

Выскочил один наш:

– Граждане, дак ведь это насмешка! Семенной хлеб отдать, а потом с кого спросишь? С тебя? – он ткнул пальцем на командира. – Или с них, иноверцев-нехристей? Нет, семена не отдавать ни под каким испугом. Без семян нам гибель.

Толпа кричит:

– Верно! Едовой забрали и отстаньте, семенной не дадим.

Командир выхватил револьвер и вверх пулянул:

– Ишь, как вы осмелели, что загубившего наших товарищей не нашли! А я вот сейчас возьму в заложники баб и ребятишек, сразу как миленькие, станете.

Я долго терпел, а как он о ребятишках заговорил, у меня в голове помутилось.

– Это что, – говорю – за власть такая, которая свой народ гонит на гибель и детей велит губить? Вот что я тебе скажу, командир: забирай своих ребят по добру–по здорову, да ехайте в уезд и скажите этому Бауму, что крестьяне костями лягут, но зорить хозяйство не допустят.

Командир вскочил на своего мерина, ярует, только опасается, как бы сзади не наскочили. Кричит:

– Как твоя фамилия, говори!

– Трушников. Запомни. У нас с тобой встреча будет первой и последней.

– Это что, бунт? Да я вас завтра из пулеметов...

Кто-то изловчился и хлестнул его коня длинным кнутом, конь взвился, седок едва не свалился, выправился и крикнул:

– Отряд, рысью за мной!

– И все? – удивился Колька.

Дед Демьян хмыкнул:

– Да нет, началось все с этого...

Вечером он зашел к брату и велел обойти кумовьев и сватов, кого крепко обидела советская власть, собрать их и решить, как быть дальше. Продразверстка не закончилась, завтра жди усиленный отряд, шулки шулками, но и пулеметы могут поставить на санки, а их зазря не возят. Мужики собрались быстро, ушли в столярку Архипа, Демьян печку растопил стружками и обрезками, буржуйка раскраснелась, заподрагивала, дала тепло. Мужики поскидали полушубки, сели кто где: на верстак, на лавку, на чурку, сбросив с нее недоделанную ножку к табуретке. Все чего-то ждали. Демьян понимал, что ему надо говорить, а с чего начать, никак не насмелится.

– Я на днях в Травной был, тесть у меня там, их славно потрясли, обещали еще. Тамошние мужики говорят, что приезжал человек, навроде, из военных, науськивал, мол, если крестьяне выступят, то поддержка будет.

Агафон Плеханов переспросил:

– Выступят – это как? Прискачет к нам завтра отряд, мы его, конечно, можем встретить у деревни, надо только перед тем коммунистов и советских повязать. Перебьем. И что? Через день уже из пушек будут деревню долбить. И при Колчаке такое было.

Семен Золотухин высказался:

– Если сидеть и молчать, чем это кончится? Голодом и гибелью. Вот он давеча сказал слово бунт, командир продотряда. Они завтра уже едут бунт усмирять. Стало быть, повяжут, указать на крикунов есть кому, сволочи всегда были. А тебя, Демьян, точно подозревают в пожаре, кто-то видел твоего коня у совета, это мне кума сказала, она в совете счетоводом.

Демьян кивнул, мол, понятно. И сказал свое мнение:

– Если мы у деревни или в деревне кого-то из власти грохнем, а потом скроемся, то семьи-то тут останутся. На бабах наших, на стариках и детках отоспятся и разверстка, и милиция, и вся родная советская власть.

– У вас выходит, что и в телегу не легу, и пешком не пойду, – развел руками Яша Моргунок. – Первое: сопротивляться не моги, будь что будет. Что будет – дураку понятно. Другое: бить нельзя, отомстят. И к чему мы приехали?

– Вот что я думаю, – откликнулся Демьян. – Бить их у родного порога не надо, и мы никого не тронем. Но мы должны сегодня же ночью уйти в ту же Травную, там нас никто не

знает, там можно поквитаться с разверсткой и махнуть в другую волость. А к нам отправим травнинских, с них какой спрос? Главное, что семьям нашим предъявить нечего. Где мужья? А хрен их знает, может, зверей гоняют или пьянствуют на заимке.

Мужики заговорили, в предложении Демьяна Трушникова был резон, семьи помурывают и оставят, а отряд будет перемещаться из села в село, наводя порядок, уничтожая врагов народа, активных коммунистов и комсомольцев, новых учителей и избачей, а так же и милиционеров.

– А лежбище все равно надо где-то делать, – напомнил Агафон Плеханов. – На заимках нельзя, след укажет, где искать. В деревне – заметно.

– В камышах, – подсказал Моргунок. – На Гнилом болоте такие заросли, что только на лыжах. Я там ондатру ловлю и иного зверя, ходы есть, только надо глубоко забираться, чтобы даже костра не было видно. Из камыша можно шибко теплый шалаш сделать, да снегом обвалить – с костром не замерзнем.

Кто-то засмеялся, что в шалаше сидеть не будешь, воевать надо. Семен Золотухин заговорил тихо про то, что поднимутся две-три волости, сколько-то мы побегаем от села к селу, на свою задницу грехов насобираем, а остальные? Ведь если не встанет вся губерния, вся Россия, нас просто выкурят из болота к весне и освежают. Вот в чем вопрос. Себе на приговор мы в двух-трех волостях наскребем, а делу-то поможем ли? Тут надо бы глубже глядеть, ведь кулак поднимаем не против разверстки, а супротив государства. Эта чухня не сама по себе приехала, их власть направила, Ленин, а он шутить не умеет, царская семья во главе с государем Николаем Александровичем – не нам чета, однако дал команду, и всех к стенке, даже детей не пожалели.

Трушников разозлился:

– Знаем, Семен Захарович, что ты мужик грамотный и начитанный, а мы серые и пегие перед тобой. Дак научи! Что утре делать? Хлеб-соль на рушнике выносить этому нехристу, который сына моего порешил? Баб своих вечером им на утеху вести? Али не так? Да так и будет! И корни рыть, и траву жрать станем по весне, как учит товарищ Баум.

Золотухин встал, отряхнул стеженье брюки от опилок, поклонился хозяину и пошел к дверям. У дверей повернулся:

– Не обессудьте, мужики, но в бандиты я не пойду. Все отдам, но останусь дома. Если надумаете – слова никому не скажу. Прощайте.

Демьян вскочил:

– Вот так-то оно лучше будет. Вы как хотите, а я как знаю, на зорьке подамся в Травную. Ночь впереди, думайте. То, что я выложил, самое подходящее, и делу поможем, и дома сохраним. А теперь расходимся. Кто не выедет на зорьке – язык зажмите. Даже домашние мои и ваши знать не могут, нельзя. Винтовки у каждого есть, патроны тоже, а нет, так добудем. Горбушка хлеба и шмат сала, фляжка самогонки на всякий случай. Никого не агитирую. Жизнь прижмет – сами найдете нашу артелку.

– Той ночью я двух добрых коней оседлал, хлеба и сала в подсумок кинул, но больше патронов к винтовке и револьверу. Даже жене ничего не сказал, мол, поедем с мужиками волков погоняем. Конечно, она по мне видела, что не на такого зверя я собрался, но слова не сказала, перекрестила, на колени пала: «Пусть тебя охранит Пресвятая Богородица!». Я в седло и поскакал на выезд, там уже трое. Погарцевали, дождались еще троих. Молча рысью в сторону Травной. Только в село въехали, двое сзади и спереди тоже с ружьями: «Стой, кто такие?». Я по голосу свата своего узнал: «Кирилл Прокопьевич, пошто так гостей

встречаешь?». Смотрю, стволы вниз, и мы спешили. «Ждем гостей, обещали седнешним днем все сусеки подмести, сошлись мы и решили, что этих кончим, а там видно будет. Свои-то все связаны, в совете под охраной сидят».

Демьян перевел дух, Колька воспользовался:

- Получается, что они решили разверстку убить и ждать, как и ваши хотели?
- Точно так и решили...

Демьян свата в сторонку отвел и про свой план кратко сказал. Не надо у родного дома гадить, за семьи страшно, а разметаться по уезду и бить коммуну там, где никто не знает, кто прискакал и навел порядки. Это смятение будет у власти, зачнет мозгами шевелить, как утрясти раздрай с крестьянством.

Сват со своими скучковались, человек пять сразу откололись, остальные до дому, собраться основательно. Демьян успел спросить у свата, кто в охранении в совете, есть ли знакомые. Назвал он двоих мужиков, известных ему, договорились встретиться на этом же месте и поскакали. Верно, дверь совета на крючке, Демьян постучал, голос:

- Кто такой?
- Михей, это Демьян Трушников, отворяй.
- Вошли, двое на лавках спят, полушубками укрылись.
- Сколько у тебя под охраной?
- Семь человек.
- Чем провинились перед народом?
- Дак коммунисты, актив – бай бюжи! Обещали коммуну построить. – Михей хохотнул.
- Что решили с ними делать?
- Не знаю, наше дело – чтоб не сбегли.
- Слушая меня, Михей, вам не с руки о своих земляков руки марать, приказ Кирилла

Прокопьевича: быстро домой, все патроны и порох собрать, родным ни слова: на охоту едем, и все дела. Охраняемых я у тебя принимаю. Понял?

- Как не понять!
- Через полчаса на выезде в сторону Афониной.

Закрыл за ребятами дверь на крючок, своим велел винтовки приготовить, сам револьвер достал. Задвижку дверную дернули, фонарем осветили комнату. Двое спят, пятеро сидят, руки связаны. Велел разбудить спящих. Те с трудом встали и тоже сели на лавки. Трушников разглядел девичье лицо.

- Ты кто такая?
- Учительница. Приехала учить детей.
- А в церковной школе разве плохо учили?
- Конечно, плохо. Закон Божий, Псалтырь? Кому это надо?

«Как она резко говорит, или не понимает ничего?» – изумился Демьян, и спросил: – Ты комсомолка?

- Конечно.
- Отрекись от комсомола, и я тебя отпущу. (А ведь и вправду отпущу, если отрекется).
- Девушка хотела встать, но, оказывается, и ноги связаны.
- Я никогда не отрекусь от комсомола, от идеи коммуны, – четко сказала она.
- А если я тебя за это расстреляю?

– Стреляйте. Но помните: коммуна непобедима, и за меня вам отомстят.

Демьян поднял револьвер и выстрелил ей прямо в лоб. Остальных стреляли из винтовок, одного раненого Демьян добил из револьвера.

– Пусть все так и остается. Обождите.

Он свернул газету и разлившейся по полу кровью написал на белой стене: «За разверстку. Рысь». Когда выходили, брат спросил:

– Рысь-то тут причем?

Демьян, опьяненный побоищем, улыбнулся:

– Я буду Рысь. И везде стану расписываться, даже на спине самого Баума, если доведется.

Жаркий до зноя июль. Полуоткрытую створку окна длинным кнутовищем прямо из ходка подвигает колхозный бригадир Горлов. Но по фамилии его никто не зовет, Иван первым из послевоенного села служил на флоте и получил прозвище Моряк. Иван-Моряк. Он не обижался, а напротив, гордился, даже в глаза так звали – без обид.

– Марья, буди Кольку, сена метать начинаем.

Полусонный Колька пьет свою кружку молока, выбегает на улицу. Такие же полусонные друзья тянутся к избе Ивана Сергеича, он запрягает Пегуху в ходок, подходят женщины и девчонки постарше. Ребятишки – копновозы, парни – кладельщики, девчонки подскребальщицы. Иван Сергеич будет метальщик, кого-то еще в пару возьмет.

Рабочий день измеряется не часами – стожками сметанными. Опытные мужики вдвоем ставят шесть стогов, зимой приедут бабы, у каждой пара коней с широкими санями, разочнут стог и станут укладывать на сани, да чтоб не развалился дорогой. Колька знал всех этих женщин, они жили рядом, в Цыганском таборе, так этот уголок назывался, да еще на соседней улице, имя которой Колька боялся вслух произносить. Прозвали ее Мертвой улкой, потому что раньше покойников после отпевания в церкви несли на кладбище по этой улице. Как-то он спросил отца:

– Папка, а почему Фандорины Анна с Ниной, три сестры Гловых одни живут, без мужиков, без ребят?

Отец покашлял, про себя удивился, что сын такие вопросы задает, но ответил:

– Дак ведь война была, ихние женихи там погибли.

– А почему они зимой и летом на конях работают? Это же тяжело.

– Потому, Колька, что заступиться за них некому.

Сенокос – работа артельная, веселая, девчонки с грабельцами песни поют, а Ивану Сергеичу с Антоном Николаичем не до песен, они чуть не пляшут вокруг стога, мечая тяжелые навильники сухого сена под цепкие грабли вершильщицы. Три копновоза не успевают обеспечивать их работой, Иван Сергеич матерится, велит кладельщикам на девок шары не пилить и копны укладывать плотнее.

– Уминать их, что ли? – огрызается паренек.

– Уминай. Слови вон Гальку Софьи Аверьяновны, да и помнись.

– Я тебя, учитель хренов, граблями-то зацеплю да отбущаю, как следует!

Забыл метальщик, что у него на стогу стоит сама Софья Аверьяновна. Повинился, а кладельщику показал огромный кулачище.

Когда солнце над головой, Иван Сергеич втыкает вилы, чтобы конь или человек нечаянно не напоролся, то же велит и кладельщикам: перерыв, в такую жару ни люди, ни кони не

выдерживают. Гнус заедает коней, виснет роем на нижней губе и в промежности, кони тычутся мордой в сено, бьют ногами. В перерыв копновозы отцепляют волокуши, скидают хомуты и скачут наперегонки к Мараю или к Темному, и кони в предвкушении купания аж запоржаживают. Недолго длится удовольствие, свист Ивана Сергеича, как у Соловья-Разбойника, далеко слышать. Значит, надо возвращаться. Ребятишкам нальют большую чашку мясного супа и дадут по ломтю хорошего хлеба. Полежать не дают, вон уж Иван Сергеич торжественно воткнул вилы в плотный слой сросшихся десятилетиями корней разных луговых трав: тут быть стогу.

И опять все по кругу. У Кольки к вечеру начинает болеть голова, а то и кровь пойдет носом. Ничего, чуток полежит на спине, кровь присохнет, и опять берет за узду Гнедого, ведет в поводу, сидеть уже нету сил.

А домой едут на двух ходках, мужики накуриться не могут, весь день без табака, девки шушукаются, а бабы начинают песню:

*Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?*

Кольке больше всего нравились частушки, бабы пели их поочередно, а кто-то выстукивал ритм деревянной ложкой на доньшке подержанного ведра:

*Вот и думай думушку:
Оставил свою девушку.
Сам поехал воевать,
Её оставил горевать.
Мы с подругой сиротинки,
Наши дrolечки в бою.
Проливают кровь горячую
За Родину свою.*

А потом неожиданно вырвется озорное:

*Ты подружка дорогая,
Ты меня не предавай,
Буду сыпать из нагана,
Ты патроны подавай!*

Колька ждал дождя, тогда отменят сенометку, и он пойдет к деду Демьяну. Странно, но он и сам не заметил, что перестал бояться этого угрюмого старика с глухим сильным голосом, даже осмелел и задавал вопросы, на которые дед терпеливо отвечал.

— Копны возишь? — не здороваясь, спросил дед Демьян. — Я при единоличной жизни шибко любил сенокос, а малым когда был, тоже копны возил. Все так же было, хоть и

шестьдесят лет прошло, ничего нового коммунисты не придумали, все на пупу. Нарушили жизнь, сволочи.

Колька притих: впервые дед так отозвался о власти.

– Дальше будешь слушать или боишься? Страшное стану говорить, новой раз даже вздрогну: а со мной ли было этакое? А потом смирюсь: со мной, и все помню до нитки, как вчера было.

Он свернул толстую самокрутку из газеты, засыпал крупно рубленым самосадом, подпалил, бумага вспыхнула, он на нее дохнул, усмирил и крепко затянулся. Рой мух, обитавших около скамейки, сразу исчез. Колька колупал палочкой сырую землю и доставал дождевых червей, палочкой их раздвигал, и обе половинки уползали в разные стороны.

– Зачем ты их порвал? Пропадут теперь. Вот тоже тварь, а жить хочет.

Он опять затянулся, воткнул окурочек в протухшее под дождями и солнцем толстое бревно, смачно сплюнул в сторону:

– Ну, кончили мы с тобой большевичков в Травной, и поскакали в Лебедевскую, уже по свету. Догоняем кошевку, и сидит в ней купец Бырдин, жил большим домом в Травной, а магазины держал во всей округе. Я его знаю, он меня нет. Велю кучеру остановиться.

– В чем дело, мужики? Я с семейством еду в гости.

А у самого сзади кошевки сундуки привязаны, друг на дружке.

– Зачем же ты в гости столько сменного белья взял? – спрашиваю.

А он достает револьвер и командует:

– Уступите дорогу, разбойники, а то стрелять начну.

Конечно, мои ребята со смеху покатались. Говорю ему:

– Бырдин, отдай золотишко, живым отпустим.

Баба его кричит:

– Христофор, отдай все, что просят, не то погубят они нас.

– Чего не хватало! – возится в медвежьей шубе купец. – Нажито годами, и отдай неведомо за что.

Отвечаю ему:

– За жизнь свою собачью, за бабу твою и детишек. – А сам вижу – кучер уже к лесу подкрадывается, бежать хочет. Кивнул я парню, тот прицелился, кучер завалился. Лошади от выстрела вспрянули, но наш хлопец уже держал под уздцы. Бырдин пыхтит:

– Нету золота, могу бумажные рубли отдать.

Я велел коней распрячь и к своим приторочить, двое парней купца из тулупа вытряхнули, и сумочка выпала. Братан мой Архип кинулся к ней, а Бырдин, сволочь, выстрелил. Напавал братца. Я весь свой револьвер разрядил в купца и семейство его.

– И в детей? – ужаснулся Колька.

– И в них тоже. Тело брата в санки, в деревне за хороший куш попрошу похоронить. К Лебедевской подходим, надо бы узнать, какая там обстановка, вдруг продотряд пришел? Спросили в крайних избах, говорят, есть гости, но свои, из соседних деревень. Мы ближе к совету, а там человек пятьдесят. Увидали нас, шапками машут, зовут. Подъехали, выходит вперед молодой человек:

– Я командир сводного отряда повстанцев трех волостей. А вы кто будете?

«Что за повстанцы такие?» – думаю, и спрашиваю:

– А за какую вы власть? Я вот белых повязок на шапках еще не встречал.

Командир отвечает:

– Мы за народную власть, только без коммунистов. А сейчас ждем продотряд, чтобы проучить. Белые повязки, чтобы друг друга не пострелять. Вступаете в наш отряд?

Мне интересно, совсем юноша, а командир, да и в себе уверен, на лицо красивый, такой, что лучше бы ему девкой родиться. Спрашиваю:

– А ты чей, откуда?

– Отвечаю: Григорий Атаманов, из села Смирновского, слыхал о таком? Так вступаете в наш отряд?

Отзываю своих ребят, спрашиваю, что делать будем. А они в голос просят растолковать, какой нам смысл семерым вваливаться в эту кучу, они будут в открытый бой вступать, а нам это надо?

И вот тогда я понял, что мы будем просто бандитами, разбойниками, там крепкого мужичка пощекотаем, там купчишку, попутно и коммунистов станем прибирать. Подъехал я к Атаманову и все разъяснил, что мы пойдем своей дорогой, все равно враг у нас один, но в отряд не вступаем, чтобы близко к родным гнездам не оказаться. Так что, командир, имей в виду: мы с вами, только чуть в стороне. На том и расстались.

Понятно, что не все время смертоубийством занимались, находили глухую деревню, где ни бандитов, ни милиционеров, заходили в дом, что поболее да поприматней, значит, у хозяина есть чем угостить, и отдыхали от трудов своих несправедливых по целой неделе. Тут тебе и самогонка, и бабы, ну, тебе это не надо знать, и мясо горой, и стряпня румяная. Умели мужики спрятать от басурман, иначе бы с голоду пропали. Конечно, караул стоял днем и ночью, у меня наказ был строгий: прихватчу сонного или нетрезвого – пеняй на себя, сам до стенки доведу, сам и шлепну.

Вот стал я думать тогда, а что же есть человек? Отчего из-за куска хлеба цельный народ на дыбы поставили? Почто стреляешь в русского же человека, и никакой жалости в душе нет, а ведь вся и разница, что он когда-то поддался на уговоры и подписал гумагу в партию. Убежденных, таких, как та комсомолка, мало встречал, все больше в ноги падали да пощады просили. Таких и убивать противно. Но попадались отдельные – оборони Бог! Знает, что живым из избы не выйти, а он про мировую революцию, про свободную жизнь, про сплошное братство. Слушаешь, и вдруг ловишь себя на том, что если он еще с полчаса попроповедует, то ты не только егопустишь, но и сам в ихнюю коммуу вступишь всем наличным составом.

Конечно, хозяев отблагодаришь, золотые монеты из купеческой сумочки в дело шли, но кто и откуда – об этом накрепко запретил ребятам даже заикаться.

Ранним утром выехали мы из деревни, у каждого в пристяжке добрый конь запасной, глядим: впереди на горке конный отряд, да не рвань приволжская, а красные кавалеристы. То ли кто сообщил про наше гарцевание, но это специально надо ехать до большого села Истошного, оттуда телефонная связь была, а где мы проходили, там столбы спиливали, провода сматывали и в снег прятали. Эту линию не вдруг восстановишь. Что делать? Разворачиваем коней и обратно в деревню. Выгоняем на улицу мужиков и баб, ребят, стариков, велю выкатывать сани и телеги, бороны и плуги – все, что ни на есть во дворах. Мужики сани на телегу громоздят, и спрашивают:

– Скажи, мил человек, у кого пуля слаще, нам ведь один хрен погибать?

Я им отвечаю:

– Не тронут вас, вы под насилием, городите скорей, они в полутора верстах были, хорошо, что нас не заметили, ровной рысью идут.

Перегородили всю улицу, ни одному коню не перемахнуть, а сами в седла, и ходу. Деревня маленькая, всего одна улочка, а в обход – никак, коню по брюхо. Не знаю, долго ли, коротко ли они разбирали, только мы ушли далеко, еще одну деревню бесшабашно галопом проскочили, достав из-за пазухи вторые шапки, с красной лентой, чтобы с толку сбить. В деревне никого. Мы в следующую, да не дорогой, а санным следом, накатан наст. Отправил разведку, тот вернулся, говорит, с неделю был продотряд, теперь никого. Смело заходим, выбираем дом, хозяин ворота отпирает, овес коням сыплет. Один в охранение, остальные за стол, пельменей ведерный чугунок хозяйка поставила на шесток, три больших блюда выловила. Едим, пьем. И вдруг – выстрелы. Кто? Вылетаю на крыльцо, а пулька – шелк в косяк. Обложили нас. А ведь белый день. Часовой наш лежит мордой в снегу. Я в избушку перебежал, там оконце низкое, смотреть удобно. Одного увидел, другого: да это же коммуняки из волостного села, кто-то им сообщил. У меня от сердца отлегло: ладно, что не солдаты. А посреди двора воз сена стоит на санях. Зову хозяина, ребяташек, баб домашних, расчет такой: поджигаю воз, он хорошо возьмется, отворяю ворота и выталкиваем воз в улицу. Дым как раз в сторону нападающих, чем мы и воспользуемся. Так и сделали, выпихнули воз, сами в седла и ходу.

Вот тогда вспомнили про Гнилое болото, надо очухаться, прийти в себя. Поскакали, догнали троих мужиков верхом, спросили, какая власть в их деревне.

– Да никакой власти нету, хлеб забрали, мясо с вешалов снимали, кур, и тех зарубили.

– Шерсть надо, а шерсти нет, бабы опряли с осени. Велят полушубки и тулупы стричь. Стригли, а кого делать?

– Яйца курицы прямо в корчагах погрузили в сани. Бабы ревут: ведь пропадут же! Отвечают: пусть лучше выбросим, чем вам жировать.

Спрашиваю, а в волостном селе кто есть? Говорят, сам Атаманов с большим отрядом. Интересно мне стало, кивнул ребятам: давай в гости к старому знакомому. Влетаем в село, а трое с винтовками из сугроба:

– Стой! Стрелять буду!

Остановились, все объяснили, ребята указали на дом, где командир остановился. Предупреждают:

– У нас порядок такой, к Атаманову обращаться «гражданин командир!» или пуще того: «гражданин командующий!», но это в основном для начальников помельче.

Меня одного пропустили, ребята пошли обедать, каша с мясом прямо во дворе на костре варится, чай горячий. Я заметил: хорошее у бойцов настроение, значит, наше дело побеждает.

Вошел я, сидят трое, Атаманов меня сразу узнал, улыбнулся. Я еще раз подивился его красоте: русский, лицо прямое, чистое, нос скромный, глаза серые, внимательные, прямо в душу заглядывают.

– Ты в тот раз не назвался...

– Демьян Трушников буду.

– Чем занимались этот месяц? В одном месте продотряд сожгли, в другом актив постреляли. По многим деревням прошлись, везде Рысь расписалась, мне сообщали. Коммуну в Будынском сожгли, полсотни человек разом. Были там?

– Признаюсь. Но я просил женщин и детей оставить, а там – не поверишь: глаза у людей кровью наливаются, люто ненавидят коммуны. А отчего? Да потому что власть чуть не в задницу коммунаров тех целовала, деньги валили, трактор, электростанцию дали. Дошло до того, что коммунары робить не стали, а крестьян местных нанимали. Потому и возненавидел народ, общим сходом решили все семя вывести коммунарское. Я сам после того пожара три ночи спать не мог.

Атаманов кивнул:

– Да, много жестокости, через чур много. Но порой и сам вижу, что ненавистью горят глаза ребят. А ты вроде все правильно делаешь, но не это главное. Наша задача – взять станцию Ишим, перерезать путь хлебным эшелонам на Москву, хватит кормить сибирским хлебом мировое жидовство.

– Они что – еще похуже коммунистов?

Атаманов улыбнулся:

– Да почти одно и то же. Примыкай к нам, завтра идем на Ишим, возьмем станцию, тогда даже красноармейцы не скоро нас достанут. На сотню километров пути разрушим, и куманькам крышка. Голодный пролетарий в столице выбросит Ленина вместе с Совнаркомом, народную власть изберем. Пойдешь?

Я в тот момент грызть какую-то в душе учуял: вот человек видит большую цель, для народа старается, чтобы власть правильная была, а я бродяжу, граблю, убиваю. Совестно мне сделалось, и я ему ответил:

– Гражданин командующий, вступаю в твоё войско, пойду с тобой на Ишим!

– Молодец! – Атаманов обнял меня. – Ты еще вчера был бандитом, разбойником, сегодня ты повстанец, боец Ишимской народной армии.

– Позволь, гражданин командующий, повстанец – это кто? А куманьки?

– Куманьками ребята коммунистов называли, так и приросло. А повстанцы – тот, кто восстал против насилия и беззакония, кто за народ восстал, и имя тому – повстанец. Объясни своим. Извини, мы завтрашнюю операцию обсуждаем.

Колька слушал со страхом и любопытством. Отец рассказывал ему про восстание, как бандиты казнили коммунистов и комсомольцев. В совете сидел суд из своих же мужиков, хозяев крепких, из холодной по одному заводили связанных арестованных. Некоторые молча выслушивали приговор, один и тот же, который густым басом грозно читал местный дьяк, иные искали глазами защиту и, уцепившись за соломинку, кричали:

– Кум, заступись за меня, поручись, мы же с тобой детей вместе крестили, обещались повенчать, как подрастут. Кум!

Кум напустил на себя суровость и ответил грубо:

– Все! Шабаш! Свадьба отменяется. Согласен к казни!

Мужика в коридоре били кувалдой по голове, и, оглушенного, толкали с высокого крыльца, с которого выломали резные перила, толкали вниз, а там двое, взявшись oberучь за пешню, надевали на железо обмякшее тело. Тут же подбегали подручные, снимали бедного с пешни и оттаскивали в сторону. Девчонку-комсомолку приговорили к жуткой казни. Ефим Чирей, только что пришедший с лесоповала за изнасилование, ухватил ее поперек тела, прижал, потрогал груди, но мужики цыкнули:

– Отвянь! Елдач, забирай девку, да привяжи за ноги к хомутным тяжам, а сам на вершну, покатай ее по улицам, пусть содрогнутся, кто еще надеется на коммуны.

Через полчаса истерзанный труп девчонки Елдач привез к совету, подручные, прихихатывая, нарочно распахивали края рваной одежды, что оголить вожделенное. Кто-то из стариков оттолкнул их и накинул на тело мешковину.

Суд длился до обеда, набили телами угол в огаде, потом заставили подручных засыпать свежим снегом кровь, а тела перенести в бывшую конюшню. После обеда судьи и палачи напились в доску, топя в самогоне страх перед людьми и Богом. Наутро всех мужиков от восемнадцати до пятидесяти лет мобилизовали, и они уехали в соседнюю волость, где формировался отряд. Отцу было тогда десять лет, он видел казни своими глазами, и еще помнит, что никто из бандитов в село не вернулся.

Колька после этого долго боялся проходить около сельсовета, хотя не было уже высокого крыльца, его сломали, а вход на второй этаж прорубили с другой стороны по внутренней лестнице. Однажды он целый день провел с матерью в сельсовете, была ее очередь дежурить исполнителем в выходной день. Она сидела у телефона, и, если кто-то из районного начальства звонил и просил пригласить к аппарату кого-то из местных начальников, они с мамой быстрым шагом спешили к его дому, а если он был пьян, то говорили, что уехал осматривать поля. Там, наверное, уже знали, в чем дело, потому что в поля отправлял подгулявших начальников каждый исполнитель. Колька представлял, что он сидит сейчас на том же месте, где сидел Ефим Чирей или дьяк церковный, а перед ним проходили незнакомые люди и так же молча уходили на крыльцо умирать. За что? Что они сделали такого, что свои деревенские казнили лютой смертью? Колька чувствовал, что между людьми могут быть какие-то другие отношения, кроме родства, кумовства и дружбы, и они такие сильные, что все остальные сразу становятся ничем. Когда он спросил об этом отца, тот выругался и не велел про такое думать, а то с ума сойдешь, и будешь, как Ньюра-дура ходить по деревне с горстью голых веток, матерщинные частушки петь и кукарекать.

Демьяна с ребятами передали в группу передового наступления. Проверили винтовки и револьверы, почти у всех были, расположились на полу вместе с другими повстанцами. Разговоров нет, каждый понимал, что бой будет непростой, надо прорваться через шеренги красноармейцев, плотно охвативших все подходы к станции, а это не просто, разведка выяснила: на каждой улице установлены пулеметы. Младший из его команды, племянник Никифор, шепнул на ухо:

– Дядя, я боюсь, убьют меня в том бою.

Демьян ответил:

– А ты не бойся, Только пулеметы обходи, в переулок какой нырни, тем спасешься. – И обнял племянника, как родного сына. – Спи, благословясь.

Потемну всех подняли, никакой еды на случай, если ранят. Построились в огаде, человек пятьдесят.

– Повстанцы! – тихонько скомандовал травнинский казачок Лагунин. – Наша группа ударная, заходим с севера, прямо на станцию. Не думаю, что куманьки нас там ждут. До города тихой рысью, пшел!

Чуть стало светать, сильно похолодало, Лагунин все медлил, ждал начала атаки с юга. Наконец, послышались выстрелы, и весь отряд рванулся вперед. Одновременно взрели

несколько паровозов, и деревенские лошади закидались в испуге. С водонапорной башни ударил пулемет, но наугад. Перескочив через железную дорогу, отряд вытянулся в цепь и скакал вдоль путей. Издалека ухнуло орудие, и снаряд разорвался позади цепи, зацепив несколько лошадей. Впереди обозначились станционные постройки, которые вмиг ошетинились винтовочным огнем, несколько человек вывалились из седел.

– Вперед! – взревел Лагунин, и выхватил шашку. Пуля чуть не снесла с Демьяна шапку, сдвинула на затылок, промелькнуло: «Значит, не смерть!». Сбил одного солдата с крыши, надо бы спешиться, да коней куда девать? Выкатился из седла, присел под забором, чтобы пулемет высмотреть. Ага, вот он ударил очередью, обнаружился, ящиками для угля обставился. Демьян прицелился, и чуть выше той точки, из которой вылетали огоньки – выстрелил, потом еще раз. Ящики развалились, два солдата сползли на них.

– Ребята, пулемет я накрыл, можно вперед! – крикнул Демьян и вскочил в седло. Поскакали цепью, а навстречу красная конница. Демьян вынул револьвер, расстрелял все патроны, а шашки нет, да и была бы – много ли толку, если видишь в первый раз? Лагунин влетел в самую гущу конников, лихо работал шашкой, сколько-то человек вышиб из седел, только и сам не ушел, крепкий мужик в легком полушубке налетел сбоку и снес буйную Лагунинскую головушку. Демьян понял, что еще мгновение, и будет поздно, крикнул:

– Братцы, уходим! – Развернул коня, пригнулся, поскакал вдоль путей. Уйдя за полверсты, огляделся: то там, то тут, в разных местах тычутся всадники, не знают, куда податься. Он выстрелил в воздух, и уже через минуту собрались неудачники. Никифора среди них не было, как не было и других деревенских товарищей.

– Что будем делать, мужики? А что центральный отряд? Слышно?

– Нет, не стреляют.

– Может, взяли станцию? Давай вокруг города.

На той стороне так же сиротливо стояли вышедшие из боя.

– А где остальные? Атаманов где?

– Они нарвались на пулеметы у базарной площади, сунулись в переулки, а потом Атаманов понял, что окружают, и дал приказ прорываться. Они вышли Ларихинской дорогой.

К Демьяну подъехал бородатый мужик, он вчера видел его в избе:

– Я здесь по случаю оказался, сам тобольский, черти понесли рыбой поторговать. Вот и вляпался. Я вижу, ты мужик дерзкий, да и без друзей остался. Я собираюсь домой, пошли со мной на Север, если хочешь? Тут, судя по всему, больше делать нечего.

Демьян кивнул: согласен. В первой же деревне подъехали к большому дому, стукнули в калитку. Голос хозяина:

– Кто такие?

– Открывай, так гостей не встречают.

– А я гостей не жду.

Демьян сорвался:

– Если ты еще слово скажешь, я тебя через калитку пристрелю. Отворяй! И овса поставь коням.

Вошли, как домой, скинули полушубки, сказали только, что жрать хотят. Бабы забежали, вынося сковороды и жаровни, налили по блюду горячих щей. Хозяин чуть осмелел:

– Что там в городе за стрельба? Не слышали?

– Нет, мы с другой стороны, – ответил бородатый.

Хозяин хмыкнул, но больше не приставал. Незваные гости встали, поблагодарили, попросили в дорогу буханку хлеба и кусок сала. Бабы хотели угодить и завернуть в тряпицу отваренную курицу, но Демьян отвел рукой угощенье: замерзнет на морозе, ни к чему.

Остатки овса Демьян ссыпал в один мешок и примотнул к седлу. Тронулись.

В тот день в селе случилось большое горе, утонула на Афонином озере Колькина одноклассница Лида Аникина. Сначала девчонки подняли крик, потом кто-то из парней тут оказался, нырнул, где она купалась – не нашел, несколько раз нырял – бесполезно. Сгоняли машину на луга, привезли мужиков, невод принесли. Отец вместе с мужиками, а с матерью медичка отваживается, уколы ставит. Та уж и реветь перестала, только стонет. На лодке подальше отплыли, одно крыло невода запустили, к нижнему поводку железяк привязали, чтобы по дну шел, стали тянуть. Страшные минуты. Колька стоял рядом с дедом Менделем и дрожал всем телом. Дед и сказал, что на его веку никто на Афонином не тонул, на омутах было, а тут без греха. Вытянули невод, в матице рыба всякая, а Лиды нет. Второй раз поплыли, третий. Мужики собрались кучкой, тихонько разговаривают.

– Зацепило бы ее, если невод над ней прошел.

– А, может, она убежала куда, никому не сказала.

– Да брось ты ерунду пороть, тут платишко ее лежало. Куда она голяком?

И тут Колька увидел, что с крутого берега спускается дед Демьян. Палку около дома оставил, босиком, штаны широкие и рубаху навыпуск ветер раздувает. Подошел молча, ни с кем ничего, даже на соседа не взглянул, лишь Кольку потрепал по стриженной голове. Мужики замолчали.

– Где тянули? – спросил дед Демьян.

– Тут и тянули, где утопла.

– Пройдите вон под той ракитиной, да ближе к берегу держитесь.

Старший из мужиков Иван Сергеевич спросил недоверчиво:

– Все говорят, что она вот тут плавала, тут и пропала. А ракитина сто метров в сторону.

Дед Демьян ничего не ответил, развернулся и стал подниматься в гору.

– И что будем делать? Этот Повстанец может нас и на Прорву послать.

– В самом деле, при чем тут ракита?

Дед Мендиль вмешался:

– Протяните там тонь, надо же что-то делать. А Демьян себе на уме, может, и прав.

Сгрузили невод в лодку, поплыли к раките, запустили с большим запасом, трое по берегу тянут, чтобы крыло прямо на виду шло, двое гребут, двое повод держат. Прошли под самой ракитой, с лодки кто-то крикнул:

– Мужики, тяжело пошло.

Стали гребти сильнее, эти на суше чуть приотстали, лодка сделала округлый разворот и направилась к берегу. На берегу парни перехватили шнур, и невод стал медленно выходить из воды, сначала крылья, потом матица, несущая скорбный груз. Женщины бросились с простыней в руках, обернули девушку, положили на влажный песок. Привели мать, отец тут же стоял на коленях, братьев и сестер прогнали подальше, чтобы не видели и не боялись потом. Отец на руках вынес дочь на берег, положил на раскинутое в ходке одеяло и тронул поводья. Бабы собрали всю рыбу и побросали в воду.

Колька вместе с дедом Менделем пошел в улицу и остановился около сидящего Демьяна Трушников. Тот молча курил, пуская клубы ядреного дыма. Колька сел рядом и тоже молчал.

– Достали? – спросил дед.

– Достали. А как вы догадались, что Лидку под ракитой искать надо?

Дед раздавил на бревне окурок и ответил:

– Я не догадался, я знал.

– Откуда? – изумился Колька.

– Откуда? – переспросил Трушников. – Я же не всегда таким старым был, а в твои годы сильно любил плавать. Бывало, только чуть свет, я на озеро, благо, что рядом. А как на работу ехать, отец меня крикнет. Нырять до самого дна, по дну ходил, брал в руки пудовую гирию с лодки и опускался. Там много чего интересного. И однажды почувствовал я течение, не особо сильное, но тащит. И я поплыл. Вынырну, гляну, наберу воздуха и опять в глыбь. Чувствую – кружить вода начинает, я наверх, а на берегу старая ракита, над водой нависла и большую площадь от людей закрыла. Держусь, а вода кружит, и под самым берегом даже воронку видно. Я не стал судьбу пытаться, а когда вернулся из лагерей, вспомнил детство, рано утром пошел на озеро, поплыл. Думал, разучился за эти годы – нет, плыву уверенно, потом нырнул, да глубоко, и опять на знакомое течение попал. К самой ракитине подплывать не стал, старая-то упала в воду и сгнила, а новая точно такая же. И воронку успел увидеть. Вот и сказал мужикам, раз на месте девчонки нет.

– Дедушка Демьян, откуда в нашем озере течение? Это же не река и не океан.

Старик хмыкнул:

– То надо ученым людям разбираться, а я мыслю еще с тех времен, что в Малом омуте воде тесно, если ветер в ту сторону, вот она низом и уходит обратно. Девчонка эта чья?

– Аникиных Лида. Отличница в школе была.

Трушников долго молчал. Колька подумал, что он сына вспомнил, а может тех малых деток, которых пострелял в санках купца. Или были в его жизни и другие случаи, когда приходилось убивать детей. И Кольке вдруг стало страшно, он встал, сказал деду:

– Пойду я, дедушка Демьян.

– Иди. И помни: сразу за лопушками нырять нельзя, течение там проходит, метра три в глубину. И другим передай. А к ракитине не лезь, опасное это дело. Не лезь!

Демьян сразу смекнул, что новый знакомый, назвался Харитоном, еще почище его будет, мимо деревни не проедет, чтобы в пару домов не заскочить, а если еще какие коммуняки остались – заставит хозяев сходить домой и загаркать коммуниста во двор. А сам в калитке стоит с винтовкой. Окна по самые наличники таким куржаком заросли, что из дома не увидишь, добрый человек или нет. Харитон только спросит:

– Ты пошто ночью на партийное собрание не явился? Поди, к бандитам подался, на них надежа?

Мужик смутится, засуетится:

– Да вы об чем? Какое собрание, у нас и членов-то осталось только трое, остальные погинули да в отряды обороны ушли.

Харитон радуется:

– А кто еще двое? Трое, говоришь, осталось, два-то где?

Мужик смеется:

– Да где им быть в такую пору? Дома. Никто нас в последнее время не беспокоил, так что мы дома обитаем.

Харитон велит идти в улицу и показать дома партийных, тот охотно выскакивает и тычет в два дома чуть дальше по другой стороне.

– Благодарю за услугу.

Харитон чуть поднимает винтовку и нажимает курок. Мужик удивленно падает, баба уже на крыльце, визжит. Идут к тем домам, вышедшего на стук хозяина Харитон стреляет прямо на крыльце, Демьян видит, что второй сосед в одном полушубке без шапки бежит огородом, проваливаясь в проломившийся наст. Хотел убить, но что-то удержало, потом хотел Харитону сказать, тот бы не упустил, но опять передумал. Харитон спросил, где живет самый крепкий мужик, ему показали.

– Пошли, пощекотаем, кое-что у него должно быть.

Демьян понял, что он уже ведомый, как бычок на бойню, не командир. Вошли в дом, хозяин, здоровый мужчина лет сорока, баба из горницы выглядывает, ребятишки пробегают мимо дверей, чтобы из-за материнной спины гостей увидеть.

– Так, хозяин, мы повстанцы, воюем с коммунистами за власть трудового народа. Надо поддержать.

– Чем? – коротко спросил хозяин.

– Золотишком, деньгами, можа, драгоценности какие есть, – порассуждал Харитон.

– Есть. Все есть понемногу, ведь жить собирались. Только интересно вы за народную власть воюете, с самим же народом.

Харитон вздрогнул:

– Это как понимать?

– Вот сейчас двух мужиков порешили. Да, они в партию записались, уболтал их секретарь, мол, поддержка будет членам-то, а у них семеро по лавкам. До вас был отряд бандитский...

– Повстанцев! – поправил Харитон.

– Да, так их командир Атаманов вник и этих мужиков от казни освободил, а вы грохнули. Выходит, у вас все сами по себе, нет ни знамя, ни родины, одна винтовка.

Харитон позеленел:

– Да ты, сволочь просоветская, где таким речам обучился? Сам-то не куманек, часом, не партийный?

Мужик ответил смело:

– Нет, не член. А понимать жизнь научился на фронтах германской и гражданской. Агриппина, неси свою шкатулку с барахлом, и деньги в сундуке достань все, чтобы ребятам не проверять. Вот, берите.

Харитон взял, передал Демьяну, а мужику скомандовал:

– Выходи на крыльцо!

Демьян толкнул его локтем:

– Довольно! Поехали.

– Нет, я его тут не оставляю, это враг грамотный и опасный. Пошли.

Демьян бросил шкатулку и сверток на конопель, вышел впереди всех, потрогал револьвер в кармане. В доме уже выли, как по покойнику, а хозяин шел гордо, не опуская головы. Спустились с крыльца.

– Куда мне вставать? – спросил хозяин.

– Стой, где стоишь, – улыбнулся Харитон и сдернул с плеча винтовку. Демьян сбоку почти в упор выстрелил ему в ухо. Хозяин присел от неожиданности, потом повернулся к Демьяну:

– Теперь моя очередь?

– Оттащи его под сарай, да собаку убери, будет выть по покойнику. Как стемнеет, загрузи и вывези, куда сам найдешь нужным. А мне разреши сутки отдохнуть, едва на ногах держусь. Как тебя называть?

– Мирон. Обожди, я домашних успокою.

Сбегал, быстро спустился, Харитона уволокли на задний двор, жена с ведрами к колодцу, хозяин беремя дров унес в баню. Демьян попросил Мирона приготовить к бане нательное белье и рубаху, обовшивел за это время, не столько от грязи, сколько от дум разных. Обоих хозяев предупредил: если кто спросит про выстрел, то стреляли кабанчика, зарезать пришлось.

В баню на всякий случай взял револьвер, Мирон заметил, улыбнулся. Крепко попарился Демьян, давно не было такой доброй баньки. Обсох, переоделся, прямо в избушку хозяйка принесла блюдо горячих пельменей, графин с водкой и студень. Нетронутый белый калач на поду печеный чуть слезу не выдавил из Демьяна: жена его тоже славные калачи печет. Спал до следующего вечера, собрался, вошел в дом, поблагодарил, жена Мирона на колени перед ним встала, он поднял за плечи:

– Живите. Мирон, придут красные, а они обязательно придут, покажешь им этого мерзавца. Скажешь, что сам убил, а револьвер утопил, патроны кончились. Если бандиты – ссылайся на Атаманова, он у них главный. Ну, не поминайте лихом.

Мирон проводил до ворот, на второго коня мешок овса закинул, крепко пожал руку:

– А ты теперь в какую сторону?

– Подамся на север, там свободней. До Вагая сколько верст?

– Тридцать.

– Прощай.

– Прощай и ты. С Богом!

Колька слушал, разинув рот, а когда дед Демьян замолчал, спросил:

– Почему вы Харитона убили? Он же вроде свой?

Демьян улыбнулся, только усы пошевелились.

– Время было такое, что не знаешь, кто свой, кто чужой. А тут что-то во мне переменялось.

– А дальше? Вы поехали один? А почему на север?

– Думал, что там войны нет, раз крестьян нет, одни рыбаки да охотники. Но получилось, что я из огня да в пламя, там тоже была разверстка, и не хуже, чем в наших краях.

Еду я смело, винтовку спрятал, револьвер наготове на всякий случай, и уже у самого Вагая выскакивают на меня трое из сугроба: «Стой, кто такой?». Говорю, что еду в Вагай по своим делам, хочу на лето в рыбацкую бригаду податься. «А ты не из охраны Инденбаума? Может, переодели да вперед пустили разведчика?». Отвечаю им, что слышал про этого Баума, но в глаза не видал, а если бы довелось, собственными руками бы задавил за то, как он галится над русским мужиком. Спрашивают: «Тебе тоже перепало?». Рассказал им про сына и про свои подвиги вдали от дома. Тогда они говорят: «Оставайся с нами, нам надежный человек сообщил, что продкомиссар Инденбаум выехал на санках с охраной в десять человек в

сторону Тобольска. Сидим вторые сутки, может, его холера увела другой дорогой, но нам передали, что покинул он Ишим, а из Ишима в Тобольск короче дороги нету». Посмотрел я на место это и говорю мужикам: «Ребята, тут нам их не взять, если их десять человек конников, да в санках с ним два-три». Поехали мы с одним парнем к тому месту, где дорога прямо по тайге проходит, поглянулся мне крутой поворот, говорю парню, что пилу надо. Он галопом в ближнюю деревню, вернулся с пилой. Тем временем и остальные к нам подтянулись. Я объяснил, что на повороте кучер коней придержит, а мы тем временем подпиленные деревья спереди и сзади роняем. Им некуда деваться, пока шур да бар, постреляем охрану, а самого Баума хотелось бы живьем взять, чтобы в глаза его бесстыжие глянуть, и приговор прямо в харю проговорить.

Уже под вечер скачет наш человек, он за версту выдвинулся, говорит, идут колонной, конники впереди и конники сзади. Кто в санках – не видел. Но должно быть он, больше некому. Сосны у нас подпилены, один человек столкнет, остальные встали цепочкой с одной стороны, чтобы своих не перестрелять, ждем. Вот выкатывает обоз, солдаты уже на поворот вышли, и одновременно падают две сосны. Кони в дыбы со страху, кучер вожжи натянул, но в сосну въехал. И пошла стрельба, солдатики валяются, винтовки не успели с плеча сдернуть, а я к санкам. В кучера выстрелил, смотрю – один револьвер вынимает, стреляю ему в плечо и кричу: «Кто господин Инденбаум?». Он, похоже, даже обрадовался: «Я губернский продкомиссар Инденбаум». «Вот ты мне и нужен», – говорю. Из кошевки его вынимаю, между глаз рукояткой ударил, чтобы не задурил, оружие при нем, само собой есть. Одет аккуратно, в мундире, в ремнях, как ране царские офицеры. Поставил его на ноги, по щекам похлестал и говорю громким голосом: «За измывательство над крестьянином, за кровь и слезы нашего народа, за весь вред, который ты принес в наши края, от имени народа приговариваем тебя, Инденбаум, к расстрелу, хотя надо бы повесить, да времени нет». Выстрелил я ему прямо в лицо, а красивый был, сволочь. Тут ребята свою злобу выместили, шашками стали рубить. Я вынул из кармана полушубка уголек, крупно вывел на облучке санок «Рысь» и отвернулся.

Здесь мы с ребятами расстались, и я маханул дальше. Затесался в рыбацкую бригаду, бабу завел, жил так почти пять лет. А меня органы искали, потому что ни среди пленных, ни среди убитых не нашли, и дома нету. Нашли, кто-то состукал, что приبلудный живет, хватили, а у меня никаких документов. И поехал. В Ишиме опознали, дали сперва пятнадцать, потом еще десять.

– И что вы делали двадцать пять лет?

– Мне повезло, я лес валил, не в шахте. Все эти годы – как один день: подъем в пять, проверка, развод на работы, жратва и на лесосеку. Обед, перекур, и до вечера. Строем в лагерь, шмон, обыск, то есть, ужин – и в барак. А там карты, драки, убийства – все было. Освободился точно по часам, двадцать пять от звонка до звонка. Домой пришел – никого своих нет, дети в городе. Дом, правда, прибран. Вот, живу.

– А люди, люди к вам как относятся?

– Никак. Своих деревенских я пальцем не тронул, а о похождениях моих только на суде что-то говорили. Люди боятся, а я не лезу, вот с твоим дедом Менделем иногда поговорим, и все.

Демьян Трушников полез в карман старого пиджака, вынул завязанную узелком тряпочку:

– Николай, ты мне за нонешнее лето стал как сын родной. В этом узелке десяток золотых монет царской чеканки. Прибери, когда в силу войдешь, сам сообразишь, куда их употребить. А теперь прощай, за мной завтра сын приедет, увезет в город. Мне не шибко охота, но тяжело стало одному. Помни меня как повстанца, а не как бандита. Прощай.

-0-0-0-

Красная Поляна

– Любо да мило смотреть на родные наши места, сколько годов живу, а не могу насладиться. До чего же все по порядку: и речка, и озерки кругом, все рыбное, едовое. И луга заливные, когда снегов много, с высоких мест стекает водичка в низину и в речку, а та в разлив – особая, видать, страсть: раскинуться, плечи расправить, заодно и камыш со всякой всячиной вычистить. Два холма по ту сторону деревни, издавна зовут их Женские Грудь, понятно, в деревне чуть по-иному, не особо выбирают красивые выражения, но издали они очень похожи, ежели мне память не изменяет. Та сторона, что к деревне, летом в зелени разнотравья, для телятишек подкашивают люди, а задняя лесом прикрылась, так вот, заведено еще в старые времена, чтобы тут дерево не трогать. Каждый год обходил лесник и помечал, какие березки, осинки и сосенки убрать надо. Зато ягоды в первых лесочках – какую душа желает: и клубника, и костянка, и смородина с ежевикой. Там подале и мокрые места есть, любители забираются вглубь за клюквой и прочей вкусностью.

Предки наши распахали столько землицы, что даже, сказывают, такую вольницу допускали: четвертину оставляли отдыхать, не засекали, а летом, после сенокоса, пахали на другой ряд. Великая оттого выгода была, сам-два хлеба снимали, во как! Правда, потом поизвелось это, но крестьяне помнят, через родичей, само собой.

Я зовусь Антоном Николаичем, вечный колхозник, стахановец, краешек большой войны захватил, словил осколок фугасный, но не глубоко, вытащили, дырку зашили, я уж и позабыл. Да, попал в путние войска и звался гвардейцем, а потом и в колхозную жизнь пришло это звание, вручили мне вместе с другими достойными значок «Гвардеец пятилетки». Проня Волосатов тоже получил, поглядел и хихикнул:

– Лучше бы на бутылку дали.

Тут меня и прорвало:

– Ах ты, сука реможная, да за гвардейское звание люди головы сложили, и в этом значке частичка от того, что у меня на майском костюме, а ты его...

Ну, и врезал по роже, своротил чего-то, тот в милицию, а там тоже путние люди бывают, сказали ему, чтобы благодарил меня за слабое наказание. Короче говоря, побывал и в гвардейцах трудового фронта. А вот до орденов не поднялся, хотя парторг пару раз обещал, если тысячу гектаров за осень вспашу на «Кировце» или полторы тысячи тонн пшенички намолочу за уборку. Понятно, что не только за ордена старался, платили заманивающе, жить хотелось лучше, но парторг, не к ночи помянутый, орден-то зажал.

Хочу рассказать вам, как мужики наши от гибели перестроечной уходили. В самом начале перестройки я на пенсию оформился, поскольку стаж у меня был без перерывов,

акромя военной отлучки, учитывая мой гвардейский труд и хорошую зарплату, положили мне ежемесячно 132 рубля. Теперь и сам не могу точно сказать, к каким сегодняшним деньгам это можно приравнять, но жил я и семья моя в полном достатке. И вдруг помимо перестроечных разговоров начались новые дела, каких прежде не было. Например, председатель колхоза, никого не спросясь, увозит на колбасу три машины бычков с откорма. Машины не наши, грузчики не наши, а бычки свои, родные. Ребята у нас в правлении сидели не самые трусливые, наутро к председателю в кабинет, он с порога:

– Если вы по бычкам, то это за долги.

Мужики в пузырь:

– Какие такие долги, ты три месяца назад отсчитывался, и все было чика в чик.

– Не было никакой чики, просто вас не хотел волновать.

Мужики напирают:

– А мы ребята не слабонервные, зови бухгалтера, пусть она нас взволнует.

Вошла Кристины Васильевна, как увидела правленцев – с лица спала, помучилась даже:

– Да, долги банку, налоговой, в фонды. Вам же всего не объяснишь.

И зарыдала.

А мужики наши кроме обмана еще женских слез не переносят, слабеют сразу. Разошлись, но с той поры слово «долги», как колокольчик, звенело там и сям.

Потом районное и областное начальство приехало, собрали правление и сказали, что колхоз завяз или погряз в долгах по самые крайности, и надо немедленно его распускать и создавать крестьянские хозяйства. Ну, что фермеры Россию прокормят, об этом каждый вечер напоминали по телевизору. Ребята выслушали и ушли, не прощаясь. А потом засели у Володи Надцонова, целый день не выходили из избушки, полмешка пельменей изварили и съели, а к водке не прикоснулись, решали.

Что решили? Сказывали мне после ребята, что договорились прогнать все начальство, а то, что еще осталось из имущества – поделить по-честному. Понятно, что речь прежде о технике. Бумажки-то о паях имущественных и земельных у каждого были. И объявили ребята сход всех крестьян, и нашего брата, пенсионера, тоже зовут, я так морокую, что больше для поддержки или шумнуть в нужном месте. Другой-то пользы не предвиделось. Председатель колхоза у нас с фамилией Ежовкин, Денис Кириллович. Мы едва привыкли, а попервости, как ему слово дают, в зале кто чихает, кто кашляет, только чтобы не захохотать, потому что во всем колхозе его иначе как Ежопкиным не называли. Вот и попробуй тут усиди, да если еще настроение веселое. И отчего он эту фамилию не переменил, мог и на бабину записаться, когда женитьбу оформлял. Денис Кириллович тоже пришел, недовольство высказал:

– И что вы собираетесь обсуждать? Колхоз подведен под банкротство, какие могут быть разговоры?

Володька Надцонов молодец, вперед вышел:

– Это ты правильно сказал, председатель: подведен под банкротство, кому-то это шибко надо. Только мы не позволим. Проходите, товарищи, в зал.

А сам на сцену запрыгнул, встал над столом, как будто вечно там его место, и откуда что берется!

– Прошу девчат из бухгалтерии, с кем договорились, садиться вон за тот стол и подробно писать, кто что будет говорить. Этот документ нам нужен как охранная грамота. Вы же видите, что вокруг колхоза, как стая голодных волков по весне, кружат людишки не нашей масти. Кружат – стало быть, обещано им, только время надо выбрать. А мы не дадим им этого времени! Не дадим! – заорал Володька, да так громко, я аж вскинулся. И зал без репетиций: «Не дадим!». Да так славно получилось, прямо как в телевизоре.

Вставали мужики и бабы и прямо говорили, что овечек прошлой ночью машину увезли, что молодняк поросят в теплую машину загрузили, один бородатый с наганом напугал свинарок и велел им помалкивать.

На трибуну залез заведующий зерноскладом, фигура в колхозе большая, а сам Ефимка росточком не вышел, его и в армию браковали.

– А седнешним днем, дорогие товарищи коммунисты...

– Ефим Кузьмич, нет тут коммунистов, ты о чем?!

– Как это нет? – встал вчерашний парторг Владимир Тихонович. – Как нет, когда мы, коммунисты, объединились...

– Товарищи! – закричал Владимир. – Товарищи дорогие, оставьте политику в покое, и так от нее спасу нет. Мы решаем колхозный, хозяйственный вопрос, про партийность ни слова. Продолжай, Ефим Кузьмич.

– Так вот, сегодняшним днем подошли к складу три больших машины, вроде даже пострашнее «Камазов», с прицепами, и товарищ председатель на своей иномарке.

– Не на своей, а на колхозной!

– Знамо дело, что на колхозной. Говорит, отворяй ворота, будем грузить. Я слышу, от него хорошим вином отдает, и отвечаю: «Денис Кириллович, сие есть семенное зерно, это я вам как завскладом, докладываю, если вы подзабыли. И шевелить его при такой погоде до тепла нельзя. К тому же нет у вас требования, как по форме положено, нет накладных». А он ко мне подошел, за куфайку взял и дыхнул прямо в рожу: «Открывай склад, огрызок, а бумаг я тебе к вечеру целый мешок привезу!». Вижу, дело серьезное, а ключи-то у меня в сторожке спрятаны, сам едва нахожу, и метнулся я меж складами, я же в пимах с калошами, а Денис Кириллович в штиблетах. Пробрался, вымок по самые кокышки, прости господи, но ушел и у кумы Дуси замаскировался. А надежда на то, что сразу после уборки велел председатель приварить к складским воротам мощные запоры и внутренние замки вставить иноземного происхождения, так что без ключей им в склад не попасть. Вот такой мой доклад.

Зал загудел, я тоже что-то кричал, можа, и не к месту, но шуму много было. И тогда Владимир встал над столом:

– Надо прения открывать по докладу Ефима Кузьмича, и первое слово председателю.

Ежовкин встал:

– Про свиней и овец ничего не слышал, так что комментировать нечего. А рассказы Ефима Кузьмича можно день и ночь слушать, он после бражки в избушке такие сказки рассказывает, что не переслушать. У меня все.

И вышел в ближнюю дверь. Владимир в президиуме взволновался:

– Товарищи, надо нам в пять минут принимать решение, потому что Ежовкин уже сейчас стучит в милицию или куда повыше. И загребут нас за милу душу.

– Дак ты предлагай!

– Общим голосованием, закон соблюдем.

– Надцонов, объяви, как договорились.

Владимир подошел ко краю сцены и прыгнул в зал. Его трясло от волнения, голос звенел, но мысли в порядке.

– Мы вчера с мужиками обсудили и предлагаем собранию колхоз наш распустить, а все имущество, технику, прежде всего, раздать согласно паев в крестьянские хозяйства, мы уж тут определились, кто с кем согласен работать. А что касается скота, нам сейчас его не сохранить, да и осталась-то сотня хвостов. Давайте поручим Владимиру Тихоновичу, он человек грамотный, к тому же партийный, пусть грузит остатки и везет на мясокомбинат. А выручку поделим, тут много ума не надо. Значит, завтра в семь утра все у мастерских. Только прошу, мужики, ведите себя, если пошло наперекосяк – не злобьтесь, пригласите стариков, они рассудят. Все, собрание закрыто. Девчонки, тащите протокол, я подмахну для порядка.

Теперь про Володьку, Владимира Игнатьевича Надцонова. Годков ему не много, только, если человек толковый, это сразу видно. Роста среднего, в плечах убедительно смотрится, лицом в мать нашибат, красивый. Волосы как после армии отрастил, так и зачесывает назад крутой волной. Взглядом серьезный и голос командирский, это точно со службы, раз сержантом пришел.

Дед его Никанор, царство небесное, был человеком партийным и активистом, с молодости ударился в эту политику, в родном селе колхоз создавал. Сказывали старики, что он не долго уговаривал, прежде всего как бы молебен отслужил по старой жизни, предупредив, что с завтрашнего дня об ней надо позабыть. Потом вкратце обрисовал всю картину: скот сдать, инвентарь сдать, землю всю в колхоз. Робить так же, как и единолично, только государство будет забирать хлеба, молока и мяса, сколько ему потребно. А себе что останется. Противиться не советовал, потому что после разговор совсем другой: на голые сани всей семьей и на Север. Доходчиво объяснял. За одну ночь колхоз образовал. Вплоть до войны любил на собраниях речи держать, и хоть времена были жестковатые, выпады классовых элементов сносил спокойно, никуда не жаловался. Даже когда Касьян, сосед, укорил, что самолично Никанор свел со двора последнюю корову, а потом двое его ребятишек замерли с голодухи, Никанор, говорят, ответил, что корова эта спасла десятки пролетарских детей, а это для страны важнее всего. И все. В конце собрания обычно напоминал:

– Что тут про меж нас..., разговоры либо споры – не дальше этого порога. Узнаю, кто состукал – найду способ во след каторжному отправить.

И обходилось. Колхоз скучковался, стали привыкать, работали, как вроде свое хозяйство, и стало выходить. И на трудовень начисляли хлебишко, крупы, масло подсолнечное, ударникам отрезывали мануфактуры к праздникам. А тут война. Конечно, все пошло наперекосяк. Но не об том речь. Деда Никанора забрали на фронт, там и остался. Отец Владимира Игнат вырос на отрубях да на картошке, столь тошно было после войны. И опять выпрямились. Он едва семилетку в школе отсидел – на курсы трактористов, не успел десятины вспахать – Советская Армия призывает, а служить было почетно. Настолько, что

бракованные ребята сутками сидели в военкомате: «Заберите хоть в стройбат, ведь нам в деревню позорно возвращаться, и девки сторониться станут, слух пустят, что порченный».

Отслужил Игнаша, женить надо, и невеста через два дома живет, Мария. Колхоз к тому времени окреп, стал помогать молодым дома ставить. Игнашка не в последнем числе, тоже лес дали строевой, пилюрам бревна распустить – пожалуйста. Шифера колхоз вагон закупил, чтобы всех желающих обеспечить, цемента на фундаменты вагон россыпью, после разгрузки все мужики наголо побрились, такой хороший цемент попал.

Дом построил – ребяташки пошли. Ведь тогда все желанное было. Про любовь как-то не шибко я разговоров слышал, но плодился народишко со страшной силой. Вроде вчера в лавке видел бабу, нормальная, через время встречаю – с брюхом. Нарочно пошел по улице из краю в край, день нерабочий, вчера дождь хлестанул. И что ты будешь делать – каждая вторая баба в тягостях. Колхоз ясли открыл, их там – гим гимзит, позвали меня, чтобы повыше заборчик сделал, а то сбегает. Среди них, должно быть, и хороводил бойкущий парнишка Володька Надцонов.

В соседях жили, все на виду, в старших классах начались у Володьки проблемы. Видишь ли, папу Игнашу с понталыгу сбил своячок, муж родной сестры. Пока она на курсах продавцов обучалась торговому делу от нашего сельпо, прилепился к ней ученый мужичок из городского института. Короче говоря, охмурил девку, и стал наезжать к своячку вроде просто из уважения, а увозил полный багажник окороков, яиц, сала, масла и прочего, что всегда было и не выводилось в кладовках и холодильниках жены Игнашиной Марии. Хрен бы с ним, с продовольственным запасом, но при загрузке багажника, в порядке расчета, свояк убеждал Игнашу, что Володя должен окончить среднюю школу, и место в институте ему обеспечено, в чем он, свояк, уверял, поудобнее укладывая в багажнике коробки и пакеты.

После этого отец отлавливал Володьку из любой игры и любой кампании, приводил домой и выкладывал из потрепанного портфеля все книжки: «Учи!». Учиться Володьке вовсе не хотелось, ему было интересно с отцом на тракторе хоть с часик посидеть, а потом и отца подменить, пока он в обед колхозные щи хлебал да котлеты уминал. Осенью с уроков убегал, к батиному комбайну подходить боялся, так крестный Андрей выручал: посадит на колени, показывает, какой рычаг для чего, какая лампочка о чем сигнализирует. Быстро нахватался Володька, и однажды, пока отец в тени березки косточки из компота вылавливал, заскочил в кабину, газанул, на валок вырулил и включил молотилку. Игнат вроде за ним, а кум поймал за сапог:

– Посиди, он круг даст, сюда же подъедет. И не рычи, я его подучил. Хороший механизатор будет, зря гонишь.

Какой толковый крестный Володьке достался! А дотяни они всей семьей парня до института, там бы пятилетку промаялся, приехал с дипломом экономиста и через год спился бы. Я не на пустом месте такой прогноз сочиняю, а из опыта колхозной жизни, у нас три экономиста кончили увольнением за пьянку, а четвертый до того досчитал сальдо с бульдой, что отваживались в Лебедевке, есть там такая больница, где лечат людей, когда ум за разум запрыгивает. Зато тракторист из Володьки получился знатный.

Да что тракторист! А парень какой! Ни одна девка в деревне по нему сохла, а он словно евнух, никакого интереса, даже в клуб не ходил, если кинокартину не привозили. Отец уж переживать начал, малой вон и то без девок не ходит, и сестры каждый вечер

прихорашиваются, хоть и соплячки еще. Я же рядом живу, все на глазах. В баню как-то к ним попал, в своей каменка развалилась, на неделю работы. Парились все вместе, присмотрелся к Володке – нормальный мужик! Сам себя успокоил, отцу ни слова, чтобы лишний раз занозу не шевелить.

Приехала к нам новая экономистка. Скромненько так одета, пальтишко серенькое поношенное, сапожки не первой свежести, да худющая, едва не светится. «Ну, думаю, и эта не надолго, закладывает, видно, вишь, пообносились». Ну, и брякнул это при Володке. Тот меня за малым не пришиб.

– Как, – говорит, – у тебя, старого, язык повернулся! Сирота она, на одну стипендию жила, специально в колхоз попросилась, а ее в институте оставляли.

А я себе думаю: ежели ты такими сугубо личными сведениями располагаешь, стало быть, глубоко в ейную оборону пробрался, первому встречному девчонка про судьбу не скажет. Оказывается, правильно я мыслил, вечером перед Октябрьской привел Владимир девчонку в отцовский дом, а я раньше был приглашен на чашку чая. Вошли, девчонка глаза в пол, смотрю: личико-то округлилось на деревенском провианте, да и пальтишко новое, хоть и не крепжоржет какой-нибудь. Стесняется, мать подсутилась, отец втихушку плюху сыну, почему не предупредил. Девчонка пальтишко сняла, Володя подсобил, вижу – что есть прикасаться боится. Кофтенка и юбочка на ней приличные, сапожки под порог поставила, мать ей уж носки тащит теплые. Села, надела носочки, а ножка маленькая, Нюрка и Шурка, сестренки Володины, близняшки, в седьмом, а лапища...

– Вот, мама и папка, и ты, дед Антон, знакомьтесь, это Веста, наш экономист и секретарь комсомольской организации.

Тьфу, ты, господи, куда его несет! При чем здесь партия и бухгалтерия?! Не иначе на смотрины привел, а стушевался.

– Пришли мы, мама и папка, и ты, дед Антон, познакомиться, потому что мы с Вестой решили пожениться, и просим вашего согласия.

Что тут началось! Меня изо стола вычикнули, мать в морозилку за фаршем и пельменями, отец рубаху чистую побежал надевать, Нюрка с Шуркой со стола метут, кучу тарелок, сервиз называют, из горницы приволокли, протирают. Через пять минут на столе чин чинарем, и выпить, и закусить. Я вроде в двери, Володя меня остановил:

– Садись, дед Антон, раздели нашу радость.

Девка вроде чуток успокоилась, ручки уже не трясутся, слезки высохли. Что они, слезки в эки годы, так, водица, это я нынче, ежели всплакну, да слеза на рубаху сорвется – успокаивай сам себя, бери иголку с ниткой. Ни один материал не дюжит. Ну, это к слову. Отец речь сказал, выпили, девушка только ко рту поднесла. Отец поправил:

– Надо бы, дочка, первую-то выпить, так положено.

А она глазенки на него вскинула:

– Простите меня, только я никогда даже капельки в рот не брала. Простите.

А ведь и это любо. Шарахни она сейчас полную рюмку, крякни да закуси соленым огурцом, я бы вмиг жениха в сенки выдернул и шепнул: «Володка, положи, где взял. Если нагрезил – извинись, если не ты первый, то и без того обойдется». Сидим, закусываем. Отец слово берет:

– Это хорошо, ребята, что вы к родителям пришли за согласием, за благословением, как раньше. Только ты, дочка, без обид, имя свое объясни, оно из старины или как?

Девушка губки платочком вытерла:

– Мы из староверов, жили в северном районе, в тайге. Отца моего в лесу сосной захлестнуло, собиралась община еще один дом поставить. А мама так страдала, что ушла на могилу тятину и померла. Меня добрые люди пригрели, а потом приехала милиция, они все золото искали двоеданское, и меня забрали как беспризорную, хоть я и в семье жила. Сказали, что такой закон. И отдали в детский дом. Там меня Веркой звали, а как паспорт стала оформлять, записала имя, данное при крещении. Только если вам не нравится, я перемену на любое. Но Володе шибко глянется.

Тут Мария не вытерпела:

– Дочка, а как же ты в институте училась, без поддержки-то?

Веста впервые улыбнулась:

– Что теперь вспоминать? Стипендия, девчонки помогали, если у меня денег нет, а они что-то готовят, конечно, за стол посадят. Одежду, да, привозили подружки своих младших сестер и обувь, и пальто, и платья. Гордыня – грех, потому брала с благодарностью. Я все за книжками сидела, училась хорошо, диплом с отличием получила. Оставляли на кафедре, в аспирантуру, а там зарплата чуть больше стипендии. Попросилась в деревню, приехала, а тут Володя.

Мать фартук от лица не отнимает, отец платком все глаза исшоркал, я тоже берегусь, чтобы слезинка рубаху не прожгла. Какая судьба выпала девчонке, а ведь не сломалась, не изгадилась, как сейчас это началось, и судит, как большой мужик. Думаю, повезло Володьке, дождался свою радость.

А Игнат после третьей рюмки вдруг решил:

– Раз задумано, нечего кота за... ну, короче говоря, тянуть с этим делом не будем. Решили пожениться – мы с матерью и сосед с нами – согласны. Значит, так: завтра Октябрьская, митинг будет, я председателя сельсовета с трибуны сдерну, десять минут, и вы муж и жена.

Никак не могу понять, как он быстро все сообразил:

– Брательник с утра кабанчика обгоит, сестра солонину достает из погреба, столовские девчонки пособят в колхозной столовой все, что надо, приготовить и на столы поставить. С утра заводить «жигули» и в район, надо невесте самолучшее платье и жениху добрый костюм. Дочкам список гостей, чтобы всех обежали, и в три часа садимся за столы.

Дивную свадьбу ребятам сыграли. Друзья Володькины тоже молодцы, рванули в город, а что привезли – не рассказывают. А когда сельсовет зачитал про мужа и жену, приволокли беремя красных роз и невесту по самое личико ими украсили. И слез было, и смеху.

* * *

Утро после того колхозного собрания выдалось необычное. Еще вчера метелило и ветер перегонял поздний снег от забора к забору, а нынче притих, словно присмотреться хочет. Звезды неба не покидают, хотя уж вроде светает. Фонари на столбах горят ярче прежнего, а машинный двор прямо твой аэродром, Владимиру приходилось летать в Москву на ВДНХ как передовику, видел и запомнил. Зашли в красный уголок, друг над

дружкой подшучивают, а волнение есть. Тут же женщина из бухгалтерии. Заведующий машинным двором, пожилой механизатор Гавриил Евсеич сказал:

– Мужики, раз уж договорились, давайте спокойно и без шума. Я так понял, что начнем с тех тракторов, кто на чем работал. У меня бухгалтерские выписки по паям на руках. С кого начнем?

– Обожди, Евсеич, а ежели мой трактор на ладан дышит? И мне его брать? – закричал Проня Волосатов.

Мужики зашумели:

– А кто его довел до ручки?

– Ты по осени масло сменил? Нет, так и газуешь, а из него, несчастного, дымище, как из паровоза.

– Договорились, Проня, и не дергайся.

Гавриил Евсеевич разложил бумаги и стали к нему подсаживаться те, кто оказался во главе за ночь образовавшихся кооперативов. Все следили, подсказывали.

– Мужики, нельзя так. У Михаила новый трактор, у Мити почти новый, да им еще МТЗ из ремонта. Так на всех не хватит.

Евсеич кивнул:

– Верно. Надо, ребята по возможности честно все поделить, вам ведь в одной деревне жить, одни пашни пахать. Чтоб без злобы.

Не обошлось. Аркаша Захаров захотел «Кировца», а работает на «Беларусе». А кто же отдаст добровольно? К тому же Евсеич поднял руку:

– Аркадий, у тебя на «Кировца» и денег не хватает. Ты окстись, ведь надо еще инвентарь брать, ты на тракторе не за ягодами ли собрался? А чем пахать, сеять, где сцепки, диски, культиваторы? Вы что, на тракторы все спустили?

Владимир тоже сел, разложил свои и товарищей свидетельства на имущественные паи. Трактора свои записали, инвентарь по списку, еще ночью составил, и попросил из гаража пару машин, «Зила» и «Газику». Евсеич проверил: есть по спискам такие машины. У заведующего машинным двором полный порядок. Отписали тебе технику – он вручает технический паспорт. Вышли из душной конторки, шестеро мужиков, документы на четыре трактора, два комбайна, автомашины, прицепной инвентарь. Владимир предложил:

– Давайте перегоним технику на склад, там и охрана есть, да и склады потом делить придется. Там и база наша будет.

В конторке шум, похоже на драку, клубком мужики выкатились во двор. У Прони Волосатого все лицо разбито, дуром орет, что «Кировец» никому не отдаст. А бил его Ильюха Жабин, его это трактор, потому он прав. А Проня вырвался, метнулся к гаражам. Когда сообразили, «Кировец» ворота вынес с петель и на выход, Ильюха наперерез, встал, руки раскинул. Так его Проня и сбил. Вылез из кабины, всего трясет, бухгалтерша в больницу и в милицию позвонила. Проню заковали в наручники, капитан стоял над трупом и раскачивался в своих чистеньких хромовых сапогах:

– Это, господа, начало капитализма, борьба за частную собственность, передел. Там, наверху, делят заводы и прииски, а вы ржавое железо, которое на ваших огородах превратится в металлолом.

Гавриил Евсеич не удержался:

– Зачем вы так над народом, товарищ капитан? Люди жить хотят, выжить, вот, собрались, чтобы все по-честному поделить. Но не всем понравилось. Илью как жертву перестойки, зароем, а Проня пойдет тайгу пилить. Но техника будет работать, я знаю, не все сумеют, но многие преодолеют сами себя, поднимутся. Мы же такое уже проходили, после войны на коленках стояли, все одно поднялись. Видно, только в русском мужике и есть эта сила, чтоб над собой подняться. Не улыбайся, капитан, приезжай, когда майором станешь, поглядишь на наших соколов. А я их уж сейчас вижу с красными флажками на комбайнах.

Только к вечеру следующего дня управились, поставили все в ряд, кто-то краски притащил, решили на бортах название кооператива написать. А какое? Хоть и устали, а посмеялись, сели в кружок на бревнышки, стали перебирать – ни одно не нравится. И Владимир вспомнил, отец рассказывал, что после войны объединяли колхозы в деревне в один и назвали его «Красная Поляна». Мужикам название понравилось, только Арыкпаев ворчал, что длинное, писать долго, он предлагал «Луч» – не приняли. Барабенов дверной замок у «Зила» перебирал, спросил:

– Ерик, а у тебя по русскому в школе сколько было?

– Три, – гордо ответил Арыкпаев.

Барабенов захохотал:

– Шеф, как бы не пришлось работу над ошибками...

– Грамотно пишу, не мешай, – огрызнулся Ерик.

Надцонов вытер руки, подошел:

– Ничего, мужики, потеплеет, попрошу Весту, она нам красивый трафарет вырежет, и мы всю технику покрасим одинаковой краской, сначала ржавчину сведем, а потом и название напишем.

* * *

Надцонов не любил март. Мутный месяц, для крестьянина непонятный: то метелью хлестанёт дня на три, то спрячет ветра, растолкает облака, чтобы показать народу солнышко. А то вдруг морозец начнет прижимать, да не шутейно, хоть полушубок из кладовки доставай. Оттого и не любил Владимир Надцонов, другие крестьяне тоже без особых восторгов, но хоть как-то угадать, что будет в апреле, март никакой возможности не давал. И тогда с первым солнечным апрельским просветом стаскивали на полевые обочины всё своё хозяйство: диски и культиваторы, бороны и катки. Что вперёд потребуется, а что так и останется до конца посевной быгать на кромке поля – только время покажет.

Весна пришла степенная, крестьянская, днем снега гонит, ночью холод не пускает, пусть влага в землю уходит, для хлеба, для урожая. Мужики семена поделили, несколько раз на ворохах схватывались, но разошлись мирно.

Владимир съездил в район, оформил крестьянский кооператив «Красная Поляна», хотя в земельном комитете барышня не соглашалась на «красную», предлагала взять «ясную», мол, всем знакомо и никакой политики. Сходил к председателю комитета, тот подписал. А заодно и спросил, видно, наслышан, как разделили колхоз, знает ли он, что их Ежовкин назначен начальником управления сельского хозяйства. Надцонов вида не подал, но неприятный осадок в душе привез и с товарищами поделился.

– Володя, да хрен с ним, с Ежопкиным, будем робить и на него не оглядываться. – Сергей Барабенов возился с трактором и вроде не придавал особого значения тому, что говорит. – А я вам скажу. Вчера попросил своих хулиганов обойти усадьбу Ежопкина и глянуть, что у него за сараями под навесом, а заодно и на крышу сарая забраться, заглянуть во двор. Результат: в ограде «Камаз» самосвал и «Беларусь», а на задах под навесом и соломой гусеничный «Алтаец» и «Дон» зерновой.

Мужики оставили свои дела и подошли к Сергею.

– Откуда информация? Вроде ничего не было слышно.

– Проня Волосатов ему всю технику из района ночами перегонял, сам брякнул под стакан, что теперь он первый человек в колхозе, на особом доверии у председателя.

Владимир усмехнулся:

– А мы удивлялись, почему Проня за явное убийство получил поселение. Да, ребята, все меняется на ходу, и не в лучшую сторону. А что будем делать с техникой? Он же ее в любое время перегонит.

Попросил Весту проверить по бумагам, есть ли такая техника в колхозе и откуда она взялась. Она нашла платежные документы, но все четыре единицы переданы по акту птицефабрике в погашение долгов.

Надценова колотило от злости, что председатель последние копейки пустил на технику. Все продумано, у фабрики много земли, техника нужна, сдаст в аренду, и будет жить королем. Тем более теперь, при такой должности. А где правду искать? У главы района? У прокурора? В суде, который оправдал убийцу?

Сергей Барабенов решил проблему просто:

– Ночью пробраться и в топливные баки сахару насыпать. Движок сразу накроется.

Аверин поддержал:

– Хоть как-то навредить.

Надценов махнул рукой:

– Противно мелко пакостить. Да ничего это и не изменит, движки отремонтируют и вперед.

Был у него план. Платежные документы из бухгалтерии Веста скопировала и подменила: копии в папки, а подлинники мужу. В доме Ежовкина жена и ребенок, пугать никак нельзя. Хороший человек сообщил по телефону, что купили Ежовкину особняк главврача, того в другой район перевели. Узнать бы, вдруг супруга на смотрины поедет. Братишку своего от школы освободил, велел глаз не спускать с Ежовкинского дома. И вот прибежал парень, дыхание перехватывает:

– Братка, легковушка подошла, женщина с девочкой сели и уехали.

– Номер машины я тебе велел...

Мальчик подал бумажку. Нашел бывшего водителя председательского, он районные номера знает, подал бумажку:

– Да, машина начальника управления. Ежопкин, скотина, обещал шофером взять – обманул.

Прибежал к складу, собрал своих.

– Распутицы он ждать не будет, гусеничный ладно, а комбайн по огороду не пойдет. Время у нас нет, жена посмотрит особняк и вернется.

– И что? – чуть не хором спросили мужики.

Надцонов напрягся, аж шапку в руках сжал:

– Разом заводим все технику и выгоняем на площадь, под самого Ленина.

– Володя, это же топливо надо, воду...

– Топливо в баках должно быть, не на последних каплях они из района пришли. А воду каждый по канистре – приволокем.

Аверин охватил голову руками:

– Мужики, пересадят нас, точно говорю. Угнать со двора – все равно, что украсть.

– Но ворованное украсть – большая разница. К тому же мы не к себе в ограду, а на общий вид. Пусть завтра народ полюбуется. – Владимир и сам себе не очень верил, что говорил, но нет иного способа накрыть проходимца. – Подожди, парни, это не кража, это изъятие вещественных доказательств. Вызовем нового прокурора, документы предъявим.

– Вова, только настоящие бумажки им не отдавай, захарлят, копии сделай.

– Уже наделал, – успокоил Надцонов.

Арыкпаев засмеялся:

– Володьша, будешь адвокатом в суде, такие слова знаешь!

Решили сегодня ночью, после полуночи. Андрей Аверин, десантник, через забор перемахнул, открыл калитку. Залили воду, подождали, когда за сараями загудело. Распахнули ворота, «Зил» и «Беларусь» выскочили быстро. Надцонов запер ворота и вернулся через забор. Гусеничный трактор и комбайн шуму наделали, но деревня спала. Выехали на площадь, Надцонов выскочил из кабины и отмашкой выстроил технику в ряд. Заглушили моторы, быстро слили воду. Владимир вынул из-за пазухи кусок ткани, растянул вокруг кабины «Дона». Даже в темноте хорошо читалось: «Это украл Ежовкин». Веста по его просьбе написала белилами.

– Ну, что, жулики, по домам? – спросил неунывающий Арыкпаев.

– Расходимся. Утром к восьми надо быть здесь. Я прокурору позвоню.

Что там в восемь – в семь все были на месте, редкие любопытные проходили мимо и вопросов не задавали. Надцонов сбегал в контору, позвонил, прокурор его выслушал и сказал, что немедленно выезжает.

Он подъехал через час, представился, обошел площадку с техникой, попросил лозунг снять. Через полчаса подъехала целая колонна легковых машин, выходили из них солидные люди в красивой одежде и с красивыми портфелями в руках.

– Ну, робя, на них нас и увезут, – хмыкнул Барабенев.

– Ага, губу раскатил, под нас «воронок» подгонят.

Надцонов глянул на своих:

– Только спокойно, я отвечаю.

Ежовкин сразу кинулся на Владимира, но Дима Аверкин вышел вперед – высокий, крепкий и наглый.

– Тебе кто дал право, нищесброд хренов, по чужим дворам лазить? На каком основании? Да я тебя в тюрьме сгною!

– Кто старший, с кем говорить? – спросил прокурор.

– Я. Надцонов Владимир Игнатьевич

– Принято. Что за техника, как она здесь появилась?

– Да они... – пытался крикнуть Ежовкин, но прокурор остановил его.

– Я вас пока не спрашиваю. Продолжайте.

Надцонов спокойно (сам удивился) все рассказал, показал копии платежных документов и договоров передачи техники в аренду.

Прокурор внимательно изучил бумажки и поднял голову:

– Надцонova и Ежовкина прошу пройти в администрацию, милиции обеспечить сохранность техники.

– Я заместитель главы района, здесь директор птицефабрики. Товарищ прокурор, надо бы поговорить.

Владимир только сейчас заметил, что прокурор совсем молодой, форма на нем с иголки, чувствует себя хозяином положения.

– Господа, у меня к вам пока вопросов нет, если что появится, вас пригласят повесткой. А пока свободны.

– Черт знает, что творится! – возмутился директор птицефабрики. – Втянул меня Денис Кириллович в историю, тюрьмой пахнет.

Заместитель главы похлопал его по плечу:

– Не журишь, завтра вернется из губернии глава района, он этот вопрос разрулит.

Ежовкин подергал ручку дверей «Зила» – закрыто на замок.

– Что, Денис Кириллович, не свое оно и есть не свое. Шепни «сим-сим, откройся», [засмеялся заместитель главы.

А в кабинете администрации Надцонов еще раз рассказал все по порядку, прокурор слушал молча, не перебивал. Владимир не выдержал:

– Гражданин прокурор, мы жулика разоблачили, хоть он и большой начальник. Он и в колхозе у нас крал, что плохо лежит. Так неужели нас теперь под суд, а он смеяться будет?

Прокурор прошелся по комнате, встал напротив Надцонova:

– Во-первых, я для вас не гражданин, а товарищ прокурор. Во-вторых, дело это будет крупным, уж я позабочусь. Уже сейчас могу вас заверить, что никого из вашего коллектива я обвинять не собираюсь. Вас вызовут, когда потребуется, а пока работайте спокойно. Да, технику с площади надо убрать и обеспечить сохранность. Вы свободны. Скажите Ежовкину, пусть войдет.

Через полчаса прокурор вышел, ни с кем не разговаривал, сел в свою машину и уехал. Кампания переглянулась и тоже по машинам.

Прокурор не просто прошел мимо местного начальства, он продемонстрировал полную от него изоляцию и независимость. Молодой человек уже выстраивал известные ему события в громкое уголовное дело по борьбе с хищениями должностными лицами материальных ценностей в крупных размерах, а тут и злоупотребления служебным положением, здесь сговор с целью получения выгоды, здесь коррупция в чистом виде. Он хотел сделать карьеру, и он сделает ее, этим громким делом покажет всем, что прокурор строго следует закону, не обращая внимания на чины и звания. Он сделает все, чтобы добиться для Ежовкина обвинительного приговора и реального, не условного, срока заключения. Вот тогда имя прокурора прогремит на всю область и, безусловно, дело будет зачислено в его положительный актив.

* * *

Первая посевная новым коллективом запомнится Надцонову на всю жизнь. Прежде всего, схватились за пайщиков, ведь своих паев земли явно мало. Пошли по родне, по соседям, сразу встал вопрос о цене, старый колхозный бригадир Ерохин сказал, что он свой и старухин пай дешевле, чем за пять центнеров чистого зерна не отдаст.

– Дядя Киприян, ну, как я могу тебе на берегу, еще и подошвы не замочив, сказать, что добуду? Ты же старый крестьянин, а если совсем не уродит, тогда как?

– Тогда, мил человек, продавай машину и мне расчет деньгами,... по цене рынка. (Едва вспомнил!). А нет, так я кому хошь отдам.

Быстро обежал новоявленных председателей:

– Мы какие-то бестолковые. Мужики-то вперед нас столковались, что в договор писать три центнера чистой пшеницы и по два ячменя или овса.

Иван Черных, толковый мужик, втоптал окурок в землю:

– Условие такое, только на первый год: пшеницы два, серых – один. Время есть, подергаются и согласятся. Только, чур, клиентов не перевербовывать, ценой не играть, это при капитализме..., черт, вчера учил, забыл. А, штрейкбрехерство. Ясно?

Все засмеялись.

Долго решали, кому какая земля отходит. Выложили списки пайщиков и общую площадь, об этом не говорили, но понимали, что нынешнее решение навсегда. Каждый знал все поля и их возможности, потому на карту были поставлены пять самых больших и урожайных пашен. Написали бумажки, свернули трубочками, кому что... Сразу обиды: «Ну, я так и знал...». Чего ты мог знать, когда все в открытую? С остальными землями проще. Приняли, что другие участки надо привязывать к основному полю, смотрели по карте, сверяли с набранными паями.

– Не согласен. Вот у меня выписана урожайность по каждому полю за три года. Вы мне подсовываете Рямиху, а Надцонову отходят Зайчиха и Клин, урожайность в полтора. Разве честно?

Надцонов посмотрел на карту, кивнул:

– Верно, бери Клин, он к тебе ближе, а я Рямиху забираю.

Все ждали выхода в поле. Природа всегда испытывает крестьянина на терпение. Солнышко пригрело, согнало снежок, на пашню только в болотных сапогах, но идет мужик, ковыряет оттолкнувшую землю. Лежит сорняк, вида не подает, значит, ждать долго. Тогда еще раз посмотреть сцены борон, покачать гусеницы на тракторе – не прослабли? А потом в склад, весь день все ворота и окна открыты, сколько позволяет площадь, распахивают семена широкими лопатами, чтобы согрелись. Надцонов улыбнулся: в детстве гоняли ребятшек из школы, чтобы зерно разгребать, и называли это ученым словом яровизация.

Через пару дней выволокли сцены с боронами на кромки полей, тут уж вовсе у пашни обедать приходится. И наступает день, когда с утра прошел по полю с полкилометра, да, местами сыровато, но шевелить корку надо, чтобы сорняк спровоцировать. Загудел трактор, ворвался в податливый грунт зяби, и пошла работа. Надцонов не сразу поймал прыгающее сердце: свою пашню работаю, свой хлеб буду растить. Нет, не клял колхозную бытность, при ней вовсе беззаботно жил, все за него добрые люди решали, надо было только за рычагами следить. А тут – сам. И гордо, и страшно, ведь до самой малой капельки знал он всю эту беспокойную стосуточную жизнь, от первого весеннего боронования, до

потока зерна из бункера комбайна в кузов самосвала, и теперь ему одному придется пройти весь этот путь.

К вечеру притащили вагончик, позаимствовали у плотников, уже по темноте заглушили трактора, вскипятили чай. Молчали. То ли устали настолько с непривычки, то ли не осознали еще, как Надцонов, своего нового положения. Барабенов не утерпел:

– Кормильцы России, поделитесь, что наработали? А то я вроде как не при делах.

Надцонов засмеялся:

– Завтра садись за рычаги, дня на три хватит, а я другим делом займусь. Ты с заправщиком договорился?

– Нормально. Обещал, стоянку я назвал.

– Шеф, а ночью будем робить?

Владимир улыбнулся, но вида не подал: Аверкин холостяк, погулять охота.

– Будем, Дима, вот на культивацию выйдем. Только, чур! Твоя ночная смена.

Аверина проводили смехом.

Агрегаты оставили в поле, на «Уазике» Владимира разъехались по домам.

* * *

– Должен я рассказать, как Володька Надцонов на Красную Поляну вышел, по-серьезному, по-крестьянски. А то нарисовал на тракторе «Красная Поляна», и думал, что это хорошо..

Как-то пришла ко мне учительница

– Дорогой Антон Николаевич! Приглашаем вас в школу, с ребятами поговорить.

Я сильно удивился, потому что никогда раньше не звали, ораторы были штатные, правильные, лишнего не сболтнут. Часть из них уже за Сланским мостиком на могилах, другие, видно, занемогли, и оказался я перед большим залом, полным ребятишек. Прежде у учителей спросил, про что рассказать, а они рукой махнули: про свою большую жизнь. Ну, думаю, оставлю сегодня орду без обеда.

Начал с того, что родился я как раз в разгар кулацкого восстания, вот памятник стоит жертвам. Правда, теперь говорят, что это крестьянское восстание против власти, может, так оно и есть. А потом началась коллективизация, крестьяне весь скот и весь инвентарь, какой был, передавали колхозу, это я уже чуток помню. А он, сорванец, руку тянет:

– А сейчас наоборот, все колхозное разбирают по дворам. Значит, колхозы плохо работали?

Гляжу на учителей, они подбадривают.

– Колхозники, если не ленились, работали хорошо, вон у вас в коридоре доска с портретами, доярки и механизаторы, другие тоже – все при орденах. И зарплата была хорошая. Вот скажите, может ваш отец за уборку заработать на мотоцикл «Урал»? Нет, конечно, потому что и мотоцикл стал стоить дороже легковушки, и зарплату чуток прижали. А я, было время, заробил, когда уже техника пошла сильная, мне первому дали «Кировца», я на нем за осень вспахал тысячу гектаров зяби.

– А это сколько?

Тут учительница приходит на помощь:

– Ребята, тысяча гектаров – это поле размером в десять на десять километров.

Ребятишки захлопали в ладоши. Рассказал им про войну, сказал, что смотреть фильмы современные по телевизору не надо, там все врут. Война – грязная и кровавая штука, еще голодуха зачистую. Но – куда деваться, шли в бой и побеждали. Хоронили убитых. Каждый знал, что завтра тебя могут похоронить. Ничего, доползли до Берлина.

– А Гитлера вы видели?

Я помолчал, потом сказал:

– Видел, дети мои, я эту сволочь каждую минуту видел, и когда в прицел смотрел, и когда гранату кидал – я его видел, в него целился.

Рассказал, какая деревня была в войну и после, как тяжело было женщинам и ребятишкам. Плуги на себе таскали, не то что бороны. Потом полегче стало, а в пятьдесят каком-то году нашу деревню свели в один колхоз, и назвали его «Красная Поляна».

Девчонки заахали: «Как красиво!», а учительница спрашивает:

– Антон Николаевич, откуда возникло такое красивое название?

– Расскажу. Если пройти между двумя холмами, ну, вы понимаете (какой-то сорванец захихикал), то через километр примерно будет вам большая палестина чистейшей земли. Вокруг бурьян растет, его и не косит никто, только козы да лоси питаются. А раньше вся поляна была покрыта красным цветом, я не знаю, что были за цветы, только сразу с прихода она была как красное море цветов. Девчонки на свадьбы срезали, да и так просто ставили в банках на подоконники.

– А дальше?

Я помолчал. Как сказать о людях, у которых понятия нет святого и чистого? Началось целина, и председатель, не наш был, присланный, велел поляну перепахать. Что только не сеяли – ничто путем не растет. И цветов не стало, осталось одно название.

Загрустили мои слушатели, притихли. Я тоже всгрустнул, а потом осмелел:

– Вот теперь начались большие перемены, из одного колхоза сделалось пять или шесть. Никто не скажет, хорошо это ли плохо, только думаю мне, что другие, лучшие, красивые времена настанут, когда зацветет Красная Поляна, тем же цветом или иным, но чтобы светло от нее шло и радость.

Поблагодарили меня, наградили большой коробкой конфет, которые мы тут же с девчонками разыграли.

Пришел домой, прилег, а Красная Поляна с ума не сходит. Был я там прошедшим летом, большая площадь, поди, гектаров пятьдесят будет. И почему ничто не растет, кроме тех цветов? Надо будет Владимиру подсказать, он мужик толковый, в институт поступил, говорит, надо для дела. Довел его до белого каления, тот махнул рукой:

– Ладно, дед, садись в «Уазик», копнем грунта на Красной Поляне.

Земля еще толком не отошла, но три куса мы добыли, закинули в пакет. Владимир пообещал, что свезет в лабораторию, определят, что за почва. А уже через неделю подъехал, сигналил:

– Дело, Антон Николаевич, не простое, почвенники анализ сделали и ума не могут дать, что произошло на этой поляне. Я им наковырял в трех местах в стороне, говорят, нормальная земля, способна для воспроизводства. А та – нет, непонятно, как, но уничтожены в ней многие вещества, которые необходимы для роста культурных растений. Понял?

Конечно, я ничего не понял, но на всякий случай кивнул. И спросил осторожно, а можно ли то, чего не хватает, добавить?

– Конечно, дед, вот и список, чего и сколько надо. Я уж прикинул: приличные деньги. На том и расстались.

Вечерами Владимир объезжал поля, на каждом останавливался, заходил с края, отмечал в тетрадке, много ли сорняка, не изрежен ли посев, срывал колосок, жал в руке, считал, сколько зернышек завязалось. А в конце августа уже входил в поле, не боясь помять высокую пшеницу – поднимется, проводил раскрытой ладонью по верхушкам колосьев, ощущая их энергию и будущую силу. Владимир понимал, что это теперь его жизнь, его любовь, столько трудов вложено – не бросишь. Какое там! На днях парни всерьез заговорили о животноводстве, правильно сделали, что заварили железом ворота и окна фермы, надо до уборки провести там ревизию оборудования. Если все нормально – брать кредит и закупать нетелей в Кургане. Все лето сено готовили, часть продали, остальное надо тормознуть. Судя по видам на урожай, можно будет выдать пайщикам по три центнера пшеницы, хотя они и так не бедствуют, в кооперативе, который с первого дня стали звать колхозом, выписывают все, что надо для хозяйства.

Слег отец Игнат Никонорович, велел устроить ему лежанку в маленькой горенке, Мария от него не отходит. Все сказалось. В войну хлеба не видели, не то, что не ели, только картошка. Спасибо корове Красуле, осенью растелится, всю зиму хоть кружечку, но каждому молочка мать плеснет. А в морозы заводили Красулю в избу, чтоб не замерзла...

Сестры еще школьницы, брат учится на механика сельхозмашин. А сестрам Владимир строго сказал: «На первый случай, девчонки, техникум, одна ветеринар, другая зоотехник. Сами определитесь. Большое хозяйство будем разводить, специалисты нужны. Да, насчет замуж... Только сюда, дома уже строим, так что к городу шибко не привыкайте, а парней присматривайте деревенских». Позже понял, почему улыбнулись близняшки: женихи-то, похоже, уже есть, с учебой сложнее...

* * *

Но и Владимир заразился Красной Поляной, если его кооператив имя себе такое взял, то надо и поляну ту к жизни вернуть. После посевной поехал в область к ученым людям, узнал о специальном институте, который занимается недрами. Попасть к ученым оказалось довольно просто, сначала его пригласили в кабинет, расспросили, что конкретно интересует молодого человека. Узнав, что пред ними дилетант, и вопрос его носит чисто познавательный характер, Володю отвели на третий этаж в большую комнату, уставленную книгами. «Библиотека» – подумал он, и не ошибся. К нему вышла довольно пожилая дама, одетая в синий халат, усадила за стол, напоила чаем, а потом спросила, что его волнует. Володя рассказал о красивых цветах, поднятии целины, абсолютном бесплодии тамошней почвы, показал заключение почвоведов. Дама принесла карту и попросила указать это место. Надцонов явно растерялся: «Надо было на уроках географии не Нинку за косу дергать» – вскользя подумал он, но ученая дама уже нашла и деревню, и Женские Груды, и поляну по ту сторону.

– Будьте любезны, посидите некоторое время, мне нужно отыскать один интересный материал.

Она ушла и отсутствовала так долго, что Надцонов успел уснуть и, видно, с храпом, потому что дама, будто случайно сдвинув стул, сказала:

– Да, не перевелись еще богатыри на Руси!

Потом положила на стол машинописную книжку, долго искала нужное место, наконец, предупредительно подняла палец:

– Слушайте, коллега.

«В семнадцатом веке Сибирь буквально поливали метеориты, карты местности от Оби до самого Урала испещрены следами их падений. Одновременно описаны ленточные следы взрытой земли, что не все ученые склонны относить к движению ледниковых пород, и считают их чуть ли не рукотворными. Но очевидных подтверждений этих предположений нет.

Среди уникальных последствий падения метеоритов отмечают взрыв в районе между реками Иртыш и Ишим, маленьким притоком Тобола. Специалисты считают, что метеорит падал под острым углом к земле, на высоте нескольких километров взорвался и двумя мощными потоками осколков встретился с землей. Сила столкновения была столь велика, что энергией удара выбросило большое количество грунта, который впоследствии превратился в два рядом стоящих высоких холма, поросших лесом. Лес поселенцы с западной стороны свели, а на восточной место выброса грунта постепенно выровнялось и сегодня имеет вид чуть углубленной поляны. Странно, что вся поляна от ста метров и далее окружена лесом, на самой же поляне растут красивые цветы, которые пользуются большой любовью молодежи».

– Узнаете? – спросила она и улыбнулась. – Это исследование не было опубликовано, автор великий ученый Драверт. Да... А вы так и не выяснили, какие именно цветы росли на сей поляне? Очень жаль, возможно, они прижились бы вновь. Но это не к нам, это в институт сельского хозяйства.

– Так я там и учусь, заочно, правда, в молодости ума не хватало, а теперь без знаний никуда.

– Простите мое неуместное любопытство, но где вы работаете?

– Крестьяне мы, землю пашем, хлеб растим.

Дама всплеснула руками:

– Господи, если крестьяне стали интересоваться тайнами науки, она никогда не погибнет. Вот вам копия той странички, и всех вам благ.

На кафедре растениеводства Володю чуть не высмеяли: какие красные цветы? Их тысячи разновидностей. И требовали образец. А какой образец, если все перепахали полвека назад? Домой приехал туча тучей, Весте все рассказал, ребятишкам тоже, а что за цветок был – нигде теперь не узнать.

– Родно мое, – улыбнулась Веста. – Обратись к школьникам, у их бабушек обязательно могли быть эти цветы в книжках или альбомах. Ты же говорил, что молодежь когда-то любила эту поляну. Иди в школу.

Директор отнесся к этой идее с пониманием, на большой перемене объявили всеобщее построение, докладывал Владимир Игнатьевич. Всю историю рассказал, и про метеорит, и про ученого, и про взрыв прочитал распечатку из книги.

– Ребята, у ваших бабушек могут сохраниться книги или альбомы, тогда модно было стихи и песни записывать, а между страничками выкладывать цветы. Я помню, у мамы такой был, но мы уже ничего не нашли.

На другой день сразу две девушки и мальчик принесли Надцонову заложенные в книги засохшие, хрупкие, но сохранившие цвет растения. Владимир аккуратно переложил их в толстую тетрадь и через три дня был в институте.

– Вот это другое дело, – поправляя очки, заявил профессор Власов. – Теперь никакого труда определить, что это за вид. Друзья мои! – Он подозвал нескольких студентов. – Кто определит вид этого цветка, ставлю зачет автоматом.

Ребята и девушки склонились над растениями уже уложенными в плотные бесцветные пакеты.

– Профессор, это жарки. Нет?

– Увы!

Разглядывают, перешептываются:

– Я думаю, что это купальницы, только это очень старый гербарий, сегодня купальница чуть другая, так мне кажется.

Профессор засмеялся:

– Проще мыслить надо, друзья мои, ближе к земле.

– Мне кажется, это мак-самосейка, – смущенно предположила студентка.

Профессор захлопал в ладоши:

– Вам правильно кажется, но Сибирь – не его ареал произрастания. Вы говорите, молодой человек, что это поляна? Она открыта всем ветрам или в низине и защищена лесами?

Володя кивнул:

– Точно, она как чаша.

– Вот! – Профессор значительно поднял руку. – Благодаря этому над поляной образуется как бы особая климатическая зона с повышенной влажностью и мягкими температурами. В незапамятные времена ветра, птицы или черт знает, кто, могли занести сюда семена мака. А коли условия приличные, они взошли и дали потомство. Итак, вы довольны, молодой человек?

Надцонов, конечно, был очень доволен, но...

– Профессор, где можно купить семена этого растения?

Тот пожал плечами:

– Едва ли где оптом, ибо дикорастущий вид. Но вы можете поехать в места массового произрастания, это Северный Кавказ, можно набрать головок сколько угодно.

– Подождите, так это мак с головками? У нас его в каждом огороде полно. Мы его в детстве горстями если.

Профессор засмеялся:

– Вы кушали, извините, горстями культурный мак, кстати, он запрещен и объявлен наркотиком, так что аккуратней. А тот имеет очень маленькую семенную коробочку. Уверен, собираете, сколько надо. Очень даже может быть! Желаю удачи!

Студентка смущенно подняла руку:

– Профессор, но должны быть в южных городах организации, которые занимаются украшением города цветами? И у них должны быть все семена.

Профессор согласился:

– Да, интересная мысль. Попробуйте списаться с ними. Время еще есть.

– Спасибо вам!

Надцонов поблагодарил студентов, пожал руку профессору и вышел, полный надежд.

* * *

Нынче Надцонов обновит американский почвообрабатывающий посевной комплекс с «Джон Диром», ждёт, приедут ребята из техноцентра, настроят, первый день проследят за работой.

– И сколько ты в него влупил? – спросил вечно недовольный Аркаша Захаров, тоже фермер, но, похоже, бизнес выходит на финишную прямую. Пить вино и растить хлеб одновременно еще никому не удавалось. Аркаша уже продает остатки техники, Надцонов железо брать отказался, а часть пайщиков неудачника принял.

Трактор сгрузили с платформы, завели и загнали в ангар, Владимир освободил место, чуть сдвинул семенные вороха. Спроси бы кто другой, поближе и доброжелательней, не Аркаша – рассказал бы на радостях, сколько в банках бумаг писал и печатей ставил, сколько раз заманивал его начальник лизинговой компании, такие картины рисовал, что комплекс чуть ли не в подарок мужик получает. И только случайная встреча с заместителем директора департамента по селу спасла Владимира от пролета. А встретились в экономическом отделе департамента

– Подожди, вроде в вашем районе ещё нет комплексов? – вспомнил начальник.

– Нету, – согласился Надцонов, – омскими сеялками спасаемся.

– И как получается?

– Нормально, три года уже, вот, в люди выходим. Конечно, хотелось бы свое, русское.

Инженер кивнул:

– Очень бы хотелось, перед крестьянами стыдно, как сутенеры проституток, сбываем иностранный товар. Проекты есть, опытные образцы есть, но кому-то выгоднее купить в Канаде или Штатах. Скрипим зубами... Но, брат, ты веры не теряй, ты еще успеешь поработать на русской технике. Успеешь. Дай-ка твои бумаги. – Он долго перебирал объёмистую папку, выложил наверх несколько документов. – После обеда, в два часа, приезжай, вместе зайдём к директору, я его подготовлю. Выведем тебя на прямую на поставщика, без посредников, это пару миллионов тебе спасет.

Надцонов помялся, взял папку, в глаза заглядывает:

– Прощения прошу, не в курсе этих дел. За эту льготу платить надо?

– Кому? – спросил начальник и улыбнулся: – Тебя в лизинговой напугали, что в департаменте надо взятку давать? Твою мать, доберусь. Мы эту линию используем для поддержки начинающих. Ладно. Жду.

Не стал ничего объяснять Захарову, закрыл ангар, бункер, шланги и электромоторчики пологом обтянул, а вечером привез Ваню Хроменького, мужик трезвый и без работы. Велел подтапливать избушку и смотреть, чтобы к комплексу никто не подлез.

Только бы погода не подвела. Крестьянину испокон веку надо, чтобы в последней декаде апреля было тепло, чтобы зябь трактор с боронками приняла, чтобы сорняк, особенно овсюг, на радостях выщелкнулся, вот тут его под нож культиватора или дисков.

Тогда можно пашенку готовить под посев. Опять желательно, чтобы в майские праздники обильно помочило, но потом тепло и чтоб безветрие. Ветер в такую пору страшный враг, тоннами воду высасывает. Ну, тогда с десятого по двадцатое мая ни бани, ни бабы, перекусить на ходу парой котлет, запить холодным квасом – супы и пельмени, баня жаркая и подзабытые женины ласки будут потом.

Пришла долгожданная посылка из Сочи с семенами мака. Надцонов вскрыл ящик, сверху письмо:

«Дорогие сибиряки, мы очень рады, что в вашем суровом крае вновь зацветут маки. Мы специально взяли более жесткие сорта, потому что хоть и особые условия, как вы пишете, в Красной Поляне, но все равно это не юга. Потому советуем высеять их при температуре почвы не ниже 10 градусов, высеять грядками вручную, просто развеивая семена не очень плотно. И сразу непременно прикатать и полить. Грядками потому, чтобы можно было при нужде полить, подкормить или подлечить. И постоянно наблюдайте, особенно в первый год. Коробочки с семенами начнут созревать уже после увядания самого растения, хотя может и раньше. Так что не переживайте, время от времени вскрывайте одну коробочку, сразу видно, созревают семена или нет. Никаких денег оплачивать не надо, приказом директора эта посылка оформлена как подарок сибирякам. Желаем удачи и пишите постоянно.

Сотрудники Сочинского института декоративных культур».

Это Веста посоветовала Володе написать в институт, понятно, что и там перемены, но не настолько, чтобы совсем про цветы забыли. Весь вечер сочиняли письмо, получилось на трех страницах, убедительное. И вот результат.

Утром Владимир съездил на Красную Поляну, прошел вдоль и поперек. Вернулся, ребята комплекс собирают, инженер из техноцентра подсказывает. Тоже включился в работу, к обеду закончили. Молодого Диму Аверкина и настырного Арыкпаева отправляли на учебу, «Джон Дир» – не «Беларусь», в кабине, как в самолете. Ничего, проучились и экзамены сдали. Надцонов не удержался:

– Парни, есть возможность проверить агрегат, Красную Поляну надо под посев подготовить.

– Поделись, что ты там сеять собрался, – спросил вездливый Арыкпаев.

И тогда Надцонов поведал друзьям все свои хлопоты по изучению истории и возможности восстановления цветов на поляне. Даже молчаливый Барабенков не удержался:

– Молодец. Это тебе не овсюг дисковать.

На поляну поехали все вместе, Алеша за рулем, остальные в «Уазике». Хотел Весту с собой взять, ведь и ее труды и заботы, да на последних днях она, рожать скоро. Поднялись узкой дорожкой между холмами, спустились через лес, запущенный за последние годы, когда лесников вдруг сократили. Даже пожар в прошлом году начинался, большой колок выгорел, но отстояли. С декаду потом, до первого дождя, поочередно дежурили, а мальчишкам строго-настроено запрещено было в тот лес ходить.

Когда вышли на поляну, Надцонову даже показалось, что она обрадовалась, она его встретила, раскрыв широкие объятия своих окраин. Он тоже ей улыбнулся, и, чтобы кто из мужиков не заметил, прошел на середину и тихо прошептал:

– Ты уж прости нас, родная земля, что мы тебя бросили. Все о брюхе своем печемся, как говорит Антон Николаевич, а о красоте забываем. Вот от имени своих мужиков обещаю тебе, родная наша Красная Поляна, вернем мы тебе и красоту твою, и имя твое.

Пожалел потом, что не взял с собой старика, обернулся, а он с холма спускается, ноги заплетаются. Завел «Уазик» и навстречу.

– Я ведь сразу смикитил, куда ты направился, да не успел прицепиться, одышка, чтоб она пропала. – Дед посерел лицом, взмок.

– Антон Николаевич, ты что, сердце клинит?

– От радости, ребята, на крыльях летел, успел, уж вижу Красную Поляну всю в цветах, вот она, красавица, как в старые годы, бывало. Я ведь, ребята, перед венчанием за цветами сюда ходил со своей Феклушой...

Он замолчал, прилег на правый бочок и затих. Мужики оторопели. Владимир прислушался к сердцу, да так и уткнулся в костлявую грудь старика. Антон Николаевич умер. Когда пришли в себя, тело загрузили в машину, Володя рванул к медпункту, сам не зная, зачем. Фельдшер выскочила, глянула на старика и кивнула:

– Вези домой, Володя, хоронить будем деда Антона.

Все поехали в столярку, молча пилили и строгали сухие доски. Владимир уже не стыдился слез, мужики знали, как дружны они были с покойным.

В открытые двери столярки вбежали девчонки, Нюрка с Шуркой, сестренки Володиной:

– Братец, Веста мальчика родила. Только что. Три восемьсот.

У Надцонова фуганок из рук выпал. Встал, обнял своих друзей:

– Простите, ребята, высокими словами хочу сказать, из души рвутся. И вас призываю в соратники. Поклянемся же, чтобы жила наша земля! Пусть размножится род наш крестьянский, как размножатся нынешним летом цветы на Красной Поляне! А имя деда Антона будет жить в сыне моем. И земля наша не переведется во веки веков! И цветами мы ее укроем. Клянусь!

И заплакал навзрыд.

-0-0-0-

Последнее откровение

В небольшом северном городке захватила меня непогода, аэродром закрыли, десятка два неприкаянных пассажиров, видно, не в первый раз, терпеливо пережидали пургу. На все вопросы ответ диспетчера был один: как только успокоится, всех и отправим. Я не стал терять время, достал из сумки диктофон и стал прослушивать запись своих северных разговоров. Пообещал редактору три очерка, он согласился, и совсем незнакомого журналиста отправил в столь солидную командировку.

Приближался полдень, но это только по часам, белесая пелена, затянувшая все пространство над аэродромом, над городом и над всей Северной стороной нисколько не

изменилась, дул ветер, и кто-то огромный могучими пригоршнями бросал охапки сухого и колючего снега. Солнце иногда пыталось выглянуть и посмотреть, что там, внизу, но его сразу прятали снежные объятия. Я пошел в буфет, не особо рассчитывая на вкусный обед, встал в очередь, продолжая слушать. Кто-то остановился рядом и тронул меня за плечо:

– Простите, вы Устичев?

– Да, – ответил я, чуть обернувшись и вынимая наушник. Рядом стоял солидный мужчина в дорогом полушубке и аккуратных унтах, красивую шапку из неизвестного мне зверя держал в руках. Где-то я видел этого человека, но сообразить не успел.

– Простите за бестактность, ждать нам долго, потому предлагаю поехать со мной, обед и ужин гарантированы, билеты продублируем по телефону, а самолет будет не раньше завтрашнего полудня.

Пока он говорил, я вспомнил, что видел его в областной администрации, он вел совещание по сельскому хозяйству, вел жестко, четко, требуя от выступающих конкретных объяснений и предложений. Кажется, он кого-то даже освободил от должности, отчего обстановка стала еще напряженной. Я тогда все доложил редактору, он, видимо, человек осторожный и хорошо знающий субординацию, предложил ограничиться краткой информацией. Было жаль потраченного времени.

– Не напрягайтесь, я Миргородский, заместитель губернатора. А вас знаю как писателя, дочка принесла несколько книг, прочитал, пока болел гриппом. И книги понравились, и портрет ваш запомнил. А потом вижу, в нашей газете печтаетесь. Так принимаете предложение?

Он куда-то позвонил из кабинета начальника, через полчаса в зал вошел мужчина и оглядел присутствующих, кого-то выискивая. Миргородский кивнул мне, мы вышли, уселись в «Волгу» и осторожно поехали в сторону города. Остановились у небольшого особнячка, закутавшаяся в шаль женщина встретила в вестибюле:

– Пожалуйста, Вениамин Матвеевич, номер готов.

– Нужен двухместный. Со мной товарищ.

– Хорошо, подготовим и ему номер.

– Я сказал: двухместный! И сразу хороший обед. Две бутылки коньяка. Тот, что вчера подавала, армянский. Помнишь?

Признаться, меня все смущало: почему большой начальник выбрал в компаньоны именно меня? Допустим, книги сыграли роль. Тогда почему он настаивает на двухместном номере? В одноместном же удобнее. К тому же я немного храплю, крайне неприятное обстоятельство. И приличный, как я понял, обед с коньяком – этому чем обязан?

– Ты опять напрягся? Не возражаешь, если на «ты»? Не этим определяется уважение, я всегда перехожу на официальный тон, когда хочу поставить собеседника на место. Знаешь, действует. Ввожу в курс: это гостиница бывшего горкома партии, я ее построил, когда работал первым, здесь все чика в чику, полный порядок. А я тебя сразу заметил, ну, и пригласил, когда понял, что все равно придется сутки коротать.

Две девушки принесли супницу, глубокие тарелки с мясом и рыбой, термос с кипятком. Достали из буфета горку чистых тарелок, из холодильника две бутылки коньяка, рюмки, лимоны и шоколад.

– Здесь как у товарища Сталина на даче: все приготовлено, а дольше

самообслуживание. За этим столом сживали большие люди. Кто? Косыгин Алексей Николаевич, премьер, как сейчас бы сказали. Бывал часто Байбаков Николай Константинович, Рыжков Николай Иванович, все вице-премьеры. Одно слово – Север, нефть, газ.

Хозяин положил в свою тарелку солидный кусок мяса с овощами, большую вилку и ложку передал мне: самообслуживание. Налил по большому фужеру коньяка, потянулся чокнуться.

– Прости, дорогой мой, я не запомнил твое имя.

– Леонид, Кириллович, если официально.

– Леонид. Был у нас и тезка твой Леонид Ильич. Хороший мужик, но стержня нет, и пропало все дело. Давай со знакомством.

Выпили, поели мяса. Перед очередным блюдом Вениамин Матвеевич налил еще по фужеру. Коньячные рюмки сиротливо стояли на краю стола.

– Давай выпьем за женщин, Леонид. Собственно, женщина и стала причиной нашего сегодняшнего знакомства. Непонятно, правда? Я поясню. Ты сны видишь?

– Бывает.

– Не придаешь значения. Может, в твои годы и правильно. Давай вздрогнем, как говаривали мы в годы комсомольской юности.

Вздрогнули. Я никогда не пил коньяк такими дозами и чувствовал, что пьянею.

– А я сегодня видел во сне женщину из далекой молодости. Честно признаюсь, что забыл ее напрочь, ни разу не вспоминал, правда, был один случай... А сегодня явилась во сне, как будто вчера расстались.

Он встал, порылся в портфеле и вынул пачку сигарет, закурил.

– Курить бросил, но сигареты держу на такой вот случай. Скажи, писатель, инженер моей души: почему женщина тридцатилетней давности вдруг приснилась и столько замутила в сознании? Я тебе все расскажу, не отказывайся, иначе я запью горькую и в губернию не попаду.

Он налил себе конька и выпил молча.

– В молодости я работал по комсомольской линии, получил отпуск, приехал к родителям в деревню. Июль месяц, грибной сезон. Отец мой только что получил от государства «Запорожца» с ручным управлением, у него правой ноги по самый пах не было, отпилили где-то под Кировоградом. Вот на этой машине возил я их с мамой по грибы. Отец все места груздяные знал, командовал, куда рулить, ставили машину в тень, отец указывал, куда нам идти, а сам отбрасывал костыли и передвигался на пятой точке. Кстати, нарезал груздей больше, чем мы с мамой. Но не в этом дело. Едем из леса через маленькую деревеньку Борки, а дело к вечеру, мама говорит:

– Сынок, чтобы дома в магазин не ездить, остановись возле лавки, возьми хлеба.

Я зашел в маленький магазинчик, смотрю – Лариса, в школе вместе учились, только она года на четыре младше. Конечно, обрадовались, не виделись лет пять. Спрашиваю, как жизнь, она улыбается:

– Нормально. После школы уехала в Омск, работала, училась в вечернем техникуме, замуж вышла, а как сына родила, муж меня и отправил по домашнему адресу.

– А почему ты здесь, а не дома у родителей?

– Отец не пустил с приплодом, а тут бабушка, его мама, приняла.

Я хлеб в авоську положил и смотрю на Ларису: красивая, фигурка девичья, волосы копной рыжеватые. Не удержался:

– Лариса, я к тебе вечером приеду? Можно?

– Приезжай, – кивнула она и покраснела.

Вечером помыл машину, попарился в баньке, и к ней. Лариса еще в магазине, порядок наводит на полках, потом ведро взяла и тряпку большую на деревянной швабре.

– Поберегись, – смеется, – а то уляпаю твои белые туфли.

Правда, я пододелся, надо же понравиться женщине, брючки светлые, белая рубашка, туфли. А тут неловко сделалось перед Ларисой, она и так устала за день, лицо покраснелось, лоб влажный от пота. Беру я у нее тряпку, ведро, и, как учил армейский старшина Шкурко, лью воду на пол и работаю шваброй. Лариса села на прилавок, ножки поджала, смеется. И до того мне стало легко и хорошо, подошел к ней, обнял влажными руками, только ладошками не касаюсь, чтоб не испачкать, и крепко поцеловал. Кое-как она выпросталась из объятий, смутилась, но я ведь вижу, что ей приятно. А ворчит:

– Не можешь чуток потерпеть, а если бы зашел кто?

– И пусть. Кого нам бояться? Ты девушка свободная, я тоже.

– Не ври. Я поспрашивала, сказали, что женат. А зачем врать?

Конечно, мне неловко. Опять обнял ее, шепчу на ушко:

– Лариса, не надо об этом. Ты нравишься мне, правда, я едва вечера дождался. Не гони, а?

Она соскользнула с прилавка, оглядела мою работу, засмеялась. А смех у неё колокольчиком звонким, почти детский.

– Веня, ты вино пьешь? Я поставлю в коробку бутылку портвейна, стаканы, конфеты. Ко мне нельзя, не хочу, чтобы бабушка знала. К тебе поедem? – Она опять засмеялась своей шутке. – В машине посидим, выпьем за встречу. Ты меня до дома довези и встань за околицей, я через часик подойду. Сын же у меня, я говорила.

Дождался. Прибежала, платице на ней легкое, шарфик газовый, теперь таких уж нет, вся светится, села рядом со мной, повернулась, ухватила за голову и присосалась, целует и плачет. Я даже испугался, оттронул ее, а слезы-то радостные, с улыбкой.

– Ты не подумай, Веня, что я каждому мужику вот так на шею бросаюсь. Ты мне еще в школе глянулся, я совсем соплюшкой была, а ты видный, отличник, комсомольский секретарь. Если хочешь – поинтересуйся, никто слова плохого про меня не скажет.

И опять жметесь, я чувствую, что мелкая дрожь в руках, обнял, а она как-то обмякла вся, потом спохватилась, оттолкнулась и за коробку:

– Открой вино, а то зябко.

Врет, конечно, июль месяц, вечер прохладный, но в машине стекла подняты от комаров и мошкaры. Выпили мы по стакану вина, портвейн был «три семерки», чистый, приятный. Ты, наверное, и не видел такого?

Я улыбнулся:

– Не успел.

Тут мой рассказчик насторожился:

– Прости, Леонид, я тут расслабился. Тебе не интересно?

– Интересно. Говорите.

– А что говорить? Предложил я Ларисе выйти из машины. За деревней березовый

колочек на бугорке, насобирали сушняка, костер зажгли, я старое одеяло тайно от мамы прихватил, расположились с вином и конфетами. Опять обнимаемся, целуемся, она жметя ко мне, но мне воли не дает. Я крепился-крепился, а потом спросил напрямую:

– Лариса, если я тебе не нравлюсь, зачем согласилась, зачем целуешь до помрачения?

Она смеется:

– А я с прошлой пятилетки не целованная, вот, наверстываю. Венечка, милый, чуть поторопились мы со свиданием. Кроме поцелуев ничего пока предложить не могу.

А сама от смущения зарылась мне в плечо и легонько покусывает. Я к тому времени уже битый был мужик, мало чему мог удивиться, а тут такая по мне теплота пошла, так стало радостно, что слезу пробило. Лежим рядышком, обнимаю ее, трепетное тельце чувствую через ситцевое платишко, волосы ее, полынькой пахнущие, вдыхаю, груди мяконикие губами отыскиваю. Лариса до уха моего дотянулась и говорит тихонько:

– Веня, ты меня не разбалуй, не надо так, я ведь и поверить могу, а ты через неделю пропадешь. И что мне тогда? В петлю? Нельзя, сына надо поднимать.

Что я мог ей сказать? Воздержался от скоропостижных обещаний. Так в объятиях и рассвет встретили. Уже светать начало, зариться, как говорят у нас в деревне, Лариса легонько оттолкнула меня и прошептала:

– Измучились мы, все равно ничего не получится, увези меня домой, поспать до коров осталось два часика.

Подъехали к домику, она нежно, как ребенка, чмокнула меня в щёку, в губы:

– Завтра приезжай попозже, чтобы не ждать. Пока я разберусь с хозяйством. Ладно?

К вечеру следующего дня собрался дождь, забусил, прибил пыль на дороге, все живое под крыши загнал. Я оделся легонько, спортивный костюмчик, тогда трико называли, тапочки легкие, и в Борки. Лариса вышла уже по темноте, села в машину и смотрит на меня в упор. Я смутился:

– Что-то случилось?

– Случилось, да. – Она помолчала. – Веня, уезжай скорей домой. Я видишь, какая, как кошка: приласкал, так у ног и останусь, благодарная. Боюсь, что полюблю тебя. Да и уже люблю. Сегодня весь день только про тебя и думала. Понимаю, что глупости это, только у бабы по этой части ума никогда не хватает.

Помню, что смутило меня это признание. Одно дело, когда встретились, покурдались и расстались, а тут девчонка на таком серьезе. Что я могу ей предложить? Женат, сыну второй год, а из партии и с работы попрут – это само собой. Понимаешь, – он плеснул в бокал конька и залпом выпил. – Понимаешь, было у меня ощущение, что это именно та баба, какая мне нужна. Красивая, чистюля, что на ней все скромненько, но приятно посмотреть, что в магазинчике её. И страстная, откровенная в чувствах, я терпеть не могу жеманниц. Душа к ней рванулась, это помню. Обнял тонкие её плечики, она опять в грудь уткнулась и что-то шепчет. Прислушался – ничего не пойму.

– Ты говори громче, Ларочка, я не пойму ничего.

– А тебе и не надо понимать. Я молю Бога, чтобы ты поскорей уехал и забыл меня.

– Мне в субботу надо выезжать, два дня осталось. Лариса, пойдем к тебе, бабушка спит...

– Нельзя. Мне будет стыдно.

Дождь стекал по стеклам машины, не оставляя никакой надежды на старенькое

одеяло. Так и прообнимались, пока Лариса на часы не глянула:

– Ой, уже третий. Венечка, приезжай завтра.

Выходя, она крепко меня поцеловала и улыбнулась, я видел ее улыбку в свете слабенького фонаря:

– Весь день буду молиться, чтобы дождь перестал.

Дождь шел два дня подряд, мы смирились с судьбой и, как школьники, обнявшись, говорили о каких-то пустяках. В последний вечер я попросил Ларису взять немного денег. Она смутилась:

– Веня, я зарабатываю.

– Ты не поняла. купишь себе часы золотые, подарок от меня. Возьми, прошу. Лариса, я буду скучать по тебе и всегда помнить. Мне так сильно хочется прижаться к тебе, всю тебя почувствовать. Я с ума схожу!

Она тихо шепнула:

– А я-то!

На том и расстались. Осенью меня направили в Москву в партийную школу, семью оставил дома, так что время проводил весело. Про Ларису и не вспоминал. На летних каникулах поехал к родителям, автобуса дожидаться не стал, остановил грузовик с зеленой полосой, был такой опознавательный знак для транспорта потребкооперации. Водитель, молодой мужчина моего возраста, не очень разговорчив.

– Ты через Доновку поедешь?

Он кивнул.

– Товар везешь?

Опять кивнул.

– В Борках продавцом Лариса работает?

– Нет, она теперь в Луговой.

– А почему?

– Замуж вышла, теперь жена моя.

Честно скажу, я испугался. Это же деревня, ничего не скроешь, мама моя мне выговаривала, что с толку сбиваю хорошую бабочку. Значит, и он мог знать про нас с Ларисой. Не думаю, что ему приятна эта встреча.

– А ты почему интересуешься?

Я ничего не успел придумать и ляпнул первое, что пришло в голову:

– Брал у неё в долг две бутылки водки, а рассчитаться не успел, уехал. И родителям не сказал.

Парень головы не повернул, сказал безразлично:

– Давай, я передам.

Я быстро вынул бумажник и протянул ему деньги. Он положил бумажку в карман и продолжал рулить, не глядя в мою сторону. Неужели он знает? Любопытство побороло осторожность, и я уточнил:

– Скажешь, что от Миргородского.

– Знаю, – ответил он равнодушно.

Вот так, дорогой мой писатель, какие штуки выкидывает жизнь.

Я молчал. Получается, что эта романтическая история случилась не менее тридцати лет назад. Но почему он о ней вспомнил именно сейчас?

– Вениамин Матвеевич, вам сон напомнил о Ларисе?

– Да, сон. Но сон случился не просто так. Я недавно в гостях был у Ларисы.

Признаться, на родине давно не бывал, родителей похоронил, родных никого. Ты знаешь, что мы пытаемся сохранить производство в деревне, но не всегда получается. Есть и в моем районе приличные частные предприятия, но есть населенные пункты, где вообще все производство загубили реформаторы хреновы. Сразу не подвернулся деловой человек, а временщики все прибрали к рукам, скот на колбасу, технику сбывали по дешевке. Народ остался без работы, выживай, как знаешь. Приехал я в родное село и ужаснулся: все мертво. Фермы растащили, поля заросли, в село понаехали чужие люди. Сидит в сельской администрации бывший парторг, старый мой знакомый. Пожаловался, такую тоску нагнал. Прикидываю, что могу сделать для земляков. Был у меня проситель с предложением серьезно заняться картофелем, вот, думаю, предложу ему здесь развернуться. Но главе ничего не сказал, а спросил:

– Неужели нет у тебя ничего, что бы сердце порадовало? Неужели мои земляки совсем руки опустили?

И он предлагает посетить семью, которая держит десяток коров, сотню овец, бычков продает на мясо. Машину легковую имеют и новый дом строят. А самое интересное в том, что в одном доме родители и дети с внуками, да так дружно живут, что всей деревне на зависть. Я кивнул: поедем, хоть одно приятное впечатление от посещения родины.

Приехали в Луговую, остановились у строящегося дома, рядом старый стоит и все вокруг обнесено хозпостройками, пригонами у нас зовут помещения для скота. Дело было осенью, по холодку, но скот пасется, разумный хозяин корма экономит. Встретил нас молодой мужчина и супруга его, пригласили в дом. Глава знакомит с молодыми и старшими хозяевами, у меня очки запотели, протираю стекла платком, руки пожал, а имен не расслышал. Хозяйка ставит на стол большую жаровню с мясом, хлеба нарезала домашней выпечки, бутылку водки разлила по стаканам. Сын рассказывает про хозяйство свое, говорит, что плохо помогаем крестьянам. Спрашиваю:

– Что тебе нужно сегодня, чтобы работать без проблем?

Он сразу отвечает:

– Видел в агрофирме комплекс сенозаготовительный, но дорого, нам не подняться.

– Половину стоимости закроем бюджетом, вторую часть поделим на пять лет, но при условии, что для земляков будешь сено заготавливать по себестоимости плюс двадцать процентов ренты. Все с главой согласуете.

А мама его подсказывает:

– Сережа, проси доильный аппарат. Мне прямо жалко сноху мою любимую Клавочку. Когда все коровы растелятся, попробуй этот табун продоить. Сама хожу, помогаю.

Тут глава вмешался:

– Лариса Михайловна, мы же вам года три назад доильный аппарат продали!

– И что с того? Разве это машина? Одно слово: не иначе китайский, года не прослужил. Не в обиду начальникам – далеко вам до советского. Вот часики золотые, тридцать лет идут и ни разу не остановились.

У меня сердце зашлось: это же Лариса! Узнала, дала знак, что узнала, я поднял глаза, она улыбается той самой улыбкой. Чуть располнела, а лицо той же красоты, как я мог не узнать?! Смущен, встал из-за стола, поблагодарил хозяев и вышел во двор. Молодые

пошли провожать, а я ждал Ларису. Она подошла, подала руку. Я молча пожал и пошел к машине. Тронулись, она подняла правую руку, а левой смахнула что-то со щеки.

Вениамин Матвеевич замолчал, прижег сигарету, глубоко затянулся. Я не смел мешать. Было заметно, как сильно переживал он рассказанное.

– Понимаешь, Леонид, вот тогда я понял, что упустил свое счастье. Жена, дети выросли, а семьи не было, и нет. Да, я сделал карьеру, на мне огромная ответственность за аграрный сектор, миллионами распоряжаюсь, как своими. Многого могу позволить, а радости нет. Может, это было мое место в жизни около Ларисы? Мои дети сейчас доили бы коров, я помогал им построить дом, ласкал бы вот этих трех внучат, которые смиренно сидели в соседней комнате и вышли только тогда, когда бабушка позвала проститься с гостями. Тогда я ее упустил. Ты знаешь, есть еще одна деталь в этой истории. Перед отъездом от родителей я решил вымыть машину, под дождем на грунтовке три ночи, не оставляя же отцу свой грех. Протираю пыль в салоне, и вижу у правого сиденья внизу рычажок. Нажал – спинка откинулась назад. Я чуть не заплакал от досады. Понимаешь, этот рычажок мог все изменить. Мог. Переступив эту черту, я мог решиться на отчаянный поступок. Но ничего не произошло. Давай еще по чуть-чуть, и спать.

К обеду погода наладилась, нас привезли прямо к самолету, но при посадке мне сказали, что мой билет в другую машину, она стоит рядом. Кивком головы я попрощался со своим новым знакомым. Самолеты поднялись один за другим и взяли курс на юг.

Утром я пришел в редакцию и узнал страшную новость: вчера в самолете скончался заместитель губернатора Вениамин Матвеевич Миргородский.

– У него, видимо, слабое сердце, – сказал редактор. – В последнее время он был сам не свой, говорили, что даже ушел от жены и жил на даче. Как такое возможно в пятьдесят лет? Не понимаю.

Я не стал ничего ему объяснять, уехал домой и всю ночь просидел с бутылкой армянского коньяка, которую перед отъездом из гостиницы Вениамин Матвеевич засунул в мою сумку.

-0-0-0-

**Клад,
или Сашко, Пашко
и Фрося из Парижа**

Двустворчатые двери еще купеческого магазина, отделанные медным орнаментом, давно не крашенные, но сохранившие былую красоту, с грохотом распахнулись и выплюнули на широкое крыльцо сразу упавшего на четвереньки мелковатого мужичка, залитого чем-то густым и белым.

Был это Викентий Амбросимович Таратутов, пожилой человек, худой и бледный, в изрядно заношенном когда-то белом костюме. Еще никто не вышел в открытые двери, а он сакнул пальцем белую нежность, лизнул и заорал:

– В креста, в веру, в кобылу серу...! Это же она на меня простокишей нагадила! В горшки, в пирожки и шанежки! Это же позор всему наркомпросу во главе с товарищем Луначарским!

Вышедшая из магазина с двумя огромными пакетами сахара и дрожжей бухгалтер ООО «Ананас» Клавдия Харитоновна поправила:

– Не простокишей, и даже не простоквашей, к вашему сведению, Викентий Амбросимович, а кефиром. Выкиньте вы из головы эту совковую простокишу!

Он уже стряхнул большую часть кефира на крыльцо, и посоветовал:

– Уйдите, Клавдия Харитоновна, и не будьте очевидицей жестокой мести оскорбленного самолюбия!

В дверях уже полно улыбающегося народа. Таратутов гордо встал в позу:

– Мякеша, да лучше бы вы мне с обеих сторон влепили пощечины, это приемлемо и даже благородно, но по лицу цветным литровым пакетом иностранного производства, который после первого же удара лопнул, и вы меня умоздряли в этой гадости! Учтите, я пойду в судебные инстанции.

Вперед вышла пышная полногрудая деревенская красавица в балясистом крепдешинном платье, изрядно измазанном все тем же кефиром. Это бывшая полюбовница председателя сельского совета, который за малые услуги освобождал вдовствующую Мякешу Фролову от самообложения и налога на поросенка. Председателя при новой власти сместили, но за Мякешей так и остался статус первой леди, в свои сорок она охотно принимала не только заезжих, но и приезжавших на каникулы студентов колледжей и училищ.

– Вика, если я еще раз услышу от кого-то, что вроде как у меня на грудях ночевал, при всем народе даю честное пионерское, что свисток твой на пятаки порублю.

Народ ахнул:

– Мякеша, да его сверчок разве что на гривенники, и то современной чеканки!

– Ну, ты зачихнула: на пятаки!

– На пятаки, бабы, если что, только у... – и поперхнулась.

– Погодите, – заорал Таратутов. – Что вы гоните, как зайцы в случной период! Вы разберитесь в человеческой судьбе, а судьба моя такова, что быт и жизнь свою вести в стороне от посторонних. Но, чтобы не навлечь на себя нехорошие суждения, решил я, так сказать, обналичиться, и выбрал объектом возлюбленную Мякешу. Ей доверил самого себя, а она отрицает. И пусть это будет на ее совести, а что касемо моего мужского достоинства и самолюбия, то у меня подобных Мякешь было – до Москвы..., да, до самого Кремля можно от нашей деревни строить в две шеренги, а местами и в три.

Он вовремя пригнулся, потому что булка черного тяжелого хлеба, который Мякеша прикупала своему поросенку, пролетела над его головой и ударилась в грудь ступившего на крыльцо тракториста Мити Зырянова.

– О, блин, я все думал, что булки на деревьях растут, а они, оказывается, размножаются в полете!

– Верни булку, алкаш! – рывкнула Мякеша.

Митя заупрямился:

– Народ! Я вторую неделю, как стеклышко, а она меня в позор. Ответишь! Это тебе даром не пройдет!

– Да ладно, Митя, я ведь случайно булкой-то.

– А «алкаша» куда спишем? Нет, назначай цену, а то я к участковому пойду, ущерб с тебя полагается, да еще за самогонку схлопочешь, сам подпишусь, что покупал.

Мякеша обмякла:

– Сдаюсь, называй откупную.

– Усёк! Вечером после «Мастера с Маргариткой» три раза стукну в кутнее окошко.

– Сильно не колоти, окошки старые, рамешка рассыплется.

Митя засиял:

– Что ты, Мякеша, я ласковый.

Бухгалтер Клавдия Харитоновна смачно сплюнула и вознесла руки к небу, поставив пакеты к дощатой стенке веранды:

– Вот чему удивляюсь: посреди народа начинают подхвостку нюхать, и бог терпит, не вытянет дрючком по извращенным членам. Я уж про стыд не говорю. А еще ждем, что Россия в передовые выйдет! Да разве такое возможно, если полнарода, как Митя с Мякешей, прилюдно случаются?

Никто не заметил, как на крыльце появился дед Архип, здоровый детина с рыжей окладистой бородой и богатыми усами, прозванный Знаменосцем.

– Издалека слышать, что в лавке шур да бар, как на параде, однако, невиданный товар завезли, – довольно гладко выговорил Знаменосец.

– Товару-то полно, да в кармане – вошь на аркане, – вздохнула бухгалтер. – А шум потому, что некоторые граждане насмотрелись в телевизорах, как там молодые парни и девки во весь рост, вот и наглеют прилюдно.

– Не обманывайте, Клавдия Харитоновна, они поначалу любовь в телевизоре строили, так и говорили: «Построй свою любовь!» – возразила рябая, как грязью обрызнутая, девица в шортах и топике.

– Ну, так и есть, – согласился Митя. – А потом у них стропила повело, они на эту стройку положили и переехали в публичный дом. И домов этих уже два, скоро откроют четвертый.

Бухгалтер этого не могла перенести:

– Митя, ты же шесть классов кончил, так если два, то следующий будет третий!

– Видите ли, – подал слабый голос Викентий Амбросимович, – Дмитрий, не имею чести знать отчество, очевидно, третьим считает тот, что откроют они с Мякешей моей возлюбленной, и в котором мне в лучшем случае выпадет второй номер.

Митя поднялся с нижней ступеньки и потянулся было к Таратутову, но скользнув по остаткам кефира, отшатнулся:

– Слушая меня, Дон Жуан недоделанный, если ты еще своим грязным интеллигентским языком... Стоп! Если ты еще про Мякешу что скажешь, у тебя оба, и первое, и второе выпадут, но не сами, а с моей активной помощью.

Знаменосец покашлял:

– Какой-то разговор между вами идет мутный, но нити, нить не могу поймать.

Клавдия Харитоновна положила черную булку поверх белого сахара и хохотнула:

– Ну, дед, молодец, уже трусы распускать собрался.

И пошла, как утица, переваливаясь из стороны в сторону.

– Беспросветная безграмотность, уважаемый господин Кукушкин. – Викентий Амбросимович подошел к старику и доверительно тронул его за плечо. – Вы же, конечно, имели в виду нить разговора, а не резинку от грязных Мякешиних трусов?

Знаменосец кашлянул:

– Зачем ты бабу позоришь про трусы? С трусами у нее все в порядке, я той ночью-то, когда ты стучался, на ее кровати у стенки лежал. Все было прилично, как на параде.

Митя не выдержал:

– Дед Архип, поди-ка соврал?

Знаменосец кашлянул:

– Да полно тебе, Митя, ну, полежал, велика беда!

Викентий Амбросимович пошатнулся, поймался за столбик веранды и с пафосом произнес:

– Все смешалось в доме возлюбленной Мякешки!

Покачиваясь, спустился с высокого крыльца и пошел в сторону своей избушки. Через минуту крыльцо бывшего сельмага, а ныне магазина «Оазис» местного торгаша Петьки-Парткома, опустело. Высокое крыльцо, магазин каменный старой кладки, стены метровой толщины, дверные и оконные запоры закреплены в кладке и ничем их не выдернуть. Петька всем говорил, что, когда еще парторгом работал, запросил архив, и ему прислали бумагу, что магазины эти построены были его прадедом, и владеет ими Петька по праву наследства. Вся эта легенда рухнула разом, когда районная газета напечатала заметки въедливого краеведа, бывшего учителя истории из села Большая Ченчерь, где он перечисляет всех местных купцов и магазины, коими они владели. Выходило, что все три оставшиеся от царизма кирпичных магазина в Сладчанке принадлежали купцу второй гильдии Кутельникову, который вместе с семейством не стал дожидаться революционного суда скорого и правого, махнул в Одессу, потом пароходом в Турцию, а оттуда в Европу. Краевед даже упомянул про два письма, которые месье Кутельников якобы присылал властям в Сладчанку и предлагал сломать его магазины и забрать припрятанные там золотые слитки. Власти месью не поверили, и ломать не стали.

Веселая деревня Сладчанка словно осторожно с Горы спустилась и расставила свои домики в широкой изгибе этой Горы, бывшей когда-то берегом реки или даже моря, как писал местный ученый в районной газете. С другой стороны деревню подпирало озеро Сладкое, большое и глубокое, полное рыбой и дичью. Лучшего места и не найти вовсе. На Горе леса, береза с осиной и широкая гряда сосны с кедром и даже лиственницей. Отсюда и дома в деревне крепкие, высокие, это уж при колхозе после войны стали поскромней строить, а потом и совсем на кирпичные перешли. Грунты в деревне песчаные, дождь прошел, вода скатилась, промыла песок, солнышко выглянуло: чиста деревня, будто уборку хозяйка к празднику сделала.

Живут в хорошей деревне Сладчанке двоюродные братья Зуевы, с детства зовут их Сашко и Пашко, хотя отец одного, Филипп, своего в сельсовете записал Сашкой, а родившегося на другой день брательника отец Ефим назвал Пашкой. И случилось это как раз в канун выборов президента, потому сельский глава настоятельно просил братьев назвать парней в честь основного кандидата. Оба родителя решительно отказались и пошли пить заранее приготовленный самогон, радуясь, как хорошо дома без баб. Через пару дней до мужиков стало доходить, что совсем без баб – не совсем хорошо, потому решено было обсудить все доступные варианты. Женщины находились вполне приличные, только в разных местах. От

предложения привести их домой пришлось отказаться: отошлют. И вдруг Фиму осенило: сестры Пёрышкины! Две сестры–близняшки, Рая и Фая, по два раза ходили замуж, и возвращались обратно ни с чем. Мать как-то тихо померла, а отец ушел в соседнюю деревню в примачи к овдовевшей состоятельной хозяйке, прижился, даже несколько раз к дочерям на новеньких «жигулях» приезжал. Сестры работали доярками и жили вместе. Братцы едва сшевелили примерзшую калитку, легко пихнули дверь в сенки и с трудом нашли в темноте ручку входной двери.

– Вы чего живете, как при крепостном праве? В ограду не попасть, в сенках глаза можно на гвоздике оставить. – Фима уж начал снимать матросский бушлат, подаренный демобилизованным племянником-североморцем, но Рая остановила:

– Если вас холера привела на нас критику наводить, то разворачивайте оглобли.

Филя понял, что пора приводить самые серьезные аргументы:

– Об чем речь, девоньки? Вы, поди, и не слыхали, что у нас сыновья вылупились? Вот по этому радостному случаю мы и пришли к вам, как к старым трудовым подругам. Рая, поди не забыла, как мы в Дикуше сено косили? Ни один шалаш не выдерживал нашего трудового напора! Помнишь? Вот по такому случаю. – Он распахнул бушлат и вынул трехлитровую банку самогонки.

Фима тупо смотрел на брата и всеми силами старался понять смысл услышанного. Это он, Фима, тогда косил сено с Райкой, а Филя с Фасей ночевали в соседнем шалаше. Рая тоже не сразу все поняла, а потом вмешалась Фая:

– Нужда припала вам разбираться, кто с кем сено косил. Главное, что коровушки наши, царство им небесное, сыты были.

– Верно, – поддержал Филя, – и мы не бедствовали. Девки, киньте на стол хоть груздей с огурцом, а то я уж мерзнуть начал.

Рая хохотнула и кивнула сестре:

– Ставь жаровню с плиты, картошка с мясом. А то эти жуланчики с огурцов нам всю ограду разрисуют. Мужиков надо мясом кормить, чтобы работу можно было спросить.

Филя поддержал:

– С мяса, девки, мужик делается, как секач.

– Ой, не пужай! – хохотнула Фая. – Секач – это кто?

Филя расплылся в улыбке:

– Секач, Фая, это самый главный производитель у кабанов, которые у нас в камышах на Барабанихе живут. Намек поняла?

Налили по полному стакану, выпили, потом еще, и Фима запросил песню. Четыре нестройных голоса исполнили «Скакал казак через долину...», женщины всплакнули, мужики стали откровенны:

– Пригрейте нас, девоньки, нонешной ночью, а потом мы будем частенько приходить, пока бабы в норму войдут.

Через девять месяцев обе сестрицы родили девочек, записали их на Филю с Фимой, те не протестовали. Девчонки росли, как пташки вольные, кто-то приголубит, кто-то накормит, пока мамки погуливают. В школу ходили вместе с братьями, после восьмилетки стали работать, всюду были вместе, и на работе, и в гулянках. Имена им мамы дали странные, назвали Параней и Гараней. Им бы вся судьба по материнским стопам податься, в легкую жизнь удариться, ан нет. Завалил как-то на сеновале молодой мужичек Параню, а Гараня взяла вилы

и воткнула их в белоснежные ягодицы. Мелковато, но орал он не слабее пришедшего в охоту секача, так на четвереньках в санях довезли до медпункта, фельдшерица, когда прохохоталась, дырки йодом смазала, дала неудачливому любовнику сто грамм спирта и отправила без освобождения от работы.

А вот Сашко и Пашко в родителей пошли, рано к девкам стали приглядываться, и все к Паране с Гараней, только в первый же вечер решительного наступления девчонки разъямачили кавалерам, что у родных по крови никакой любви быть не может. Сашко особенно сильно сожалел, уж больно поглянулась ему белянка Гараня, но против закона не попрешь.

Братцы работали в столярной мастерской, приватизировал ее какой-то районный чин, он же и выручку забирал. Старый столяр немец Яков Андреевич Кауц пригрел их и учил, как с каким деревом работать, какой инструмент для чего приспособлен. Толковые оказались ребяташки, быстро все осваивали, и двери могли сколотить, и рамы связать, даже гробы делать. Старый Кауц возмущался: в прежние времена такое село было, а гроб один в неделю, и то для пожившего человека. А тут дошло до того, что нормальные люди в столярку ходить перестали: один гроб у дверей, второй собирают, на третий тес строгают. Потом бывший комсомольский секретарь открыл похоронную контору, весь инвентарь из города завозил, дорого, зато никаких забот, покойничка, прости господи! обмоют, оденут и в гроб положат, а сами яму копать. Три ночи должно православному провести дома после смерти – ничего, и на второй день уже никто не упирался, грузили в кузов, родню на скамеечки, и попылили. Не похороны, а спектакль со слезой. Так думал старый Кауц, у которого гроб уже лет десять лежал на чердаке старого дома, пугая внуков и их пакостливых друзей.

Яков Андреевич умер прямо за верстаком с фуганком в руках. Братья сделали ему добротный гроб, от комсомольских услуг большая семья немцев отказалась, старший сын Артур снял с чердака отцовскую самоделку и решил, что надо именно в нее положить отца, потому что таков был его завет. Братья отвезли свой гроб обратно, а ночью подожгли столярку, даже из инструмента ничего не взяли. Сами себе сказали: нет дяди Кауца, нет и мастерской. Приехавший на пожарище хозяин получил заключение пожарников: короткое замыкание. Вот и взятки гладки.

На последнем колхозном собрании сам председатель Кикин и двое из района, все трое при галстуках, попеременно залазили на трибуну и клятвенно заверяли, что после роспуска колхоза и раздела имущества ждет их жизнь невиданная: паши и сей для себя, скота держи, сколько сможешь, выручку от молока и мяса в свой карман. На утро прибежали бывшие колхозники на машинный двор, а вчерашний начальник им бумагу показывает, что имущество движимое и недвижимое бывшего колхоза теперь принадлежит СПК «Возрождение», они его члены, а он председатель. Когда наиболее толковые закричали о выходе с паем, Кикин указал на «зеленый ряд», так в деревне звали шеренгу негодной техники. Через пару лет у председателя появились новые бумаги, по которым СПК стал ООО «Рассвет», а Кикин аж генеральным директором. Подгоняемый компаньонами из района, Кикин за осень сдал на колбасу весь скот, пообещав ревущим с горя дояркам, что Европа пришлет коров современных, которые на одной соломе дают по ведру молока в день. На машинном дворе дело оказалось серьезней. Кто-то из мужиков врезал генеральному по морде и крикнул, чтобы заводили трактора. Хватали, кто что может, и Кикину достались два «Белоруса» и гусеничный

трактор, которые он раньше припрятал в старом железном ангаре. На одном «Беларусе» работал Гоша Семиколенный, все обыскал – нет железного друга, вскочил в «Кировца» и со двора на всех скоростях.

Старшие братья Зуевы в дележе не участвовали, а могли бы угнать хоть «пукалку», маленький двухцилиндровый трактор, которым почему-то поначалу толковые мужики побрезговали. Но – не судьба. Накануне торгаши завезли невиданное лакомство: в пластмассовом пузырьке чистейший спирт, и все это называется фунфыр. Викентий Амбросимович даже предположил, что это китайского производства водка, и по-японски ей имя саке. Пузырек выливали в пол-литровую банку, добавляли воды, и три мужика валились с ног. Фунфыр стоил в десять раз дешевле бутылки водки, и торгаши отоваривали им за цветной металл. Через три дня в деревне нельзя было найти старого аккумулятора, алюминиевой ложки или медного самовара. Разве что нательные крестики сохранились. Именно в эти дни делили колхоз, тащили, кто что мог, а Филя с Фимой уже ничего не могли, спали в сенках то у одно, то у другого. А когда очухались, пришли за своей долей, бывший гендиректор, – от греха подальше – дал мужикам на пару бутылок, что в пересчете на фунфури означало недельную пьянку. Как говорили соседки, Господь и прибрал их в один день. Только Сашко и Пашко не верили во вмешательство бога, потому что родители не первыми пали от фунфырей. Сашко сам читал на пузырьке: «Для наружного применения». После смерти матери Пашко переманил к себе брата, так жить легче. Держали корову и свинью, летом литовками косили траву, сено возили на мотоциклетной тележке с друзьями, осенью копали картошку, чтобы кормить скотину, свинью потом резали и всю зиму ели мясо с картошкой. Но тоска на душах братьев, нет никакого просвета. Как-то вечером приходят к ним Параня с Гараней:

– Братцы, обсудить надо. Вчера подкатывали на побитом «мерине» два фраера, предлагают работу. Дескать, девушки вы приятные, немножко подучим, приоденем, и пойдете официантками в лучший ресторан города. А это отличное питание, приличное общество и куча чаевых.

Каждый из братьев думал одно и то же. Сестренки, конечно, девочки, что надо. Вот Параня: роста среднего, личико будто загорелое, волосы темные, глаза черные, губки скромно поджаты, а по фигуре скользнуть: шея прямая и гордая, грудь дай бог молодой маме такую иметь, в бедрах широковата, но талия – и так колыхнется платье, и в другую сторону – не коснется талии, словно нет ее. А Гараня ростом повыше, фигура поскромней, но лицо белое, а на нем и губы, и глаза, и брови – как нарисованы. Обе красавицы, только одежонка потрепанная да вместо обуви комнатные тапочки. После таких глубоких умозаключений братья переглянулись:

– Девчонки, приличный человек на драной тачке не ездит. Как-то не вижу я вас официантками в шикарном ресторане, – изрек Сашко.

– Ты чо морозишь, братуха?! Ты сам-то хоть раз официанток видел? Можно подумать, все кабаки в городе прошел! – взорвалась Гараня. И братья поняли, что девчонкам страсть не хочется расставаться с мечтой о куче чаевых.

Пашко долго молчал, все слова подбирал не очень матерные, но отрезвляющие:

– Повезут вас, девчонки, на панель, вдоль дороги стоять и мужиков стрелять. Гоша Семиколенный рассказывал: «Еду на «Камазе», мороз, а на объездной дороге девчонка стоит, в шубке до пупка, в колготках в обтяжку, вижу: замерзает человек! Остановился, дверь

открыл, она запрыгнула. Спрашиваю: «Тебе куда надо?». «А куда, говорит, хочешь». Гоша на нее смотрит, вид, наверное, глуповатый, она тоже соображает: мужик не первой свежести. И говорит: «Может, тебе минет нужен?». Гоша подумал-подумал, и бухнул: «А на хрен он мне нужен? У нас в колхозе этого добра – хоть завались!». Девка орет: «Дурак, остановись!». Выскочила, и спасибо не сказала.

Проохотались. Сашко свое гнет:

– Ребята говорили, что у них норма есть в рублях, сколько надо за сутки сдать бригадиру, а тебе сколько отстегнут. Ты кино видела про интердевочек? Вот такими сучками вас и поставят вокруг города.

Параня возмутилась:

– Вы что, охренели, так про нас думать? Ты про нас что-нибудь от ребят слышал? Ну, чтобы кто-то ко мне под юбку забрался? Да, целуемся, щупаемся, не без того, но дальше – ни-ни!

Теперь Пашко взорвался:

– Дура, это же наша деревня, наши ребята все знают, что за вас мы с Сашком головы завернем любому. А там... Девчонки, выходили бы вы замуж за наших парней и жили все вместе. В общем, так: в город соберетесь – ноги переломаю. Или наголо остригу. Все, брат, этих блаженных на седнешний день не уговорить. Да, если эти фраера еще раз приедут, вы нас с ними познакомьте, так мол и так, братовья тоже готовы между столиками в ресторане без портков ходить и чаевые грести лопатой.

На зиму Сашко и Пашко устроились кочегарами в школьную котельную. Котельную перевели на солярку, установили емкость, поставили насосы на топливо и на воду. Человек из коммунального хозяйства приехал, запросил трудовые книжки, заявления и по месячной зарплате денег.

– А это за что? – удивился Пашко.

– У тебя допуск для работы на этой котельной есть? Нету. А за эти деньги я тебе документ привезу от госнадзора. Тут всех проблем – чтобы вода в системе не испарилась. Вовремя подкачивай и лежи, грей бока.

Комхозовский специалист принес из машины несколько газет, стали учиться запускать котел. Газету сворачивали трубочкой, поджигали и совали под струю топлива. Солярка разгоралась, и дальше все шло своим чередом.

– Бумагу для растопки всегда имейте в запасе, мало ли что. Бывает, солярка с водичкой, тогда совсем труба, но это редко, – напутствовал гость.

– Сашко, а где бумаги будем брать? Какой дурак газеты выписывает?

– Я в сельсовет схожу, у них должны быть.

– В администрацию, пустыня! Иди.

В сельской администрации уборщица выволокла из уличного склада несколько мешков с бумагами:

– Берегла, думала, советская власть вернется, снова будут макулатуру закупать, а этим ничего не надо. Забирай.

Потянулись тоскливые дни и ночи. В котельную никто не приходил, разве что среди дня прибежала директриса и орала, что в школе холодно.

– Окна надо было утеплять, – придумал отговорку Пашко, но солярки добавлял, зачем на ребятишках экономить?

Вечером в воскресенье он нашел спящего брательника и погасшую горелку. Братца пнул, тот встал, потянулся и признался, что сильно спать хотелось, в школе все равно никого нет, температура в котле под пятьдесят, на улице вроде не шибко холодно. Короче, успокоил себя, на всякий случай топливо перекрыл, котел погасил и уснул. Посидели, покурили, Пашко подтащил к топке мешок сельсоветской бумаги и стал свивать фитиль. Из мелких советских документов фитиль получался маленький, но солярка все-таки загорелась.

Совсем рассвело, Пашко походил по двору, расчистил дорожку к калитке, к туалету. Вернулся – все отлично, котел гудит, в помещении тепло, Пашко взял из мешка горсть бумаг и прилег на топчан. Ничего интересного, какие-то ведомости, таблицы с цифрами, указания райисполкома. Перебирал и бросал к мешкам, брал новые горсти и снова бросал. Повертел в руках не нашей формы конверт, вся лицевая сторона была заклеена марками, но их кто-то оторвал, только клочки остались. В конверте оказалось письмо. Интересно, что бумага толстая, а в левом верхнем углу какая-то большая цветная буква не наша. Но написано разборчиво:

«Уважаемый господин предводитель советской власти в селе Сладчанка, если его еще не до конца разорили большевики!

В первом письме батюшка наш напомнил о себе, о нашем роде купцов Кутельниковых, вынужденных покинуть родину в горький час большевистского нашествия. Батюшка наш уже ушел в мир иной, но оставил завещание, часть которого, касаемая его родной земли, я вам уполномочен сообщить. Как вы знаете, в селе было три небольших магазина, которые много лет исправно снабжали крестьян не только сладостями и спиртными напитками, но и предметами, сугубо необходимыми в крестьянском хозяйстве, как-то: плугами, боровами, наковальнями, кувалдами, топорами, пилами, точильным инструментом, инструментом слесарным и столярным и пр. и пр. Как вспоминал отец, бежали они столь скоро, что даже не сумели достать припрятанное на подобный случай золото и драгоценности. В первом письме он не стал подробно излагать, где заложен клад, полагая, что вы дойдете до него, подвергнув слову старые магазины. Ведь советская власть наверняка возвела прекрасные маркеты, заваленные товарами.

Но вы не послушались его, более того, ваш ответ оскорбителен и вполне дает мне сегодня право, как распорядителю наследства, отказаться от помощи вам. Ведь значительная часть найденного богатства должна быть направлена на улучшение жизни граждан села, а именно это было целью подобного распоряжения покойного батюшки. Ваше письмо я возвращаю, потому что не хочу, чтобы наши потомки через многие годы удивлялись и возмущались вопиющей неграмотностью и пошлостью, если не сказать – хамством руководителей советской власти.

Как я понял, пускать на слом магазины вы не собираетесь, наверное, это и правильно, если государство не сумело построить новых. Тогда читайте внимательно, возможно, в вашей среде найдется хоть один человек, который сумеет разгадать эту несложную загадку. Все закладки сделаны с наружной стороны здания, потому что у отца не было сомнения: ключи от магазинов у него заберут в первый же день. Оставалась надежда под покровом ночи с привлечением доверенных людей достать драгоценности и скрыться с ними. Когда и такая возможность оказалась иллюзорной, батюшка наш решил положиться на

волю божью, и семья поехала с тем, что у нее было. Надо сказать, что батюшка сумел сколотить приличный капитал, который дал нам возможность и вне пределов Родины жить вполне благополучно.

Итак, начиная от левого при входе косяка двери надо влево же отмерить ровно треть соловецкой версты и копать в глубину до метра, далее во внутрь здания под углом, равным углу наклона нижней перекладки креста Господня. А потом трижды читать молитву на поиск клада. Уместно напомнить вам, безбожникам, что во время поиска клада не можно быть вне трезвости, не следует говорить, ругаться и тем более материться. Желательно, чтобы работали люди верующие, во всяком случае, крещенные и с нательным крестом на шее.

Подобная инструкция подходит для всех трех магазинов. Надеюсь, что разумные люди сохранились, клады будут изъяты и направлены на службу народу.

Остаюсь с тоской по родной земле Афанасий Артемович Кутельникофф.

Париж, июль 1978 года».

Тут же письмо председателя сельсовета, ответ на первое письмо, возвращенный обратно.

«Не здравствуй и не прощай не скажу тебе, буржуй недорезанный. Запомни, что догнивающий капиталист никогда не обманет бдительного коммуниста. Жалко, что смотрелись вы от лютой расправы после революции, а теперь еще решили нам навредить, чтобы мы по вашей указке изломали все три магазина и оставили людей без снабжения. Мы на вашу провокацию не пойдем, можете не рассчитывать. Ишь, нашли дурачков, сломать магазин, а там нет ни шиша. Так что, дорогие земляки, ни хрена у вас не выйдет, так и передайте своим хозяевам французским капиталистам, и напомните, что мировой пролетариат скоро устроит им свою Октябрьскую революцию.

Председатель сельсовета (подпись неразборчива).

с. Сладчанка, 10 мая 1964 года».

Пашко несколько раз перечитал французское письмо, пока в голове его не успокоилась мысль, что богатенькие землячки не просто так писали эти бумаги, да не один раз. Накинул фуфайку, добежал до дома, стукнул в дверь. Сашко подал голос:

– Кого там несет?

– Открывай, с какого перепугу ты на крючке?

Какое-то шевеление, потом тихий шепот в щель:

– Пашко, я не один. А что случилось?

У Пашка все мысли о золоте враз вылетели, когда он понял, что брательник на самодельной широкой деревянной кровати с девкой курдается. Все золото променял бы сейчас на теплое место с краешку.

– Да ладно, – пробормотал он и пошел в котельную. Вот братец, вроде везде вместе, друг без друга разве что в туалет ходим, и когда подхватил деваху, да и кого? Ладно, утром все выяснится, зато про письмо не скажу ему пару деньков.

В котельной все мешки с сельсоветскими бумагами вытряс по одному и внимательно просмотрел – нигде больше ничего про золото не сказано. Проверил горение, сходил в школу, батареи потрогал – пойдет, к утру добавлю. И пошел к магазину, на крыльцо поднялся, присмотрелся к левому косяку, мысленно стал мерить шаги и ... споткнулся. Третью версты, а верста, наверно теперь называется километром, значит, триста с лишним метров... И в какую степь? Вот сволочь, а написал, что у стены закопано золото! Нет, богач он и есть богач,

подохнет, а с простым советским человеком не поделится. «Закопано с внешней стороны здания. Третью версту от косяка». Наверно, от лягушек и шампанского крыша поехала, вот и умодил такое письмо, пусть, мол, земляки вместе со мной с ума сходят.

На другой день пришел к брату в котельную, тот посыпал на топчане. Пнул, дождался, когда в себя войдет:

– И давно ты баб домой водишь, когда я на смене?

Сашко кивнул:

– С отопительного сезона. А куда я ее поведу?

Пашко руками развел:

– Невтерпеж, стало быть? Колись, все еще щупаетесь, или в полный рост?

– Жениться придется, если ее родители узнают, – засмутился Сашко.

– И чья она? – поинтересовался брат.

– Наша, Аниска, Данила Кургузкина дочь.

– Младшая? – уточнил Пашко.

– Средняя.

Пашку взорвало:

– Сашко, ты кого наделал? Ее всю уборочную городские шофера из кабины в кабину передавали.

Брательник хохотнул:

– И какая беда, если девка покататься любит.

Пашко схватил голову руками и несколько времени не знал, что сказать:

– Ты где ее словил?

Сашко удивился:

– С чего ты взял, что я ее ловил? Сама пришла вечером, ты на смене, у нее бутылка.

Выпили, и вперед!

Пашко сплюнул в таз под рукомойником:

– Дурак, тебе назад надо было бежать! Она не иначе как беременна, такую собачью свадьбу отгулять! Скажи ей, что любовь прошла, завяли помидоры.

– Не смогу. Ты же знаешь, что я стеснительный, – вздохнул Сашко.

– Вот сволочь! На бабу залезть он не постеснялся, а слазить боится. Вот что я тебе скажу, братец. Женись, но жить пойдешь в примаки, я вас близко дома не пущу. Ой, дурак! Тут такие дела возникают, голова кругом, мозгов не хватает, а он умодил. Короче говоря, узнал я из надежного источника, что по золоту ходим.

Сашко вздрогнул:

– Поясни, не доходит.

Пашко стукнул себя по коленку, кот с испугу запрыгнул на печь.

– В том-то и дело, что до меня тоже не доходит. Тут с арифметикой связано и с богом, а мы с тобой на уроках титьки у девок высматривали.

– Ну, не всегда же, – поправил Сашко.

– На арифметике точно, потому что титьки мне были интересней. Что такое верста, скажи?

Сашко сразу ответил:

– Ваня Верста с Верхней улицы.

– Дурак! Верста, километр. Притом, не простая верста, а ...

– Коломенская есть, – вставил Сашко.
– Нет, Соловьиная какая-то. Ну, там много чего надо знать, а откуда? У кого спросишь?
Сашко помолчал, потом поднял голову:
– Викентий Амбросимович должен быть в курсе.
Пашко аж привстал:
– Точно! Только и его надо будет в кампанию брать.
Сашко тронул брата за плечо:
– Ты об чем это все молотишь? «Верста соловьиная, бог с арифметикой». Слышь, браток, может, сегодня к тебе Аниску позвать? Быстро дурь пройдет.
Пашко встал:
– Работай иди, я пошел к Таратутову.

Викентий Амбросимович Таратутов, бывший учитель математики, изгнан из школы за неистребимый запах перебродивших в желудке спиртосодержащих жидкостей, но сам этого не признавал и ссылался на глубокие политические расхождения его методики преподавания математики с официальной, так сказать, демократической, за что и отпущен на вольные хлеба. Какую-то пенсию ему платили, и бывший учитель сменил математические интересы на поиск и постоянное употребление ругательных и даже матерных слов и их сочетаний, конечно, из могучего русского языка, а в противовес этому стал изучать манеры благородного общества девятнадцатого столетия и часто пользовался наряду с матерками изящными оборотами речи.

Мало сказать, что Викентий Амбросимович был одной из достопримечательностей села, он был и его тайной. Никто не знал, как этот весьма образованный человек появился в этих краях и как он преподавал свои первые уроки. Вспоминали, что он очень галантно ухаживал за молодыми коллегами, считался самым интеллигентным, и всем молодым людям ставили в пример, что Викентий Амбросимович никогда не воспользуется тем, что остался в учительской один на один с молоденькой химичкой и не станет трогать ее бюст и жадно дышать в ухо. Никто не видел его, например, в раздевалке, когда девушки в уголке, закрывшись занавесками из полушалков, снимали теплые штаны или поправляли пучки ваты, заложенные в лифчики. А учитель физкультуры, например, позволял такие дерзости, за что девчонки его очень любили, и каждое лето одна из десятиклассниц на время становилась его любимой ученицей.

Никто не знал личной жизни Таратутова, но в общественной он участвовал очень активно. Играл любовников в постановках драматического коллектива, но прикасаться к женщинам избегал, и, если по ходу пьесы должен был случиться поцелуй, актер приближался к своей возлюбленной, но останавливался в полуметре, и звонкий поцелуй, исполненный за кулисами специалистом этого дела учителем физкультуры, вызывал повальный смех в зале.

Заметив столь интересного человека, партия пригласила его в свои члены, отчего он скороговоркой отказался, а после три дня не вел уроки, ссылаясь на тяжелое и неэстетичное поведение живота своего. Парторг, узнав о столь серьезной реакции, больше опасных намеков не делал. Вот в профсоюз учитель вступил и даже согласился быть членом месткома, что, впрочем, продолжалось до прилета первого самолета сельскохозяйственной авиации, обрабатывающей посевы от всякого рода вредителей. Вся школа пошла смотреть на самолет, потому что до этого такую машину видели только с земли на высоте тысячи метров. А тут вот

он, пахнувший всеми ядохимикатами мира, но с крыльями, с большим пропеллером и двумя молодыми парнями в шлемах с наушниками.

Викентия Амбросимовича осенило: он в один момент может стать героем, первым из всей деревни взлетев на самолете, и это решительно изменит отношение к нему возлюбленной Мякеша, которая близко его не подпускает. Вроде доступная женщина, редкий мужчина миновал ее постель, а вот учителю не повезло. Он дождался, когда летчики проверили заправку баков ядохимикатами, разведенными привезенной с озера теплой водой, подошел и вежливо обратился:

– Товарищи, прошу понять меня правильно. Я, конечно, совершенно земной житель, рожденный, так сказать, ползать, но, представьте себе, очень хотел бы побывать в небе.

Один из летчиков повернулся к нему:

– Это невозможно, в кабине только два места. Куда мы вас посадим?

Второй летчик вмешался:

– Человек тебе прямо сказал: он хочет побывать в небе. И ему не важно, в кабине или в грузовом отсеке, лишь бы в воздухе. Я вас правильно понял, товарищ?

Таратутов затряс головой столь энергично, что смутил летчиков. Второй, более сговорчивый, предложил:

– Мы работаем до восьми часов. Подходите к этому времени, и мы вас прокатим.

– Можно, я на велосипеде?

– В самолет?

– Нет, что вы, только до аэродрома.

– Это сколько угодно, хоть на хромой кобыле.

Зря он так безответственно сказал про кобылу, без этих проклятых слов, возможно, все сложилось бы благополучно.

Никому ничего не говоря, Таратутов сел на велосипед и поехал на поляну за селом, где разместился самолет, емкости с ядами и бочки с водой. Летчики поужинали и пили чай, заваренный из веточек растущей рядом смородины. Вздвигнутый гость от чая вежливо отказался, ожидая более серьезных предложений. Наконец, один летчик подошел к нему и серьезно спросил:

– Вы не передумали?

– Нет! – гордо ответил учитель.

– Тогда так. Мы вас помещаем вот в этот отсек. Вы ничего не будете видеть, но почувствуете все то, что ощущает человек в воздухе. Я дам вам наушники и по внутренней связи буду рассказывать, как проходит полет, над какими местами пролетаем, а вы их, конечно, знаете и будете представлять. Ваш позывной – «Орел». Полет продлится минут десять. Вы готовы?

– Да!

На Викентия Амбросимовича надели шлем с наушниками, открыли дверь и велели лечь на пол, застеленный почему-то пестрым деревенским одеялом. Летчик велел лежать спокойно и с этого места никуда не смещаться во избежание катастрофы. Учитель врос в одеяло, летчик воткнул в шлем провод и счастливый воздухоплаватель услышал:

– Орел, я Сокол. Запускаю двигатель.

Самолет загудел, затрясся, мотор набирал обороты.

– Орел, начинаю разбег и взлет.

Рев мотора был страшным, но Орел слышал спокойный голос Сокола:

– Как себя чувствуете?

– Нормально!

– Отлично. Набираем высоту. Слева от нас село, сейчас проходим над школой, поднимаемся выше, справа группа озер, вы, наверное, их знаете.

– Да, я люблю там рыбачить.

– Прекрасно. Вон на озере купаются девушки, подлетим к ним?

– Конечно!

– Если бы их могли видеть, полнотелых и грудастых. Но вы их еще увидите и расскажете, что в самолете, который выгнал их из воды, находились вы. Итак, разворачиваемся и ложимся на обратный курс. Вы себя хорошо чувствуете? А как у вас с сердцем?

– Все хорошо, не беспокойтесь, у меня крепкое сердце.

– Это хорошо, – как-то неуверенно сказал летчик.

И в этот момент стало тихо, так тихо, что Викентий Амбросимович слышал свое дыхание.

– Орел, вы меня слышите? У нас маленькие неприятности, заглох мотор, мы падаем.

– Вы сошли с ума! У меня завтра три урока! Что мне делать?

– Я вас предупредил: лежите на одном месте и не шевелитесь. Одеяло спасет вас.

Дальше произошло страшное. Дно самолета распахнулось, и Викентий Амбросимович вместе с одеялом упал на скомканный брезент, которым летчики укрывают самолет. Придя в себя и сняв проклятый шлем, бедный учитель понял, что никуда он не летал, самолет все время гудел мотором на месте, а потом его заглушили и открыли люк. С трудом поднявшись, Таратутов поплелся к своему велосипеду, но сесть не мог. Тогда к нему подошел возчик воды, закинул за бочку велосипед, посадил учителя рядом с собой и тронул лошадку. Она тоже с трудом поплелась в сторону села, потому что уже вечером подвернула ногу и сильно хромала. Увидев это, учитель заплакал.

После полета Таратутов стал выпивать, возненавидел женщин, потерял авторитет и вынужден был школу покинуть. Но жить остался в Сладчанке, удивлял и пугал односельчан предсказаниями смертей вождей, потом точными прогнозами погоды и определением пола только что зачатого ребенка. Это был хороший приработок к пенсии и довесок к утраченному авторитету.

Пашко вошел, когда Викентий Амбросимович над электрической плиткой пытался изобрести себе ужин. Отваренный голубь уже синел в тарелке, а макароны все не закипали. Не глядя на вошедшего, хозяин крикнул:

– Возьмите с полки любую книгу и используйте время для познания некоторых деталей бытия ранее живших. Впрочем, что вам попадет под руку.

Пашко взял лежащую на столе открытую книгу и глянул на обложку: «Черная магия». Полистал, подивился на незнакомые знаки и от греха подальше отложил в сторону. Расправившись с макаронами и голубем, учитель подошел к столу и внимательно посмотрел на парня.

– Что привело вас ко мне, мой юный друг?

Пашко вопросы заготовил и даже достал бумажку, чтобы записать ответы.

– Вопросов несколько, Викентий Амбросимович. Первый: что такое соловьиная верста?

Учитель улыбнулся:

– Таковой нет в природе.

– Но была когда-то?

– Я говорю о природе, следовательно, никогда не была. Откуда это у вас?

– Пока не могу сказать. Но верста – это очень важно.

Учитель расхохотался:

– Милейший, вы говорите о Соловецкой версте. Да, такая была. Значит, так. На Севере России есть Белое море, среди вод образовался архипелаг, как бы группа островов, общее название их – Соловецкие. Святая земля, место греха и духовной высоты, подлости и подвига. Да, вы меня расшевелили. Про нее написаны книги правды и клеветы, о! а сколько еще писак попытаются сделать имя на костях великомучеников! Жизнь на островах была еще три тысячи лет назад, государевы люди пришли в пятнадцатом, кажется, веке, а уже в девятнадцатом там открыли тюрьму. Надежное место, не вдруг убежишь. Ну, а большевички развернулись во всю, Соловецкие лагеря были весьма суровым местом.

– Откуда вы знаете? – невпопад переспросил Пашко.

– Видите ли, милейший, батюшка мой, архимандрит Новгородской епархии, провел там несколько замечательных лет, и рассказы его следовало бы записать, но, увы, я дал подписку о неразглашении. Хотя сейчас – кому это надо?

– А сколько метров в это самой версте?

– Разумный вопрос, сын мой. Версту эту изобрели монахи, обмерили веревками окружность монастырских стен и сказали: сие есть соловецкая верста! И верстовые столбы поставили.

– А в метрах? – не утерпел Пашко.

– Это надо либо вспоминать, либо открыть нужную книгу. Так, вот, ага! 1054 метра.

Пашко записал цифры.

– Слушаю иные вопросы, молодой человек.

Пашко понял, что не рассказав о сути, он не получит ответа. Решился.

– Вот стоит здание. Точно известно, что у здания зарыт клад. Причем, не сверху, а на метр глубиной. А как найти? Известно, что надо от указанного места пройти треть соловецкой этой версты. И что? В одном месте говорит, что с внешней стороны здания, а в другом – треть версты пробежать. Хрень какая-то.

Учитель засмеялся:

– Никакой хрени. Вы помните, я говорил, как монахи версту определяли. Взяли веревки и обошли вокруг монастыря. Так и вы обойдите от указанной точки вокруг здания... так, 351 метр и 33 сантиметра. Там и копайте.

– Эх, Викентий Амбросимович, нам с братцем не совладать, придется вас в долю брать. Клады эти под магазинами зарыты, которые теперь у Петьки-Парткома в подчинении, а я письмо нашел, которое последыши хозяина из Парижа прислали, там все указано, вплоть до молитвы.

– Письмо при вас?

Пашко подал конверт. Учитель быстро пробежал текст и глянул на собеседника.

– А похоже, молодой человек, что все есть чистая правда. Нда, сейчас зима, и копать мерзлый грунт, к тому же под магазином – опасное дело, шумно, могут пришить попытку

ограбления. Хорошо, что закладка сделана с задней стороны магазинов. Подождите, милейший, а ведь все три магазина построены по одному проекту!

Пашко возразил:

– Да они и не похожи вовсе.

– Правильно, за годы советской власти их обезобразили настолько, что три родных брата стали неузнаваемы. Но я оцениваю по основным математическим параметрам: размеры, высота, даже расположение окон. А что сегодня с задней части магазинов?

Пашко стал вспоминать.

– В центре вроде дощатый склад, раньше тару там держали.

– А сейчас?

– Черт его знает!

– Так, про него больше ни слова.

– Про кого?

– Вот кого вы сейчас назвали. Не надо.

– Понял. Завтра же схожу, осмотрю другие. Только как копать мерзлую землю?

Учитель помолчал, потом предложил гостю:

– Обследуйте все магазины, уточните, что у задней стенки. Есть ли ночная охрана.

Зарисуйте точно место ввода в здание электропроводки. Найдите друзей, которые работают в коммунальной службе. На это сегодняшний день. Завтра...

– У меня смена, – перебил Пашко.

– Послезавтра с полной информацией ко мне. Кто еще посвящен в тайну?

– Мой брат Сашко.

– Пока довольно. И ни звука. Вперед! А я буду думать.

Думал Викентий Амбросимович под музыку Вивальди, добываемую со старых пластинок на плохонькой радиоле. В это время курил трубку, набитую смесью табака и трав, засушенных и протертых. Это давало ему высоту мысли и в итоге правильные решения.

«А с чего они решили, что земля под сараем мерзлая? Если под навесом грунт сухой, он практически не застывает. Следовательно, можно начать с того магазина, за которым склад. Надо проверить, заперт ли он, можно ли открыть и что там сейчас находится. Это первое. Далее. Я определю точное место закладки по каждому объекту, и потом буду принимать решение. По электричеству. Надо подготовить металлический диск, рассчитать, что надо дополнительно, чтобы он нагревался. Это к электрикам, они соберут конструкцию. Потребуется медный провод, это задача молодежи. Где-то у меня был приличный кусок динамита. Заложить, глубокой ночью взорвать, пока суется, лопатами выйти на нужную глубину. В темноте никто и не подумает бежать на задворки магазина. Это надо осмыслить. Хотя довольно рискованно. Кажется, решение есть. Интересно, есть ли золото? Почему у меня такая уверенность, что месье Кутельников был искренен? Наверное, потому что это русский человек, и последнее «прости» он отсылал родине. Спасибо, ему это зачтется!»

Так высокопарно закончил свои размышления Таратутов и пошел на останки старой церкви стрелять из рогатки голубей. «Мужчине нужно мясо, нужен белок, иначе он перестает быть мужчиной», – так рассуждал он, не беря во внимание, что мужчина в нем пропал в момент падения из самолета на баясистерое деревенское одеяло, а сцены, которые он устраивал Мякеше и нескольким другим женщинам, должны были хотя бы показывать видимость его мужской состоятельности.

Митя Зырянов жизнелюб, баболоб, любит водочку и свой трактор. Ну, если честно сказать, в колхозе Митя был передовиком, а когда пришла пора прощания, он завел «Беларус» с навешенным трехлемешным плугом, кинул наверх борону «зигзаг» и тронулся в ворота машинного двора. Механик Кафтайкин сам имел виды на этот трактор, но не успел его спрятать. Он выскочил вперед и встал в воротах, раскинув руки крестом. Митя хорошо знал, что Кафтайкин хоть и грозный, а на передок слабоват, отскочит. И тут же понял, что тюрьма неизбежна, когда увидел падающего Кафтайкина. Механика от смерти, а тракториста от тюрьмы спасло то, что упал Кафтайкин повдоль трактора, и Митя увидел его, ползающего на карачках, в заднее окно. Чуть труханувший, Митя приоткрыл дверь и крикнул:

– Ну, что, мелкий жулик и расхититель социалистической собственности? Мало тебе двух тракторов, которые ты пригнал из Нестеровской бригады и поставил в дальний угол сарая? Так ты еще хотел завладеть моей любимой машиной? Не выйдет!

Кафтайкин, отряхнув штаны, ответил:

– Трактор у тебя заберут, его главный инженер облюбовал.

Митя засмеялся:

– Жизнь – штука крутая, если бы бабы, которых я облюбовывал в свое время, все моими стали, у меня был бы гарем поболе, чем у этих нефтяных королей, у которых половой инстинкт просыпается только на молодой месяц. Ты видел, у них молодой месяц пролетарско-крестьянским серпом изображен, где надо и не надо? Инженеру отдашь картофелеуборочный комбайн, который он по пьянке купил на выставке и от стыда прячет в гараже под брезентом.

Первой же весной Митя стал самым уважаемым человеком на селе. Каждому надо вспахать огород, а трактор в комплекте только у Мити. Утром ему давали список, к вечеру он возвращался домой с полными карманами денег. Все лето без работы не жил, дом перекрыл широким крашеным железом, от водопровода протянул в дом трубу, запустил котел обогрева и самое главное: в маленьком пристрое к дому сделал туалет, установил фаянсовый унитаз, а всю радость сливал в закопанную перед домом цистерну с колхозной заправки, которую купил у ночного сторожа за коробку «фунфурей». Дно цистерны вырезал сваркой, а в яму вывалил два самосвала крупной щебенки, за ящик водки привезли ребята с ремонта федеральной дороги. Вторую пятилетку всей семьей всю отработку сливают в бочку, и не разу не откачивали. В общем, молодец Митя!

Но его широкая натура хотела чего-то великого. Раньше, при коммунистах, он мечтал получить звезду героя, и получил бы, потому что работал больше всех; хоть и выпивал, но с начальством ладил, осенью пахал зябь на «Кировце», больше тысячи гектаров выгонял; все проверяли, нет ли приписок, нет, все чисто, Митины рекорды никто не мог побить. Два ордена дали, большой чин, который ордена вешал, так и сказал: «Звезду тебе уже куют!». Хрен тебе не звезда. Выскочили на телевизор эти проститутки худосочные и цельный вечер пропрыгали, лебеди общипанные. И началось.

К осени работы стало меньше, и загорелась у Мити душа: воздвигнуть себе памятник. Дурная, конечно, мысль, но покоя не дает. А с кем посоветуешься? Пошел к Викентию Амбросимовичу, все-таки ученый человек, рассудит. Таратуову так эта мысль понравилась, что он предложил немедленно заводить трактор. Пришлось достать бутылку и несколько компаньона остепенить. Выехали в полночь, как тати.

Но еще днем Митя кинул топор в люльку мотоцикла «Урал», который получил как победитель областного социалистического соревнования пахарей, и поехал к Горе. Гора огибала село с двух сторон и уходила дальше. На Горе были пашни, под Горой поймы, старицы и заливные луга. В приовражном колке срубил пяток тонких осиноков, наострил колышков, поднялся наверх, вбил колышек, шагами отмерил метров двести, вбил другой, потом еще и еще по одному ему понятному порядку. Колышки вбивал так, чтобы снизу их видно было. Спустился на мотоцикле аккуратно, и давай снова колья вколачивать. Вот к этим колышкам, первому с краю, и подвез он Таратутова, дал ему в руки фонарик и велел включить, как только трактор начнет спускаться. Поднялся по пологой дороге, настроил маршрут на фонарик и заглубил плуг. Трактор пошел тяжело, но под уклон его хоть держи, борозду проложили ровную. По команде Мити учитель перебежал от кола к колу и работал маяком. Митя поднимался в объезд, находил нужный ориентир, заглублялся и плыл вниз. Работу закончили затемно, потому полюбоваться не пришлось, уехали домой уставшие, но довольные.

Недоспавшего Митю разбудил крик матери:

– Ой, тошно мне, тошнехонько! Что же ты натворил, чтоб тебя лихоманка затрепала! Это же тюрьма тебе, а у меня ни сухарика...

Митя выскочил в ограду. Соседи, собравшиеся выгонять коров, молча смотрели в одну сторону, и Митя знал, куда. Он прямо в трусах подбежал к воротам и просиял. Три жирных буквы, обозначающих самое сокровенное мужское достоинство, были как нарисованы на склоне Горы. Понимая, что разборки неминуемы, он схватил с залавка свежий калач, быстро завел мотоцикл и упалил к учителю. Тот безмятежно спал.

– Вставайте, граф, вас ждут великие дела!

Викентий Амбросимович присел на кровати и спросил:

– Поедем допахивать?

Митя засмеялся:

– Засевать! Вы гляньте в окно, и прочтите ваше любимое слово на склоне вековой Горы.

Учитель кинулся к окну и отскочил, как ошпаренный:

– Дмитрий, не имею чести знать ваше отчество, вы совершили историческое деяние, теперь на долгие годы это слово будет украшать мир и напоминать людям, особенно женщинам, об исторической миссии человечества.

Митя кивнул:

– Хреново только, что менты в этой миссии ничего не понимают. Я так думаю, что через часик меня будут искать.

Учитель встал посреди комнаты в застиранных кальсонах с неизвестно откуда взявшимся глобусом в руках:

– Дмитрий, я вас не выдам!

Митя махнул рукой:

– Ладно, поеду сдаваться.

У сельской администрации стоял уазик с синей полосой и трое полицейских вместе с главой местной власти ухохатывались, хватаясь за животы. Митя заглушил мотоцикл и обратился к лейтенанту:

– Сразу увезете или сход соберем, чтобы проститься?

– Так это твоя работа? Ну, голова! Как ты до этого додумался?

Митя понял, что не все так плохо.

– От избытка чувств. Скучно живем, нет места подвигу, а душа просит простора. Вот, разметил и пропахал. Красиво?

– Слушай, а почему бы тебе другое слово не пропахать? Например, фамилию президента. На весь мир прославился бы, – предложил лейтенант.

Митя кивнул.

– Это я могу. Впереди это члена еще много места.

Лейтенант посмотрел сурово:

– Ты мне этого не говорил. За мелкое хулиганство я тебя привлеку, штрафом отделаешься или на тракторе дрова пенсионерам повозишь. А за такие речи... Ну, ты понял.

С тех пор каждую весну на свежей пахоте вперед, чем кругом, зеленела трава, и буквы выпирали, а потом трава желтела, и опять выделялась на фоне зеленеющей окантовки. В общем, слово читалось от снега до снега. Митя полмесяца прожил в райцентре, устроившись на квартиру к незамужней социальной работнице. Он жил бы и дольше, но из деревни позвонили, что скопилась очередь на вывозку дров.

Сашко до окончания восьмилетки ни разу не был за пределами Сладчанки, уже весной, перед выпуском, мальчишек возили на приписку в военкомат, вот там на медкомиссии и упал в обморок брат Пашко, когда девчонка-лаборантка кровь из пальца брала. Пашке дали ватку понюхать, и он ушел, стыдливо прячась от девушки, которую напугал до слез. Сладчанка была для Сашки целым миром. Он знал все ягодные места в лесу, по грибы ходил с тележкой, к платформе наращивал борта из тесин, и привозил полнехонький воз. Мать раскладывала сухие и грузди раздельно, заливала водой, и дня по три вымачивала, промывала, чистила, а потом солила в старинном дубовом боченке. На всех старицах, которые окружали село, Сашко знал самые щедрые места, прикармливал рыбу, как это делали старики, потому улов всегда был добрый.

Сашко любил Гору, которую испохабили Митя с Викентием Амбросимовичем. На Горе сохранились очертания окопов Гражданской войны, рыли их колчаковцы, а красные шли лугом, их было хорошо видно, и, наверное, вот из этого окопа были убиты хорошие ребята-красноармейцы. Сашко ложился в ложбинку окопа и осматривал луг – да, обзор хороший. Здесь же бегали ящерицы. Шустрые, они стояли, опершись на передние лапки и приподняв змеиные головки, пока Сашко не наклонялся, чтобы поймать – сразу исчезали. Однажды он схватил одну за хвост и ужаснулся: хвост в руке шевелился, а ящерица убежала. Опасаясь, что она погибнет, Сашко больше не гонялся за ящерками, просто любовался со стороны.

В первых лесках он находил муравьиные кучи, близко старался не подходить, потому что видел множество дорожек, по которым деловитые муравьи бежали по своим делам или несли домой добычу. Несколько муравьев, подхватив муху с двух сторон, несли ее на задних лапах, так мужики несут тяжелое бревно или двутавровую балку на машинном дворе при колхозе. Сашко сламывал сухую осинку, опирался на нее грудью и зависал над муравейником. Какие картины открывались перед ним! Нет, люди никогда не будут жить так дружно и так понимать друг друга. Их тысячи только сверху, а старики говорят, что внутри муравейника целый город, и не следует хоть как-то нарушать их порядки. Но Сашке приходится, девочка Нина, приехавшая из города в гости к соседям, отказалась выходить вечером и целоваться с Сашкой,

потому что он рябой. Тогда он узнал, что от веснушек помогает муравьиный яд, который они выбрасывают, если сверху пошевелить гнездо. Сашко так и делал, наклонился над муравейником и шевелил веточкой по верху. Сотни муравьев обливали его чем-то кислым и едучим, но Сашко терпел ради девочки Нины. Когда возвращался домой, все лицо горело, глаза сузились, он умывался холодной водой, но утром, посмотрев в зеркало, чуть не плакал: лицо было, как после большой драки. Девочка Нина уходила на соседнюю улицу и целовалась с отличником Олегом, которого Сашко возненавидел и поколотил бы, если бы мог. Он вообще не умел и не любил драться. А вот Пашка умел и любил, поэтому был здоровым и сильным, что и спасало Сашку от многих неприятностей.

Потом к другим соседям приехала из города девочка Катя, которая сама вечером подошла к Сашке и предложила дружить. Сашка сказал, что он рябой. Катя пропела какую-то частушку, что рябой – на базаре дорогой, и они две недели целовались на крыше сарая Катиных родственников. «Ты что-нибудь чувствуешь, когда целуемся?» – спросила Катя. Сашко ответил, что чувствует, что она ела или крошку или салат с луком. «Вот дурак!» – сказала Катя. – «И больше ты ничего не чувствуешь?». Сашко пожимал плечами. «И груди мои не чувствуешь?» – изумлялась она, расстегнув кнопки кофточки и показав два крохотных бугорка. Сашка смутился, прыгнул с сарая и больше с Катей не встречался. Вспоминая это, Сашко улыбался: ведь было совсем недавно, года три назад, а нынче приехала Катя – девица, к которой не подойти. И фигура красивая, и груди настоящие. Два раза специально выходил ей навстречу, думал, узнает – нет, задржила с парнем, которому осенью в армию идти.

Он вспомнил, что в то же лето приезжала из города Валя, Валюша, ее бабушка в деревне живет. Сашко пошел в магазин за хлебом, и она тоже, а когда возвращались, спросила: «Ты село хорошо знаешь?». «Хорошо» – ответил Сашко. «Давай прогуляемся по всему селу, чтобы я потом сочинение могла написать про деревню». Они сходили к полуразрушенной церкви, Сашко осмелел и даже залез на колокольню, чего раньше никогда не делал. Он хотел пройти по толстому бревну, на котором когда-то висели колокола, но струсил и спустился вниз. «Все равно ты молодец», – похвалила Валя. Потом пошли к тому месту на речке Сухарюшка, где из глубины с силой бил родник, погода была тихая, река спокойная, и вода родника высокой гладкой шапкой поднималась над поверхностью. Пошли к самому страшному месту в селе, которое называется пропарина. Сашко объяснил, что много лет через речку делали насыпной мост, куда валили хворост, солому, тонкие жерди. Все лето и зиму по мосту ездили на склад, так ближе. Весной речка Кизилровка переполнялась, вода сносила мост, и весь мусор оседал в глубокой ложине, быстро закисал, бродил, изрыгая из глубины своей выбросы вонючих газов. Пропариной пугали детей, к ней действительно, страшно подходить. Бывало, телята и коровы с дуру залетали – все, затягивало, что и смакнуть не успевали. Теперь мост сделали железный, с бетонной плотиной и металлической заслонкой для сброса лишней воды. Пропарина постепенно иссякает и прежнего ужаса уже не нагоняет.

Прошли по новой колхозной улице из двадцати двухквартирных домов. Палисадники и наличники покрашены, ворота разрисованы, над каждым домом телевизионные антенны. «А ты прочитала, как называется улица? Не успела? «Улица ранних зорь», потому что живут тут механизаторы и животноводы, работники, которые встают раньше других, потому и ранних зорь. Председатель у нас был такой, стихи писал и в клубе на концертах со сцены читал. Народ его любил, а начальство нет, вот и перевели куда-то на повышение».

Подошли к магазину, Сашко сказал, что их три таких в селе, старинной кладки, стены метровые. Сашко тогда еще не знал, как тесно ворвутся в его жизнь эти магазины...

Когда не стало колхоза и обязательной колхозной работы, Сашко с вечера проверял удочки, осматривал тройчатки-якоря из крупных крючков, то на щуку или крупного окуня; готовил прикорм из отрубей и каши, на задворках в основании кучи навоза копал верхний слой земли и собирал толстых и жирных червей. Попадались и белые «лежни», толстые и почти неживые. Их любят налимы и лини, да и окунь не брезгует. Насобирав половину консервной банки, Сашко присыпал червей влажной землей, и шел в дом. Пашко от рыбалки отнекивался, ему от отца ружье досталось, и он ходил осенью на соседнее болотце, дожидаясь кучки косатых или крякв на кормежку, и успевал подбить пару. Раздевался, лез в холодную воду, доставал подранков и гордо нес домой. Вечером прибегали сестры, Параня с Гараней, одна рыбу чистила, другая уток теребила. Осень, утки нагуляли жир перед перелетом, на два варева хватает. Но однажды подъехали на машине люди в форме, попросили документы, у Пашка их нет, забрали ружье, ладно, что без штрафа обошлось. А стрелял Пашко метко.

Тогда вместе стали на рыбалку ходить, с вечера соседку тетю Дусю попросят корову подоить и в табун отправить с телятником, а сами рано утром на старицу, что в двух километрах. Прохладно, штаны вмиг намокнут в росистой низинной траве, вода чмокает в резиновых китайских кедах, но на берегу костер разведут, чайник есть, хлеб, кусок сала, лук, соль. Было у них два любимых места, а тут вышли на чужое, хорошо обжитое, спуск к воде ступеньками оформлен, шалаш в густых кустах на случай ливня.

- Хозяина нет, может, посидим тут? – предложил Пашко.
- А коли придет, да взбучку устроит?
- Не должен, нас двое, да мы и спорить не будем, сразу уйдем.
- Ладно, если кто из наших, – опять усомнился Сашко.
- Понятно, что из наших, сговоримся.

Клев был сразу хороший, натаскали чебаков, подъязков, Пашко трех щук на крюк вытащил, не сильно большие, но приличные, можно будет засолить, все зимой пригодится. Костер развели, чай из шиповника заварили, сахарку сыпнули горсть, налили по кружке.

– Суп вам с мясом, да чай с сахаром, – услышали с высоты берега. Вскочили: дед Архип-Знаменосец.

- Здравствуй, дедушка Архип. А пошто без снастей?
- Архип спустился к воде, сел на траву:
- Снасти пришлось собрать, нет клева. Да мне и не надо, так, время провести.
- Пашко догадался:
- Дед Архип, а мы не твое место заняли?
- Старик, хмыкнул, только глаза повеселели:
- Я следом шел, а когда вы на мою чистинку сели, не стал спугивать, пошел на вашу.

Рыбачьте, парни, я без обиды.

Сашко сполоснул в воде свою кружку и налил чаю гостю.

– С удовольствием. Сашко, дай-ка мне кусочек сала, чето вдруг слюнка потекла.

Помолчали.

– Да, не стает рыбы совсем, – вздохнул дед Архип. – Я с детства был отчаянный рыбак, по неделе жил на старице. Днем траву пособираю, домой принесу подвяленную, дедушка мой Антип выберет, какая правильная, а остальную соберет в горсть и скажет: «Снеси, Архипушка, ягняткам, им пользительно вольной травки подсушенной вкусить».

– А рыба как же? – не выдержал Сашко.

– Ничего не пропадало. У меня нож вострый, дощечка, весь улов почищу, попластаю по спинке, и в корчагу, все лето со мной жила корчага. Ухожу – притоплю в воду, никто и не видит. Вечером посолю, утром вынимаю рыбу, и на веревочку между двух кольшков. На солнце да на ветру она моментом подбывает, вот тогда в ящик и сверху придавить большим камнем. Все было припасено. За неделю слежится – пальцем не выколупать. Еда была настоящая.

Сашко ближе жметя, интересно ему:

– Дед Архип, а как ты в разведку попал?

Старик покряхтел, толи вспоминать не хотел, толи вопрос не вовремя, но ответил:

– Попал по глупости. Я же двадцать пятого года рождения, а в военкомате соврал, что с двадцать третьего. Справку в сельсовете у секретарши, девчонки знакомой, выпросил. Я же рослый был, вот и взяли. Как-то еще до передовой устроили командиры борьбу, шайка на шайку. Меня кто-то сразу в морду кулаком, вот и завертелось, и своих, и чужих в одну кучу сложил. Какой-то высокий чин видел все это, велел меня отмыть, перевязать и с собой забрал. То была полковая разведка. Конечно, учили, и карту, и приметы разные. Только мне везло. В сорок четвертом, я уже во фронтовой разведке служил, направляют нашу группу в тыл, нужен высокий офицер с документами. А где его взять? Нас семеро, лежим у хорошей дороги, паренек наш по рации засек, что большой чин будет ехать по этой дороге, кто-то кому-то передал, чтобы встречали. Командир наш решил его брать, а узнаем по охранению. Если впереди и сзади будут мотоциклисты, значит, важная птица. Часа через два едут. Ну, как что делать – это было отрепетировано. Наши ребята умели с тридцати шагов закидывать гранату в ведро, учебную, конечно, так что боевую в люльку мотоцикла можно, если не суетиться. Гранаты кинули, а машину трогать нельзя, нам человек живой нужен. И командир крикнул: «Не стрелять!». Из машины выскочили трое, а у нас распределено, кто бьет, потому что хором мы тут наломам дровья. Вот тут и кинулись к машине, он, падла, сумел из пистолета одного уложить, дверцу распахнули, на погон поинтересовались, кляп в рот, руки веревочкой за спиной, и побежали. Ну, то, что я вам рассказал, только в кино бывает, я диву даюсь, как они в телевизоре на ходу друг по другу очередями из автомата, и ни один не упал. Так не бывает. Не успели мы до леска добежать, а к месту захвата целый грузовик ребят подъехал, понятно, что мы с бугра, как на ладони. Выстроились они в цепочку и побежали. Командир кричит: «Их двадцать человек, надо оттянуть хоть на километр вглубь и дать бой». А мне приказывает с генералом бежать без остановки. Ну, понятно, что генерала так не гоняли, как нас майор Злотников, он у меня стал валиться. Я ему пистолет показал и зову вперед. Но сколько он мог? Еще с полчаса, и упал. И я упал. Прислушиваюсь: бой идет. Шестеро против двадцати. Если пропустят хоть троих, генерала мне придется пристрелить. Поднимаю его на спину себе, кило восемьдесят будет. Бегу. А мне же еще линию фронта переходить, а где наш проход, я уже не ориентируюсь. Но по времени догадываюсь, что где-то рядом. Привязал генерала к березе надежно, и пошел в разведку. Точно, стоит небольшое подразделение ихнее, похоже, минометчики, балакают, кофий пьют. Я назад, генерала на спину, и в обход. Ночью

перехватил меня наш дозор, помогли генерала доволочь, я прошу соединить с начальником фронтовой разведки полковником Трутневым. А особист уже тут: «Как это понимать, один, и генерала взял с документами. Ну-ка, документы мне!». Портфель, понятно, у меня в рюкзаке, а я одно свое: «Доложите полковнику срочно: язык взят. Старшина Кукушкин». В общем, нашлись добрые люди, связались с Трутневым, тот сам на «виллисе» приехал, чуть морду не разбил особисту, а тот орет: «Проявил бдительность в сложных обстоятельствах!». Доложил я все честь по форме, что ребята, скорее всего, погибли. И тут меня снова в оборот: «А как ты живой остался?». Говорю, что командир группы приказал генерала доставить, а сам остался прикрывать. Но особисты – это такая порода, они сами себе не верят после обеда. В рыло мне, я дал сдачи, майор давай зубы считать, а рядовые свалили и мнут. В это время заходит человек, а в комнатухе полумрак, свеча горит, и все. Майор орет: «Кто такой, твою мать, почему без доклада?». Человек спичку черкнул, чтоб погон осветить: «Начальник штаба фронта генерал Табаков! Этот боец принес такие сведения, что ими заинтересовалась Ставка, товарищ Сталин дал команду самолетом доставить генерала и документы в Москву. Пойдешь под трибунал, майор. Арестовать!». А меня взял с собой, сказал, что лично товарищ Сталин приказал оформить на солдата награды на Героя Советского Союза.

Сашко аж подскочил:

– Дак ты Герой?

Дед Архип засмеялся:

– Нет, брат, майор кому-то доводился кумом, судить его не стали, перевели в другое место, а представитель Ставки при фронте от подписи отказался. Тут через день контрнаступление немцев, и нас гнали километров пятьдесят. Какие тут награды, хоть бы штаны не потерять.

– Дедушка Архип, а почему тебя знаменосцем зовут? – не унимался Сашко. Он со стороны любовался стариком: здоровый детина с рыжей окладистой бородой и богатыми усами, за которыми совсем не виден рот. Архип-Знаменосец покашлял и стал говорить, что вернулся с войны не сразу после Победы, потому что месяц в сводном отряде репетировал, как идти по Красной площади с немецким плененным штандартом, как круто разворачиваться и разом с другими ребятами бросать свой флажок в общую кучу. Ничего поначалу не получалось, особенно с разворотом, да и строевой шаг за войну сменили на шаркающую походку. Но полковник велел кормить бойцов вволю, час после еды отдыхали, а потом, разобрав обструганные палки с неношенными портянками, под капитанское «ать-два!» ходили по плацу, организованному на подмосковном аэродроме, круто разворачивались, мешали ряды, матерились все от рядового до полковника. Через неделю такой безделицы полковник на утреннем построении сказал, что этот проход с фашистскими знаменами будет основной частью большого парада на Красной площади, а на трибуне будет стоять Сам. Потому, если, оборони бог, что-то будет не так, как пообещали Самому, весь батальон знаменосцев, как его прозвали, лишится наград и поедет в Прибалтику и на Украину добивать бендеровцев и «лесных братьев». За три дня до назначенного времени отряд вывезли в столицу, и тренировки пошли ночами. А Архип после последней контузии стал плохо видеть в темноте, боялся, что «куриная слепота» к нему привязалась, дослуживал в помощниках у майора Злотникова, и на первом же проходе порушил к едреной матери весь строй. Капитан дал команду «Стой!», быстро вычислил, кто виноват, взял мужика за грудки и притянул к себе: «Дыхни!». Капитан был отличный строевик, но он не предполагал, что может выкинуть солдат, три года

проходивший во фронтовой разведке, имеющий все боевые ордена и медали, кроме командирских, к тому же не раз контуженный и урвавший воли под крылышком у начальства за очень удачных «языков». Архип напротив, вдохнул, поднял над толпой бараний вес капитана и кинул, на кого бог нанесет. Капитана поймали, он пришел в себя и, заикаясь, сказал, чтобы больше он этого бойца не видел. На другой день Архип Кукушкин поехал домой. А в письмах бабенкам, которых обихаживал не пяток ли штук, успел хвастануть, что трофейные знамена станет кидать по Красной площади. Но парад проходил, когда Кукушкин травы косил на заливных лугах для колхоза. Из пятерых только одна осталась при деле, а четыре непримиримых неожиданно объединились и сдали Архипову хвастню всему бдительному обществу. С тех пор стал Архип именоваться Знаменосцем.

Архип улыбнулся и встал:

– Рыбачьте, ребята, а я домой.

Параня и Гараня вечерами тосковали до сладких девичьих слез. В клубе под потолком одна лампочка, полумрак, ни гармошки, ни песен и плясок. Матери их рассказывали, какие игрища устраивали в деревне, не смотря, что сенокос, обмылись в теплой баньке и на площадку ко клубу. Тут тебе и Витя Андреев, гармонист не сосчитать, в каком колене, прадед его еще девок балалайкой завлекал, говорят, у него эти три струны такие мелодии выводили, что не только бабы – нетронутые девки плакали. И дед играл, начинал с балалайки отцовской, а потом гармошку из армии привез, тальянку. А отец уже настоящую гармонь освоил, трехрядную хромку, а с войны принес трофейный баян. До крайности овладеть время не хватало, надо было колхоз поднимать, но Витька подрастал, чтоб механизм не застаивался, доставал Андрей баян из футляра, и сын с полчаса меха продувал. Как-то Андрей повернул инструмент, а внизу медная табличка, и на чистом русском языке на ней выбито: «Московская государственная филармония». Андрея аж мурашки пробрали: инструмент-то казенный, мало ли, как он тебе достался, а как честный советский человек, коммунист к тому же, должен был ты его из фашистского плена вернуть по месту прописки. Никому ничего не сказал старый боец, а в консерваторию написал: «Так, мол, и так, в освобожденном Берлине на квартире одного большого генерала увидел сей инструмент и спросил командира взвода старшего лейтенанта Соколова, можно ли реквизировать баян, потому как в родном колхозе средств не хватит такую машину купить, а после войны народ развеселивать надо, хватит, поплакали. Лейтенант согласился и бумажку написал, что бойцу Андрееву этот баян достался как военный трофей и принадлежит по праву. И только вчера я случайно обнаружил этикетку вашу и прошу мне сообщить, каким образом баян выслать обратно в филармонию». Недели через три получил он пакет, в котором директор филармонии на официальном бланке благодарит солдата за сохранение для родины этого инструмента и пишет, что решено баян этот за номером И-154 навечно подарить Андрееву Андрею как награда за Победу. И подпись, и печать.

Витька быстро стал инструмент осваивать, любую песню, любую музыку по радио услышит – тут же сыграет. И почему его отец на учебу не отправил? Бедность, конечно, но сестры Перышкины нахвалиться не могли Витькиной игрой. Ни одна свадьба без него не обходилось, деньгами тогда неприлично было рассчитывать, а водку Виктор не пил. Весь вечер баян с колен не убирал, а утром снова то за столом, то по улице пойдут с песней, пока

хозяева со столов уберут и по новой накроют. А теперь... одна пара там, другая тут жмутся. Тоска.

– Параня, может, в самом деле взамуж выйти и жить начинать семейно, а то останемся, как матери, без мужиков.

– Ну, ихних-то женихов война оженила, а у нас какой выбор? Мне вот Венька глянется, дак он на меня ноль внимания. Абы за кого – тоже не шибко охота с нелюбимым всю жизнь под одним одеялом. Да и противно, полезет к тебе, а в душе пусто. И что? Стонать, как в кино?

Гараня помолчала. Права сестра, хоть и не приятны ее речи. Она вот за Федюшку бы пошла, да у Феде Лида есть, и не отобьешь.

Шли, разговаривали. Только с коровами управились, еще светло. Навстречу Архип-Знаменосец, высокий, прямой, бородатый.

– Здравствуйте, дедушка Архип.

– Здравы и вы будьте, красавицы.

– Да какие мы красавицы, никто замуж не берет.

– Эка причина для тоски! Возьмут, корыстны ваши годы! Это мне, старику, одному куковать.

– А почему бы вам не жениться? Мужчина вы крепкий, статный, только вот бороду сбрить, и на свадьбу.

Знаменосец засмеялся:

– Бороду брить нельзя, я с бородой с войны пришел, с бородой и в гроб лягу. Потому что лицо мое избито и изрезано в рукопашных боях с противником, его людям показывать нельзя.

В это время к ним подъехала та самая машина с теми же парнями:

– Привет, девушки. Ну, что надумали?

– Привет, привет. А ничего не надумали. Узнали мы, для какой надобности вы нас вербуете. Поезжайте дальше, а то братьев свистнем.

Парни переглянулись, один вышел из машины:

– Девчонки, подойдите поближе, не на всю же деревню базарить. А ты, дед, валил бы домой к своей старухе.

Сидевший за рулем схватил за руку Параню, вышедший сгреб в охапку Гараню и сунул в открытую заднюю дверь, перехватил орущую Параню и пихнул в машину. Чья-то сильная рука урвала его за шею и кинула на землю.

– Девчонки, вылезайте, а я с ребятами потолкую, – крикнул Архип-Знаменосец и одним движением выдернул парня из-за руля. – Ребята, так за девушками не ухаживают.

– Глеб, сделай ему, сделай, он мне руку вывернул.

Лежавший на земле Глеб поднялся и прыгнул на спину старика, нанес несколько ударов ножом в бок, Архип еще сумел перекинуть его через голову и упал на землю. Парни бросились в машину, и она рванула с места, оставив облачко вонючего дыма. Девчонки кинулись к старику, увидели его открытые неживые глаза и отпрянули. Сбежался народ, позвонили в район. Скорая и полиция приехали через час. Полицейские записала рассказы Парани с Гараней, загрузила тело деда Архипа в скорую, и машины ушли. Народ, впервые за много лет собравшийся такой большой кампанией, молчал, только изредка какая-нибудь бабенка тяжело вздыхала. Все чувствовали, что в селе не стало чего-то высокого и значительного.

– Архип Петрович был последним участником Великой Отечественной войны в нашем селе, – сказала Мария Васильевна, бывшая учительница, и заплакала. И многие утирали слезы. Село вздыхало о последнем фронтовике и обо всех своих воинах.

Через три дня, в субботу, во двор сестер Перышкиных вошли три человека, постучали в окно, напуганные девчонки запирались с раннего вечера.

– Свои деревенские мы, открывайте.

В избу вошли два брата-тихони, Антон и Артюха, и их отец, слесарь Вакарин.

– Девчонки, вы моих парней знаете, они толковые, работающие, только больно в себе замкнутые, мать их такая же была. А пришел я к вам вот по какому делу: женить вас хочу, вы сами разберетесь, которая кого примет. Девчонки, будете как за каменной стеной. Они хоть и тихие, но себя в обиду не дадут и вас тоже. Одни останутся в своем доме, одни в нашем, а я перейду к теще, она уж в больших годах, одна не может. На обзаведение хозяйством все дам, у меня припрятано на черный день. Тогда я пошел, а вы тут разбирайтесь.

Деревня не знала еще такого сватовства, чтобы молодых сразу оставили одних, да еще парами. И пары-то не определились. Девки побойчей, давай разговор заводить:

– Парни, а что это вы жениться надумали?

– Батя заставляет. Говорит, хватит дома сидеть, всех девок разберут.

– Ну и как вы будете жениться, вот мы две невесты, как поделите?

Антон, видно, посмелее:

– Параня, ты пошла бы за меня, я бы тебя к себе увел, а Артюха с Гараней в вашем доме останутся. А что про хозяйство отец сказал – все чистая правда, он у казахов на заимке скот держит, даст и коров, и овец, а птицы дома полно.

– Вы, женишки, посидите тут, мы с сеструхой пошепчемся.

Ушли в маленькую комнатку, хоть стой, хоть падай. Не было ни гроша, и вдруг алтын. И смех, и грех.

– А что, Гараня, может, это и есть судьба. Дед Архип нас от позора спас, царствие ему небесное. Парни они добрые, их только поправлять, чтобы робыли то, что надо. И достаток будет. А чего нам ждать? Нет, правда? На какой-нибудь гулянке подловит молодец, трахнет и отопрется. И куда потом? Как ты, а я согласна. Обожди, мне за которого выходить-то?

Обе пали на кровать и хохотали до колик. Вернулись, парни сидят, как сидели.

Параня спросила:

– Антон, так мы прямо сейчас к тебе идем, или как?

Антон встрепнулся:

– А чего тянуть? Постеля заправлена, батя уже у тещи, банька протоплена на всякий случай. Артюха пусть с Гараней остаются, а после Рождества свадьбу справим.

Утром Пашко отправил Сашку на смену, а сам пошел к учителю. Викентий Амбросимович снова стоял над электроплиткой и варил макароны. Обернувшись на скрип двери, он радостно воскликнул:

– Мой юный друг, что вы скажете про гениальную надпись на склоне горы? Это поистине историческое событие!

– А почему вас как соучастника, не привлекли, Митька один отдувался?

– Ответ самый простой: Дмитрий мог работать и приносить пользу обществу, которому нанес, как некоторые считают, моральный ущерб. Я же работать не могу, а даром кормить никто не будет. Кстати, об ущербе. Жаль, что не было настоящего судебного разбирательства, где я бы доказал, что мы с Дмитрием, к сожалению, не знаю его отчества, если и затронули чью-то мораль, то самую малость, одну мегамиллионную от того вреда, который несет массовая культура и телевидение. Так, молодой человек, вы ко мне по делу или просто навестить компаньона?

– Навестить и по делу. Надо молитву искать, потом учить.

– Искать не надо, вот она, на столе, я распечатал на старой машинке.

Пашко взял лист и начал читать:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. На море, на океане, на острове Буяне лежит сундук деревянный, в сундуке лежит ключ оловянный. Клад лежит, рогатый черт сторожит. Встану я, помолясь, выйду, перекрестясь. Бог в уме, крест на мне. Иду, спешу, глаз не поднимаю, Господа не забываю. Господи, одолей рогатого, одолей черта богатого. Рогатого побивай, богатство его забирай. Дай этот клад мне, моей грешной душе. Пусть заклятье любое разобьется, к душе моей грешной не подберется. Бог в уме, крест на мне, Божиим рабе. Кто девять раз заговор этот прочтет, того ни одно заклинание не возьмет. Дело мое крепко, слово мое цепко. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».

– Ну, как вам текстик? Особенно про рогатого. Напрасно, напрасно, батенька, улыбаетесь, если есть Бог, а он есть, стало быть, есть и антитеза, то есть, его противоположность, значит, дьявол. Его как угодно можно назвать, специалисты насчитывают несколько сот вариантов, а все равно это просто черт рогатый. Не страшно посягать на охраняемое им?

– Посмотрим, – хмуро сказал Пашко и вышел. Молитва смутила его. Он никогда не был в церкви, дома на божничке стоят две старые иконы, но кто на них нарисован, он не знает. Да и мать едва ли знала, каждую субботу протирая их и каждый вечер скоренько молясь.

Откуда у него возникла эта мысль, но первый магазин, в котором работала продавцом дальняя родственница тетка Матренка, Пашко решил взять один. Рассуждал так, что Сашко пока в это дело вовлекать не надо, а учитель еще ничего путного в дело не внес, кроме расшифровки Соловецкой версты да устрашающей молитвы.

Ох, как не терпелось, но замок на складе ломать не будешь, вдруг там что на учете хранится, да услышит кто возню, все-таки не с девкой валындашься, а в частной собственности роешься. Если Петька-Партком узнает про клад – живьем в землю мерзлую зароет. Пришлось хитрить. Ночью тихонько спрятал около сарая лом, лопаты штыковую и совковую, фонарик приготовил. На другой день после обеда зашел к тетке Матренке:

– Тетка, ты во сколько закрываешься?

– В семь, но седни раньше уйду, спину прихватило. Разрешил барин.

– Не любят его в деревне...

– А за что любить? Ты торгуй, но меру знай. Ухватит за рубель, на продажу ставит за два. От людей стыдно. А зарплата? Поневоле воровать начнешь. Ладно, чего тебе?

– У тебя в сарае за магазином никаких бумаг нет? Прямо беда, кочегарку разжечь нечем.

– Пашко, да я там и не была ни разичку. Вот ключ, сходи, погляди, что найдешь – все твое.

Пашко с трудом открыл заржавевший замок, протиснулся, притянул обратно дверь, кинулся к середине стены. Ворох старых мешков и бумажных коробок распинал ногами,

лопатой расчистил место. Навострил штыковую, приступил ногой – вся вошла в сухой грунт. Сердце бешено колотилось, но не надо спешить. Инструменты спрятал, замок оставил открытым, ключ унес тетке Матренке, поблагодарил за бумагу.

– Не мешал я тебе, когда там ящики разбрасывал? – спросил между прочим.

– Ничего не слышать, тут же метровые стены, не то, что в наших двухквартирниках, да еще спальню к спальне сделали, стыдоба. Мой после первой же ночи, как наслушался Федоркиных охов да ахов, кровать в детскую перетащил, а для ребятишек кошму у казахов купил во всю стену, да ковром завесил. Ладно, иди, закрываю я.

Пашко приготовил длинную веревку, пришел после управы, когда все по домам и магазин на клямочке, вбил гвоздь в косяк, привязал веревку и аккуратно обошел магазин, просовывая веревку в щели между стеной и складом. Завязал на веревке узел, чтоб не потерять результат. Пришел в котельную, Сашке ничего не сказал, за столом вычислил, что осталось ему за вычетом шести полных охватов намерить двадцать пять метров и еще треть. Пашко чуть не вскрикнул: ширина магазина пятнадцать, длина двадцать, значит, зарыт клад ровно посередине задней стены. Вот идиот этот месье, придумал всякую хрень, нет, чтобы прямо сказать: ребята, ройте посередке!

Пашко вернулся в сарай и стал неистово рыть. Сухой грунт осыпался, пришлось устье расширить, согнутой совковой лопатой вынимать землю аккуратно.

«Сволочи кулацкие, какая нужда была загонять на метр? Если кто и догадался, то хоть на пять, все равно выроют». Взмок, полежал, понял, что придется для себя площадку заглублять. Прилично ушел в землю, размеченной палкой ткнул: ровно метр. «Твою мать, а как вовнутрь-то рыть? И сколько? Сказано было, чтобы не материться, а я гоню. Тьфу, про молитву забыл. Нет, не я буду, если не добьюсь. И платформочку-то под ноги надо было спереди делать, а не сбоку. Сейчас бы и в вовнутрь легче было».

Рыл неистово, кухонным ножом колупая слежавшийся грунт, с головой опускался в яму, выгребая горстями комочки. Голова кружилась, пот заливал лицо. Захватил полную грудь воздуха, опустил в яму и... сорвался. Одна рука внизу, другая зажата между стенкой и телом. Пашко сильно испугался, орать – опасно, да и бесполезно, кто услышит? Поймал черен лопаты, упер ее в днище ямы, левой рукой оперся о землю, правой подтягивался на черене. Подтянулся еще, сломал ногти на левой руке, пытаюсь хоть как-то ухватиться за стенку. Вроде удалось, с трудом вылез из ямы и упал на спину.

«Надо бы за Сашком сходить, он со свежими силами», – подумал и отказался: сам начал, сам и доведу до конца. В метре от стены начал копать ступеньками до самого дна, вот тут и во внутрь пошло ловчее. Копал большим ножом, под уклон, как нижняя перекладина креста. С трудом выгребал землю, и она уже мешала, хоть вылезай и снова выгребай наверх. У парня сердце екнуло: ножик уткнулся во что-то мягкое и податливое. Он уже смело лег на живот, зная, что по новому проходу сумеет выбраться, и засунул руку в нору. Ухватил что-то мягкое, потянул, выволок небольшой кожаный мешочек. Сунул его под мышку и включил задний ход. Отдышался, сел на краю канавы, достал мешочек и осветил фонариком. Несколько десятков монет. Вынул одну, протер – блестит. Золото. Бросил монету обратно, мешок спрятал в карман фуфайки. Хотел было закидать яму, и вдруг подумал: «А если там не один мешочек? Что же я дурку гоню! Надо искать».

Как потом хвалил себя Пашко, потому что еще два мешочка выволок, только там было золото плашками. Яму он с трудом завалил и побрел домой. Аниска встретила по дороге:

– Привет, Пашко. Ты что такой грустный?

– Устал на работе.

– Ой, не заливай. Какая работа? Я в котельную заходила, Сашко там с ребятами в карты режутся. Я ему мигала-мигала – все по фиг, одни козыри на уме. Слышь, Пашко, давай, я тебе подмигну?

– Нет, Аниска, никак не могу сегодня, еле ноги волочу.

– А ты с каких это приисков, полные руки инструментов?

– Ты не поверишь, Аниска, с золотых.

Аниса весело захохотала и побежала искать свои приключения.

Пашко спрятал под кровать мешочки, завернутые в старую холщовую тряпицу, и уснул тяжелым сном.

Ему поочередно приснились Викентий Амбросимович, черт и голая Аниска. Таратутов, ставший безобразно полным и медлительным, сразу объяснил перемены неумеренным питанием, потому что голуби содержат в своем мясе еще неоткрытое учеными вещество, сильно влияющее на мужскую силу, а коли у него нет выхода этой энергии, вся она скапливается и однажды вырвется на волю.

– Вот тогда, тогда, – грозно произнес учитель, – пусть Мякеша будет готова к великим испытаниям, я отомщу ей за поруганную мужскую честь.

Таратутов рассуждал, как будто клад уже найден:

– Куплю себе новые туфли, пошью костюм с отливом – и в Ялту!

Пашко уже слышал когда-то эту фразу, но представить Амбросимовича в новом костюме не мог. Потом появилась Аниска. Правда, не совсем голая, на ней был перстень с блестящим камнем и цепочка на шее с большой Сашкиной фотокарточкой с комсомольского билета. Она села напротив на шаткую табуретку и положила ногу на ногу. Мощные груди, которые Пашко до этого видел только через кофточку, нагло топорщились и дразнились. Он сразу понял, что Аниска пришла его охмурить и утащить холщовую тряпку с золотом. Девка не без умысла молча перекидывала ногу на ногу, и тогда еще более соблазнительное видение являлось бедному парню. В это время заорал кот, упавший с полатей на горячую плиту, и Аниска исчезла. Но дел она натворила, Пашко повозился в постели, завыл и пошел колоть дрова. Чуток охлынув, вернулся и снова уснул. Сразу краешек одеяла приподнял какой-то урод со свиным рылом и хихикнул:

– Узнал? Эх, Пашко, зачем ты полез за чужим? Сказано тебе было, что я его поставлен охранять, нечто ты не знаешь, на что черти способны? Я вмиг могу превратить тебя в зверя любого или, того хуже – в депутата, министра или губернатора. Я, правда, не знаю про них ничего, но, как матерят их мужики, думаю, страшные исчадия, и наказание будет ужасное. А еще могу превратить твои монетки и слитки в говно, круглое и плиточками.

Черт заржал диким хохотом и рванул через печной чужал на волю. Пашко еще подумал: «Как это он? Ведь вьюшка закрыта!». А потом вздрогнул: что с золотом!? Свалился с кровати, выдернул тряпицу, развернул, а оттуда завоняло. Пашко заплакал и проснулся. В самом деле проверил тряпицу – все в порядке. Мелкая дрожь колотила его. Грешным делом, явилась было мысль, что зря связался с золотом, говорили добрые люди, что от него одни неприятности. Посочувствовал новым русским, живущим в роскоши и богатстве, как же они спят, бедные,

если им черти каждую ночь являются, они ведь тоже золотишко-то не сами сыскали или добыли, оно, считай, уворованное, и к тому же без молитвы.

Чуть рассветало, пошел к Викентию Амбросимовичу. Тот сидел в жарко натопленной избе и теребил курицу.

– Что это вы от голубей отказались? А говорили, что самая полезная птица.

– Не оспариваю, но, знаете, и шоколад, говорят, приедается. А вчера пошел погулять перед сном, слышу: у Мякеша уж больно шумно в курятнике. Я же расположение знаю, открыл дверь, посветил фонариком: ласка трех штук задавила и четвертую душит, кровь пьет. Понятно, во мне она конкурента сразу увидела, я грешить не стал, трех курочек еще теплых, за лапки и домой.

Пашко начал издали:

– Вот, Викентий Амбросимович, случись так, что золотишко действительно есть, и немало. Что вы с ним собираетесь делать? Жрать его не будешь, тетка Матренка на кусок золота даже булку хлеба не даст, она его знать не знает. И куда мы с ним? Богачи – голодные и оборванные.

Таратуты с ненавистью вытаскивал из куриной тушки перекушенное горло, Пашко схватил нож и, отпихнув руку учителя, отпластнул шею.

– Ее же ласка жевала, она может быть бешеная.

– И что? Больше, чем я имею, бешенство мне не грозит. К тому же шейка – самое нежное мясо. Ладно, прощаю. У меня еще две.

– Так что о золоте?

Викентий Амбросимович тщательно вытер руки, сунул курицу в кастрюлю с водой и включил электроплитку.

– Понимаете, сын мой, есть несколько путей реализации драгметаллов. Назову наиболее доступные вам. Во-первых, можно пойти и сдать все в органы, кстати, вы и обязаны это сделать, иначе конфискация и тюрьма.

Пашко, плохо понимая, переспросил:

– А что страшней – тюрьма или конфискация?

Учитель хмыкнул:

– Обе страшнее. По закону нашедшему полагается двадцать пять процентов от стоимостиклада и столько же владельцу земельного участка, на котором найден клад. Это я вычитал в новом законе демократов. Конечно, можно утверждать, что клад нашел в собственном туалете, тогда надо три свидетеля. К тому же вас непременно обманут, потому что в государственных органах не может быть людей, способных решить дело без корысти. Второй вариант. Сдать золото в банк. Не в нашу сберкассу, а в областной банк. Но тут есть проблема. У вас могут поинтересоваться, откуда дровишки? А тогда опять конфискация и тюрьма. Наконец, фарцовщики. Но, даже если вас с ними сведут, они посмотрят на жалкое крестьянское происхождение и опять же ограбят.

Пашко не выдержал:

– Что вы заладили: ограбят, обманут, посадят. Слушать тошно.

Помешивая варево и снимая поварешкой накипь, учитель усмехнулся.

– Вы зря волнуетесь, молодой человек. Не исключено, что бывший купец, точнее, его наследник, просто пошутил, вы будете рыть, а там пусто.

Пашко насторожился:

– Это как прикажете понимать, месье Таратутов? «Вы будете...». А вы?

Месье смахнул слезу:

– Понимаете, друг мой, мне поздно тетешкать мысль о благополучии. Если уверую в чудо, душа моя взлетит, а вдруг фикция – я просто не перенесу.

Пашко стало так жалко старика, что он едва не проговорился, но воздержался, потому что дал себе слово только тогда открыться, когда можно будет дать каждому его долю рублями.

– Ладно, не горюйте, до лета еще далеко, – успокоил кладоискатель.

– Причем здесь времена года, позвольте вас спросить?

– А как зимой землю долбить? Нет, только летом, когда грунт отойдет, в июне, не раньше.

Хозяин сошвырнул из деревянной ложки глоточек бульона, остался доволен, засыпал в кастрюлю крупные куски чищенной картошки, прибавил накал спирали и сел к столу.

– Я просил вас точно указать на схеме, где ввод электропроводки в магазины. Что скажете?

– Ввод с левой стороны по ходу. И что?

– Вы видите электроплитку? Под действием тока происходит нагревание металла. Если мы найдем приличную круглую штуковину и через хорошо просчитанную схему подключим ее к сети, то эта штуковина...

– Люк от водопроводного колодца! У нас в котельной пара валяется! – крикнул Пашко.

– Гениально! Я должен знать массу этой крышки, проще сказать – вес, а потом надо садится за расчеты и искать нужные материалы. А именно: медный кабель, сопротивления, предохранители. Это я все напишу.

– Аниски Кургузкиной отец электриком служит в комхозе. Найдем.

Дома Пашко закрылся на крючок, высыпал содержимое мешочков в большую чашку и стал промывать теплой водой с мылом. Вымытые плитки и монеты выкладывал на чистое полотенце, потом протер, сложил в материн старый платок и сунул в старый сапог, оба они давно валялись в подполье. Здесь никто не найдет, Сашко вообще в подпол не лазит, даже за картошкой. Три монеты завернул в тряпочку, одел приличный костюм, ботинки, курточку китайскую теплую, взял документы и пошел на выезд из деревни. Первый же грузовик остановился:

– Далеко ты приффраерился? – спросил водила Мишка Японский Городовой.

– В военкомат вызвали.

– В армию заберут? – посочувствовал Мишка

– Не знаю. Может, оставят.

– Ага, на племя. Из вас двоих лучше Сашко оставлять, он, говорят, полдеревни девок огулял, – похвалил Мишка.

– Болтают. Когда ему гулять, он из котельной не вылезает.

– Ты там долго?

– Не знаю, – коротко ответил Пашко.

– Смотри, а то я через пару часов обратно. Дарма довезу. Я у газпромовской конторы буду. Найдешь.

Пашко вышел на повороте и быстро пошагал в сторону банка. Народу в зале немного, постоял, почитал красивые листочки, случайно увидел, что банк золото закупает. Аж ахнул: ну, катит ему сегодня! Подошел к окошку, за которым сидит молодая симпатичная девушка.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Слушаю вас.
– Я вот прочитал объявление, что вы золото покупаете.
– Это не ко мне. Гуля, к тебе клиент! – И Пашко равнодушно: – Пройдите к третьему окну.

Гуля, казашка, тоже молодая и красивая, вежливо поздоровалась:

– Слушаю вас.
– Я бы хотел сдать золотые монеты.
– На хранение? – спокойно спросила.
– Нет, за деньги.
– Покажите монеты.

Пашко осторожно положил в лоток три кругляша. Гуля взяла монеты, долго рассматривала, включала какие-то аппараты, потом взвесила и подняла глаза:

– Вы знаете, банк купит ваши монеты, но это не простой процесс, к тому же вы заплатите налог. В общем, в результате, если все нормально, вы получите вот такую сумму.

Она написала цифры на бумажке и показала через стекло. Пашко кивнул. Она поманила его пальцем ближе к окну:

– Я могу купить эти монеты прямо сейчас, для себя, вы, наверное, знаете, что казашки любят золотые украшения. Я дам вам вот такую сумму.

Опять листочек с цифрами.

– Это чуть меньше, чем банк, но никакой волокиты. Я даже паспорт ваш не спрашиваю, потому что монеты действительно настоящие. Вы согласны?

– Прямо сейчас? – испугался Пашко.

– Да, я только сниму деньги с карточки. Монеты пока можете взять.

Пашко трясло. Таких денег, какие написала эта девчонка на листочке, ему в котельной за десять лет не заработать. И это только три монетки! А у него их тридцать! У парня закружилась голова, он сел на стульчик. Скоро пришла Гуля.

– Вот, смотрите, это счетная машинка. Я закладываю пачку, она считает. Видите сумму?. Все сходится, правда? Вы довольны? Только прошу вас о нашей сделке никому не говорить. Меня уволят с работы. Извините, а вы не можете достать еще несколько монет? Я бы купила их по той же цене.

Пашко помялся.

– Я пока ничего не могу сказать, но если что-то будет, я к вам приду.

Гуля спросила:

– Извините, вы куда с такими деньгами? Давайте положим их во вклад, а прямо сейчас оформим банковскую карту, и на ней будут храниться все ваши средства. Согласны?

Она принесла бланки, что-то набирала на компьютере, сделала копии паспорта, спросила, сколько он хотел бы оставить себе, остальные занесла на счет. Пашко где-то расписался, получил голубенькую сберкнижку, пачку денег спрятал во внутренний карман пиджака.

– Спасибо вам, – улынулась Гуля из-за стекла. – За карточкой приходите через три дня.

Молча менялись сменами с Сашко, ни тот, ни другой не заговаривал о кладе, хотя вместе оттирали от ржачины водопроводную крышку, вместе ходили в магазин к тетке Матренке, чтобы она взвесила эту штукину. Тетка ворчала, но прибодрила железяку и назвала вес. Пашко записал. Братца отправил к Кургузкину, чтобы он завтра подтащил к котельной свой

сварочный аппарат, а расчет на месте. Пашко припрятал две бутылки водки и позвал Викентия Амбросимовича, чтобы он руководил сваркой. Кургузкин осмотрел крышку и прямо спросил:

– Мужики, если вы самогонный аппарат решили сварганить, то крышка не годится.

Говорите прямо, что надо изобразить?

– Понимаете, господин Кургузкин, надо к этой крышке прикрепить два медных кабеля, чтобы она была вроде кипятильника.

Кургузкин посмотрел на учителя, как на ребенка:

– Сразу закоротит, и амба. Нахрена вам такой кипятильник?

– Нет, позвольте, товарищ Кургузкин, научный эксперимент. Мне известно, что надо в сеть включить целый ряд приборов, но каких – научите! Вы же профессионал!

– Знамо дело, что не учитель. Надо, чтобы эта хрень раскалялась до красна?

– Нет, до красна не надо, это опасно, а вот чтобы черная и очень горячая.

Кургузкин огляделся, видимо, соображая, кто будет рассчитываться. Пашко кивнул: расчет на месте.

– Тогда плесни мне сто пятьдесят, а я доеду до своей каптерки, подберу, что надо. Но, ребята, имейте в виду, линию садить будет прилично.

К вечеру полупьяный Кургузкин все сделал в лучшем виде. Тут же подключили конструкцию, плита за пятнадцать минут накалилась, аж вода отскакивала, не закипев. Получив полный расчет, Кургузкин пошел заводить трактор. Пашко вышел за ним следом.

– Про эту конструкцию никому, понял? Если кто-то на напряжение будет жаловаться, вали на трансформатор или замыкание, но про нас ни слова. А за молчание я тебе хорошо заплачу. Будет все хорошо – Сашка на Аниске женим, у них вроде как любовь.

– Пашко, жени, жени от позора. Вчера мать сказала, что дочь вроде на соленое поворотило, а это херовая примета.

– Не паникуй, все уладим. Она от братка и подхватила, больше некому. Я-то знаю, что они у нас курдаются. В общем, язык прижми, и все в наших руках. Ты меня понял? Смотри, дело очень серьезное.

– Да понял, Пашко, понял, ты хороший парень, я и отца твоего уважал.

Из двух оставшихся магазинов Пашко выбирал наиболее удобный. У хозяйственного задняя стена совсем голая, начнешь возиться – с соседней улицы увидят. К мебельному вообще не подобраться, за магазином дорожка протоптана, ребятишки напрямую в школу ходят. Вечером братцы пошли к хозяйственному с лопатами хотя бы снег разгрести, добрались до земли, вокруг выложили брустер из снежных кирпичей. Если что – будто ребетня играет. Приволокли конструкцию, толстый медный кабель закрепили в зажимах, стянув болты, Пашко взял стремянку, Сашко притянул два конца кабеля. Пашко крючками согнул оголенные концы и полез к вводу, подвесил один провод, осторожно завел второй. Сноп искр, и тишина. Пашко прыгнул с лестницы и кинулся ко крышке. Сашко отодвинул, не дай бог – наступит. Посветил фонариком, а из-под крышки уже пар идет.

– Сашко, ничего не трогай, я все лишнее унесу и усну пару часов. Потом сменю тебя.

Дома поел холодного мяса, сказал, что у друга подешевке купил. Выпил кружку горячего чая, прилег на кровать. Он до сих пор не сказал компаньонам о первом кладе, иной раз порывался, но останавливался. Правда, были и оговорки: вот возьмем второй, тогда и

разберемся. А мысль грызла: нет второго и нет третьего – тогда как? Конечно, все поделим на троих, о чем может быть разговор? Так думал, только резко отгонял эти мысли.

Он проспал четыре часа, к магазину прибежал уже в два ночи. Сашко еле жив от холода, но улыбается: крышка на четверть ушла в землю.

– Ты иди домой, завтра твоя смена, а я потом отключу установку и вычищу грязь. В семь часов подбежишь, надо агрегат домой утащить и землю снегом закидать.

Пытался греться над крышкой, но мешал теплый пар, потом было еще холоднее. Выскакивал на улицу и пробегал метров по триста в обе стороны. Грело золото в метре под ногами, грела сберкнижка, даже несколько хрустящих бумажек в кармане нательной рубашки.

Приволок стремянку, поднялся, аккуратно потянул кабель, опять сноп искр, снял второй, все утащил за магазин. С трудом вытащил крышку, хорошо, что учитель посоветовал приварить по центру скобу. Лопатой стал выгребать грязь и укладывать ее в подготовленную в снегу яму. Когда дошел до мерзлоты, череном лопаты замерил глубину: неплохо, сантиметров тридцать. Выматерился чуть не вслух: надо утеплить ямку, чтобы не промерзало дальше. А чем? Побежал домой, ухватил несколько драных половиков, фуфайку, вернулся с санками, все тряпье спихал в яму, сверху закидал снегом. Грязь тоже завалил. Сложил все на санки и пошел домой. Подумал: надо утром проверить, хорошо ли замаскировал, лег, не раздеваясь.

Будильник звякнул, Пашко кинулся к магазину. Светает, огляделся, нырнул за угол, бруствер стоит, все снегом усыпано. Остался доволен. Дома снял железное ведро с плиты, налил в таз горячей воды, голову вымыл, лицо с мылом, по пояс обтерся ворсистым полотенцем. Одел все чистое и теплое, вынул из схрона пять монет и пошел на автобусную остановку. Людей немного, холодно, все молчат. В банк заходил смело, была какая-то уверенность, что он имеет право заходить в этот банк, здесь его деньги хранятся.

Гуля встретила его улыбкой, как старого знакомого:

– Ваша карточка пришла, я помогу вам перевести деньги со сберкнижки на карту. Эта машина называется банкомат. Вводим счет сберкнижки, номер вашей карты, переводим всю сумму. Так, теперь откройте конверт, мне не надо показывать, и никогда никому не показывайте и не говорите ваш пароль. Видите, там четыре цифры. Вы их вводите вот в это окно. Теперь осуществляем перевод. Все прошло. Введите еще раз свой код. Нажмите слово «Баланс». Банкомат показывает вам, что все деньги поступили на вашу карту. Если вам потребуется снять деньги с карты, обратитесь к дежурному консультанту, вам помогут. Так, никаких новостей нет?

– Есть, – кивнул Пашко.

– Пройдите в кабину. Сколько?

– Пять штук.

– Отлично. Цена та же. Мне надо с полчаса, чтобы собрать деньги. Ровно в одиннадцать приходите.

Гуля при нем пересчитала банкноты и в спецкабинете, где обычно снимают и вносят деньги большие люди, помогла положить их на карту. Заставила проверить баланс: да, вся сумма поступила.

– А если я потеряю карту?

– Запишите телефон, позвоните, карту тут же заблокируют, и никто не сможет ею воспользоваться. У вас хорошая память? Запомните код, эти четыре цифры, или запишите

так, чтобы никто не мог догадаться. Всего вам доброго. Да, если у вас что-то появится, вот мой телефон, позвоните, я буду готова.

Из банка пошел искать стоматолога, слышал, что эти люди покупают золото и делают из него зубы для богатых. Спросил одного-двух, указали дорогу. Переждал нескольких клиентов, вошел.

– Раздеваться надо хотя бы в коридорчике, там вешалка, – проворчал врач.

– Я на минутку. Мне надо продать золото, – спокойно сказал гость.

– Понимаю. Кольцо, серьги?

– Слиток, – еще спокойней и ровнее ответил гость.

У стоматолога сползла повязка и скособенились очки.

– Слиток? И откуда он у вас?

– До свидания, – сказал Пашко и повернулся.

– Обождите! Я не то хотел спросить. Он большой?

Пашко подумал:

– Скорее всего, вас устроит двадцать пять граммов.

– Очень интересно. Когда вы его принесете?

– Меня интересует цена, – деловито ответил гость.

– А меня проба.

– Проба стоит на слитке, 96, высшая по царской шкале, я смотрел в справочнике. И ей нельзя не доверять, это клеймо Императорского Банка России. Я имею в виду царскую Россию.

Стоматолог остолбенел:

– И сколько вы можете предложить?

Пашко явно играл, ему нравилось быть хозяином положения, диктовать свои условия:

– Сколько вы способны оплатить?

– Принесите экземпляр, я посмотрю.

Пашко кивнул, вроде пошел, но обернулся, сказал спокойно:

– Только имейте в виду, я буду не один, так чтобы без фокусов.

– Напрасно беспокоитесь, я дантист, а не бандит.

– Вот и хорошо. Я приду послезавтра в десять утра.

Пашко уже заметил, что стал меняться, появилась уверенность и даже самоуверенность. Ты посмотри, как он сегодня разговаривал с Гулей – как с равной, если в прошлый раз он был унижен просьбой купить монеты, то сегодня она уже интересовалась и заглядывала в глаза. Будь она русской, Пашко непременно подумал бы, что вместе с монетами ее интересует и их обладатель, но Гуля казашка, она и думать не смеет о русском женихе, как бы он ей не нравился, к тому же, похоже, она на собственную свадьбу собирает богатое монисто. А может и того проще: купила за одни деньги, поехала в Казахстан, продала за другие.

А зубодер! Как он нагло встретил и как ласково проводил до самых дверей! И все это – деньги. Деньги делают человека человеком! Вот в чем смысл! Кто он был вчера? Кочегар из деревенской котельной, сирота без роду и племени, неуч с восьмилеткой. А сегодня? Он может купить машину покруче вон той, может отторговать особняк в райцентре. Может! Но как? Ведь непременно найдутся людишки, которые капнут куда следует, и как потом объяснять появление в пустых карманах миллионов?

Но ведь надо сперва поделить эти миллионы. Таратутову можно дать немножко, и он будет доволен. Сашко тоже не особо соображает в этих делах, женить его на Аниске, домик купить в районе, машину со временем, а сослаться на богатое приданное, которое дал за дочкой любящий отец.

Опять вперед забежал! Надо сначала добыть клады еще в двух местах, дело, кажется, пошло. Сегодня ночь придется снова греть. С вечера все направить, оставить Сашко дежурить, а к утру идти завершать.

Когда Пашко выложил на стол всю еду, которую купил в районе, Сашко засмеялся:

– Браток, ты не под клад ли займы хапнул? Смотри, а если облом?

– Не бойсь, аванс выпросил у бухгалтера, годовщина завтра матери моей.

Сашко сник. И брата обидел неуместной шуткой.

Выпили по сто грамм хорошей водки, поужинали. Сашко аж заотпыхивал, давно так не ел. Брат толкнул в плечо:

– Губу не раскатывай, что под одеяло и Аниску ждать. Ты у нее приспросись, с кем она до тебя гарцевала.

– Ты что, братуха? Ни с кем.

– Сашко, это твои заморочки, ни с кем, значит, только с тобой. Тогда поздравляю тебя, папаша, Аниска беременна, отец проболтался. Да не смотри ты на меня так! Я же не против. Девка она и в самом деле славная. Короче, одевайся, пошли работать.

Настроив все оборудование, Пашко забежал к Викентию Амбросимовичу. Тот лежал на продавленном диване и под мощным уличным фонарем, укрепленном на стенке, читал старую «Роман–газету».

– Чем обязан вашему позднему визиту? Как работает наш аппарат? Я хотел сходить, но привлечь всеобщее внимание к нашему уникальному проекту воздержался. Говорите же!

Пашко спешил, надо было немного поспать, потому сказал кратко:

– Все работает, но медленно протаивает земля. Не могли бы вы сказать, на сколько сантиметров промерз грунт?

– Одну минутку, я подниму старые записи. Так, на середину декабря... Видите ли, тут зависит от толщины снежного покрова.

– Ищите: снега семьдесят сантиметров, – подсказал Пашко.

– Извольте. Нынешняя осень похожа на осень... 1997 года. Значит, пятьдесят сантиметров, мой любезный друг.

– Благодарю за информацию. Сегодня мы должны пройти мерзлоту.

Проснулся от того, что кто-то толкал его в плечо. Очнулся – Сашко.

– Пашко, перестала греть.

– Давно?

– Не знаю. Я понял потому, что пар не идет.

Оба бегом побежали на объект. Пашко встал на колени и щупом искал фазу – нету. Схватил стремянку и кинулся к боковой стене. Один кабель лежал на снегу, не доглядел, оставил несколько жилков провода – перегорели. Зачистил изоляцию, загнул крюк, полез на стремянку. Сноп искр, Пашко скатывается с лестницы и бежит к яме. Щуп сразу находит фазу.

– Сашко, иди спать, я дождусь утра.

Он положил черенья двух лопат поверх ямки и накрыл тряпками: все тепло остается внутри, скорей прогреет. Дойти бы до талого грунта. А там легче. Ступеньки выдолбил, чтобы

под фундамент легче было пройти. На это еще ночь. А сил нет. Одно согревает: есть золото, оно мое, даже если тут ничего не найдем – гори оно все синим пламенем! Опять бегал по улице взад и вперед, опять промерзли ноги. Какие унты он видел сегодня на рынке! Но как купишь, на какие шиши? Как брательнику объяснишь? Он тоже ходит в старых пимах с галошами, в котельной иначе нельзя. В шестом часу отключил провода, собрал все на санки, вычистил оттаявшую грязь, аккуратно сложил ее в снег и привалил сверху. Расчистил возле ямы грязь, присыпал снежком, встал на колени, ножом дотронулся до дна. Нож вошел в землю! Это большая удача. Быстро столкнул в яму тряпье, насыпал бугор снега, отвез санки с оборудованием и инструментами, вернулся, осветил фонариком – все в полном порядке. Довольный, потащился домой.

На встречу со стоматологом взял с собой Гошу Семиколленного, такое прозвище было у его отца, и у деда, и трое его ребятишек отгаркивались на этот странный зов. Гоша высок ростом, голос имеет грубый, словно в трубу говорил, а сила в нем такая, что, случись где буксануть его «жигулям», он цеплял веревку за передок и выволакивал машину на чистинку. Мужики все говорили:

– Тебе, Гоша, надо в город ехать, в цирк устраиваться. За такие фокусы там добрые деньги платят.

Гоша отмахивался:

– Да ну вас! У меня дома свой цирк, только вот клоуна не хватает.

Поехали на Гошиной машине, Пашко предупредил:

– Стоишь и молчишь, молчишь и стоишь. Когда надо будет, я тебе подскажу.

Гоша внимательно смотрел на дорогу и требовал конкретности:

– Если в рыло кому – за всяко просто, если мебель перевернуть – как два пальца об асфальт. Ты только скажи, за твои деньги я весь райцентр раком поставлю.

Зашли в стоматологию, Пашко только сейчас обратил внимание, что она сделана в двухэтажном доме, квартира бывшая перепланирована. Пашко ждать не стал, открыл дверь, врач поднял голову:

– Одну минутку, я сейчас закончу.

А уже через минутку:

– Пожалуйста, входите.

Пашко вошел, и Гоша тоже, но, показав его зубодеру, приказал быть в коридоре и ждать.

– Охрана? А вроде без оружия.

– Ему не надо оружие, опасно. Он только рявкнет, все, кто в силах – убегают, а остальные мочатся.

Стоматолог хихикнул. Пашко подал ему брусочек. Врач долго рассматривал его под лупу, потом хотел уйти в соседнюю комнату.

– Брусочек оставь, – спокойно попросил Пашко.

– Но мне надо проверить... – залепетал доктор.

– Вот тут и проверяй.

– Тогда пошли вместе.

Понимал толк в металле стоматолог, и из пипетки капал, и под светящийся аппарат клал, потом обтер тряпочкой, вернул хозяину.

– Ваша цена?

Пашко назвал цифру на десятину меньше, чем в банке. Врач подавил кнопки на телефоне, попросил скинуть двадцать процентов.

– Нет, – сухо ответил Пашко и встал.

– Молодой человек, это золото незаконного происхождения. Если я вызову милицию...

Пашко улыбнулся:

– Не успеешь. Гоша убивает на раз. А когда милиция приедет убрать твой теплый труп, Гоша промычит, что ты ему сверлил зуб и сделал больно, вот мужик и не удержался. Послушай, лекарь, ты делай свое дело, этой пластинкой ты столько дурочек осчастливишь и столько бобла соберешь, что сам меня искать будешь, не продам ли еще.

Хозяин вроде одумался, предложил записать телефон и позвонить через неделю. Есть несколько коллег, которые обязательно заинтересуются столь чистым металлом.

– Вы знаете, меня восхитило клеймо Банка Российской Империи. Не искушайте: это клад?

– Да ну, какой клад. Старый туалет чистил, вот и выпали, – с улыбкой ответил Пашко.

– Да, от вас лишнего не услышишь. Значит, я жду через неделю.

– Интересующихся предупреди, что торговать будем в банке, через их аппараты. Деньги на карточку, товар в салфетку. И чтоб без фокусов. Я в любом случае выкручусь, а потом с Гошей в гости домой приду. Не пугаю, предупреждаю.

Позвонил Гуле и объяснил ситуацию, что есть клиент, обещал еще подогнать своих, но опасно, народ битый, нельзя ли как-нибудь через кабину?

– Вы можете сейчас зайти ко мне? – спросила она.

Встретила с улыбкой, указала на кабину, сама прошла на рабочее место. Широко открыла стекло.

– Вас зовут Павел? – с улыбкой спросила она.

– Павел по паспорту. А так – Пашко.

– Странное имя.

– Не я придумал, – ухмыльнулся парень.

– Извините, Пашко. Я не совсем поняла: вы хотите кому-то продать монеты? Я же просила подождать. Скажите, это строго между нами: у вас их много?

– Сейчас штук двадцать пять, – равнодушно ответил он.

Гуля испуганно всплеснула ручками:

– С ума сойти, это же целое состояние. А почему вы уточнили: сейчас?

Пашко усмехнулся:

– Думаю, будет больше.

Гуля испуганно на него посмотрела:

– Пашко, разве это подделка?

Парень испугался:

– Что вы, Гуля, все натуральное. Но есть слитки, которые хотят купить стоматологи. Только я боюсь, обманут, потому просить хотел, чтобы вы помогли.

Гуля задумалась.

– С моей стороны вроде ничего незаконного нет. Только вы их предупредите, что слитки будут у меня, деньги считаю я и сразу перевожу на карту, а золото отдаю им. Так пойдет?

– Конечно! Не сомневайся, Гуля, царской монетой, если все срастется, я тебя одарю. К тому же ты мне еще в одном деле потребуешься. Я потом объясню. Только говорить бы надо не в банке. По-моему, со мной тут уж начинают здороваться.

Гуля засмеялась:

– Не смущайтесь. У нас порядок такой.

– Гуля, давайте на ты перейдем, неловко как-то с такой красивой девушкой официально разговаривать.

Гуля стала над столиком и наклонилась к окошечку.

– Я согласна. Но только за пределами банка. И купите себе мобильный телефон, вот мой номер, звоните, буду рада. А наши собирают деньги, монеты очень им понравились.

Вернулся домой, кинул брату теплые сапоги и костюм утепленный, охотничий. Сашко глянул с испугом:

– Брат, в долги влазишь, а если пусто? Чем отдавать.

– На том свете угольками. Одевай и не думай. Вечером рыть пойдем.

– Я топор, который к лому приварен, выточил, им ловко долбить. Свой топор подладил, земля есть земля.

Пашко вытянулся на кровати:

– Спуск сегодня – кровь из носа – надо сделать. А уж потом в глубину.

– Брат, а если нам потом талую землю буром? Связисты ямы под столбы сверлят.

Пашко оживился:

– Молодец. Найдешь надежного, под вечер заберем и утром вернем. Может, и не одну ночь придется покрутить.

С буром пришлось повозиться, рукоятка то и дело задевала стену, Сашко уже сбил всю руку, крутить начал Пашко, осторожно обходя стену и со всей силы углубляя снаряд. Через десяток минут работы вынимали бур и стряхивали землю. Потом сменили занятие. Сашко сбивал край ямы, начиная формировать канаву в сторону от стены, чтобы можно было лечь и внизу работать руками. Глина подавался плохо. Пашко сменил брата с топором, приваренным к толстому лому. Долбили и менялись, менялись и долбили. Вымотались так, что Пашко принял лом и не удержал:

– Все, брат, сил нет.

Яму забросали тряпьем и фуфайками, укрыли досками, уложили комьями снега, сверху присыпали снежной пылью. Дома обмылись, поужинали. Пашко налил по полстакана водки.

– Это с устатку. Ты завтра спи, я пойду на смену.

Пашко расправил старенький, еще дедушкин тулупчик на русской печи и лег на спину. В пояснице стояла неприятная ломота.

– Сашко, у тебя спина не болит?

– Болит.

– А что молчишь?

– А что мне, петь, что ли?

Пашко прыгнул на пол и затолкнул братана на печь. Он слабее, только не скажет. И про клад молчит. Неужели не интересно поговорить об этом?

– Сашко, как будем клад делить?

Тот долго молчал, потом ответил:

– А что его делить? Клад твой, мне за работу заплатишь на курево, и ладно.

Пашко вскочил с кровати и запрыгнул на лавку у печи:

– Сашко, ты почему такой? Мы же братья, живем вместе, робим вместе, значит, и клад общий! – Пашко так хотел, чтобы брат прямо сказал, что делим поровну, снял бы с него эти соблазны, освободил от мысленного греха.

Сашко ответил примирительно:

– Спи. Его еще отрыть надо, а потом куда с ним? Там же не русские сегодняшние деньги? А куда сунешься, если там, к примеру, брюлики или ржа, как жулики золото зовут?

Пашко залез под теплое матеино еще одеяло, пахнувшее детством, свернулся калачиком. Бедный Сашко, неужели он заметил, что есть у меня мыслишка закурковать найденное? Вдвоем достанем – не спрячешь. И уже засыпая, подумал: «В последний вечер отправлю Сашко в котельную, а до клада сам доберусь. А потом скажу, что ничего там не было». С тем и уснул.

ПРОБЕЛ

С телефона из котельной позвонил стоматологу. Тот возмутился:

– Мы уже два дня ждем вашего звонка. Короче говоря, деньги все у меня, я аккуратно обменял на крупные, по вашей цене на сто грамм. Понятно, да? Только не надо шлаться по банкам, это очень рискованно. Приходите ко мне в клинику, производим обмен, и в разные стороны.

Пашко ответил:

– Я своих решений не меняю.

– Но это же глупо, рисоваться с такой суммой. Уверяю вас, – настаивал стоматолог.

– Завтра в половине второго в банке. Других вариантов нет.

– Понял, – вяло ответил зубник и положил трубку. Пашко позвонил с мобильного Гуле.

– Гуля, здравствуй, это Пашко. Извини, что поздно.

– Ничего, все нормально.

Пашко рассказал о предложении стоматолога и о своем решении. Гуля его похвалила: ему вполне могли подсунуть фальшивые пятерки, их мошенники производят в больших количествах, потому и в банках так внимательны, особенно к крупным купюрам. Так что Пашко поступил правильно.

Утром Пашко нашел Гошу Семиколенного и спросил, может ли он сегодня съездить с ним в район.

– Какой базар, шлеп твою в бродни мать! Пашко! Ты мне установи твердую ставку, я тебя даже ночью буду охранять.

В банк вошли вместе, трое незнакомых мужчин встали, будто их ждали. Пашко кивнул знакомому стоматологу:

– Я позову вас в кабину. Одного.

– Но ребята тоже хотели бы посмотреть, – кивнул тот в сторону товарищей.

– Знаешь, что? Видишь вот эту казашку? Я очень хотел бы ее трахнуть, но не судьба.

Потому пусть сидят и ждут, иначе я заворачиваю оглобли.

Стоматолог кивнул ему и пожал плечами в сторону товарищей. Гуля пригласила в кабину:

– Здравствуй, Пашко. Клиенты на месте? Приглашай. Я сделала для тебя другую карточку, валютную, ты же ничего не понимаешь. Евро сильно растёт, есть смысл эти деньги положить на валютную карту. Зови.

Стоматолог вошел, Пашко развернул бумажку и передал Гуле четыре пластинки по двадцать пять граммов. Она провела экспресс-экспертизу и кивнула стоматологу:

– Металл полностью соответствует указанным на государственном клейме реквизитам. Пожалуйста, деньги.

Пересчитала, кивнула, подала завернутые пластинки. Стоматолог еще раз их осмотрел, даже на зуб попробовал, и вышел. Гуля быстро просчитала и показала бумажку с цифрами евро.

– Переводим на карту?

Пашко кивнул. Вышли в зал, он вставил карту в банкомат, ввел код и увидел ту же цифру. Гуля улыбнулась.

– Ты говорил, что нужна моя помощь. В чем?

– Это длинный разговор. Если можно, я тебя дождусь.

Гуля кивнула и ушла. Пашко спросил Гошу, есть ли у него знакомые в ГАИ.

– Море! – захохотал Гоша. – Я к ним каждую неделю попадаю. То с похмелья, то превысил – найдут, за что. Выкручиваюсь.

– Гоша, а как бы права сделать? Когда мне учиться и где? В район не наездишься.

– Да одной левой! Поехали хоть сейчас. Только, друг, бабки нужны, ну, это я узнаю мигом.

Подъехали к милиции, Гоша ушел и вернулся только через полчаса. Пашко уж нервничать начал: в пять часов Гуля выходит с работы. Гоша бросил на сидущку бумажку:

– Там все написано, какие документы надо и сколько рублей. Завтра принесешь – послезавтра получишь.

– Да мне вообще-то не к спеху, – равнодушно зевнул Пашко.

– Ты зевалом-то не торгуй, а куй железный, пока горячий. Полиция – место бойкое, сегодня ты камеру охраняешь, завтра тебя в камере охраняют. Переворот ментов в природе. Ты понял?

Гулю встретил прямо в дверях, по ступенькам спустились вместе, отошли в аллею.

– Пашко, ты богатый человек, а почему одеваешься, как деревенский?

Он засмеялся:

– Так я и есть деревенский.

– Ладно, больше не буду лезть не в свое дело.

– Я сам все расскажу. – Пашко знал, что это не очень сложно, даже прикинул, как это можно сделать прямо сейчас. Взял Гулю за плечи и крепко поцеловал в губы. Она вздрогнула, охватила его за шею, сама нашла его губы и притихла, ждала. Он опять целовал ее губы, щеки, нос. Гуля прижалась к его груди и слышала, как колотится его сердце. Спросила с улыбкой:

– Это и есть та помощь, которая требуется от меня?

– Прости, Гуля, я не особо опытный ухажер, не сравнить с твоими воспитанными и образованными, но ты мне сразу очень понравилась, такая красивая, как из сказки.

– «Тысяча и одна ночь»?

Пашко не понял. Гуля кивнула:

– Ладно. Дальше что? Ты поведешь меня в номера? При твоих деньгах можно всю гостиницу откупить на всю ночь.

Пашко понял, что сотворил глупость, дурак, со свиным рылом... Такая красавица! Страшно сконфузившись, он дернулся было уйти. Гуля остановила:

– Пашко, прости, я не умно пошутила. Прости меня, ты мне тоже нравишься. Но... есть вопросы. Нет, сначала о деле, в котором я могу тебе помочь.

Он рассказал ей все про письмо, про вскрытие первой закладки, про работу на второй, но остается еще одна, на виду, просто так не вскрыть. И до лета ждать терпения не хватает. Надо что-то такое придумать, чтобы Петька-Партком разрешил рыть экскаватором с задней стороны здания. А в деревне откуда может возникнуть такая нужда?

– Но экскаватор все разворотит и выроет клад? – Гуля испуганно вскинула глаза.

– Нет, закладка в глубине, под фундаментом.

Гуля помолчала, что-то обдумывая. Потом сказала, что завтра позвонит и расскажет, что можно сделать. Подала руку для прощания. Пашко взял прохладную ручку и стиснул ее в своей горячей и большой ладони.

– Скажи, Гуля, ты монетки себе на свадьбу покупала?

– Тебя это сильно интересует?

– Нет. Я не знаю. Если себе, то я больше к тебе не приду.

– Пашко, ты приходишь не ко мне, а в банк. Монеты я покупаю для своих сестер, родных и двоюродных, ты же знаешь, как рождаются казахи. Я не собираюсь замуж, и жениха у меня нет. Ты хороший парень, но ты богач, а я скромный сотрудник банка. Я призналась, что ты мне нравишься, а ты подумал, что меня интересуют твои деньги. Потому оставим пока этот разговор. А поцелуй... Я обязана его вернуть.

Она ухватила за воротник пальто и подтянулась к самым губам, едва дотронувшись до них. Он хотел подхватить ее, но Гуля выскользнула.

– Я позвоню тебе завтра. До свидания! – кричала она уже на бегу.

Ошарашенный Пашко стоял на тротуаре, пока Гоша не начал сигналить.

– Полбака бензина спалил, пока ты с этой кралей базарил. Пашко, а тебе не приходилось с мусульманками дело иметь? Говорят, они совсем не так устроены. Не слыхал?

– Не знаю. Завтра у учителя спрошу. А сейчас заезжай на заправку, проси полный бак.

На третью ночь спуск оборудовали, Пашко лег на живот и велел Сашко держать его ноги, осторожно спустился, широким ножом стал рыть в сторону. Вырыл с полметра – ничего нет. Неужели обман? Его опять била нервная дрожь. Он велел Сашко опустить его и еще раз палкой промерить глубину ямы.

– Ну, что там?

– Пашко, надо еще рыть, видно, напускали земли.

– Тяни меня за ноги!

Встал, отряхнулся, спросил брата:

– Есть еще силенки?

Сашко заплакал:

– Братко, если надо, я зубами буду грызть, только бы хоть чуть-чуть найти, чтобы из бедности и голода этого вылезти!

Пашко обнял брата.

– Давай отдохнем, потом опустишь меня, я в ведро буду землю складывать, а ты поднимать.

Черпали долго. Уже и палка указывала, что пройдена метровая отметка, Пашко сообразил, что за эти годы с ближайших огородов могло нанести песка, так что страховка верная. Потом опять Сашко держал брата за ноги, тот сполз и снова вгрызлся в землю. Пашко копал и думал, что делать. До закладки он доберется обязательно, достать ее при брате – значит, делиться. Оставить в земле – а вдруг кто увидит и возьмет? Скрыть. А как брату в глаза смотреть? Уехать сразу, забрать Гулю и уехать. Куда меня несет, ведь еще одна закладка, и завтра Гуля подскажет, как ее вскрыть. Тут уж никуда не денешься, брат будет знать.

– Сашко! Ты замерз?

– Нашел, о чем спросить. Меня только и согревает, что не зря рыли. И ты уж там измучился совсем.

– Потерпи. Все воздастся.

– Нихрена ты заговорил.

– Велено было молитву читать. Ты хоть одну знаешь?

– «Господи, помилуй» знаю.

– Вот и тверди, да негромко, а то старухи сбегутся.

Пашко ровными рядами снимал грунт, уходя в глубину. Устал, пот заливал глаза, кровь билась в висках. Попробовал ножом чуть в сторону и уперся в кирпич. Откуда на такой глубине кирпич? Так это же закладка защищена! Нашел край кирпича, всунул нож, провернул, кирпич подался. Рядом другой, а сверху металлическая пластина. Раздвинув оба кирпича, Пашко нащупал кожаный мешок и потянул на себя. Под рукой что-то зашелестело с тонким звоном. Осторожно вынув мешочек, Пашко полез за вторым. Все обшарил – пусто. До дальней кирпичной стенки добрался – в тайнике больше ничего не было. Не верил, велел опустить еще ниже, по локоть руку запихал в нишу – пусто. Маленький мешочек легко уместился за пазухой.

– Брат, тяни, ниша пустая.

Сашко аккуратно выволок брата. Он плакал.

– Ты чего, братко? У нас еще есть запас. Не переживай.

– Да мне тебя жалко, вымотался с этим кладом, да еще в долги влез. Отдышись, я пока инструмент собираю.

«Что я творю, сволочь такая! Как же я все променял на деньги? Родство наше, детство голодное? И как теперь из этой грязи чистым выйти? Нет, как только все уляжется, признаюсь брату, и все поделим». Хотел поклясться, но что-то удержало. Ухмыльнулся: а ведь не отдашь! Черти тебя обуяли, они и утащат за собой. Сплюнул, а тут Сашко уже зовет, сгрузил на себя все железо. Пашко хотел отобрать хоть лом с топором – не отдал, ты, говорит, и так сильно устал.

В обед позвонила Гуля, Пашко долго соображал, на какую кнопку нажать, наконец, нашел и услышал такой желанный и ласковый голос:

– Добрый день, Пашко. Я решила твою проблему. В департаменте охраны памятников истории и культуры, это в области, работает моя хорошая знакомая, кстати, тоже казашка, ее зовут Адия, если хочешь, могу познакомить.

– Не хочу, – односложно ответил Пашко.

Гуля продолжала, как будто не услышала ответа:

– Сегодня она позвонит владельцу этих магазинов, о которых ты говорил, и скажет, что магазины эти стоят на особом учете, как памятники старой архитектуры. Предупредит, что она придет провести обследование состояния объекта. В общем, она знает, что сказать. Приедет она на этой неделе, я дала твой телефон, она тебе сообщит. Конечно, она ничего не знает, просто это моя настоятельная просьба. Я думаю, что вы с ней встретитесь до ее разговора с владельцем, ты объяснишь, как именно надо копать.

– Не понял, а кто будет копать?

– Эскаватор, конечно. Думаю, тебе там лишний раз показываться нет смысла.

– Я все понял, Гуля. А ты с ней не приедешь?

– Ты о чем, Пашко? Рабочий день! До свиданья.

– Спасибо, Гуля, до свиданья.

Утром Сашко пошел на смену, открыл шкафчик с продуктами и снова закрыл. Пашко заметил:

– Там колбасы кусок, банка сгущенки, возьми.

– Я тебе оставлю

Пашко вскочил:

– Сказано тебе, значит бери. Я яиц поджарю, а к вечеру супчик сварю. В ночь сам пойду.

Сашко усталое сел на лавку:

– Знаешь, братко, как обидно, столько трудов, и все напрасно. Больше и копать не надо, нагнул нас буржуй, а мы и уши развесили.

Пашко сел рядом. Опять защемило сердце. Обнял брата:

– Верь мне, брат, найдем клад, не может быть, чтобы такие люди писали глупые письма на свою родину.

Сашко насмелился:

– Брат, а ты хорошо там все проверил? Может, зря мы все обратно зарыли?

– Конечно, проверил, и вниз копал ножом, и вверх, во все стороны. Ничего там нет.

Может, раньше кто вынул, могли подсмотреть. Иди, мне надо еще по одному делу дойти.

– Половинку колбасы я тебе оставил, – сказал, уходя, Сашко.

Пашко схватил эту половинку и в воротах сунул брату в карман.

– Так не по-братски, – грустно посмотрел на него Сашко.

Пашко как по сердцу резануло. Закрыл дверь на крючок, убрал все со стола, на чистый рукотерт высыпал содержимое кожаного мешочка. Горка ярких камешков, таких ярких, что в полутемной избе стало светлее. Пашко включил свет и ахнул: горка горела, он сдвигался влево и вправо, и острые яркие лучики появлялись все в новых местах. Конечно, это бриллианты. Куда с ними? Сначала хорошенько прибрать, не столько от брата, сколько от недобрых людей. Положил в тот же сапог в подполе, заткнул сухим голенищем другого сапога и бросил к самой стенке.

Вдруг вспомнился стоматолог, его злой взгляд при выходе из кабины. Пашко много слышал про убийства из-за денег, но как-то не подумал, что это может коснуться его. Лег на

кровать и стал думать. Зубодер знает, что золото у него есть, есть и карточка, на которую Гуля положила деньги. Выдавить код карточки и оставшееся золото ничего не стоит, Пашко понимал, что если ему будут вставлять паяльник, он отдаст все до последней мелочи в кармане. Если уж сознание потерял, когда кровь брали из пальца на анализ, то тут он долго сопротивляться не будет. Главное, чтобы Сашко дома не было.

Пошел к Мите Зырянову, зная, что с ним без бутылки разговора не составишь, вытащил из-за печки бутылку водки. Прятал так, от чужих глаз, Сашко к водке равнодушен. Митя возился во дворе, гостя встретил с интересом:

– Так, с Кургузкиным вы электроплиту варили, на которой кабанов можно жарить, а ко мне ты пришел, чтобы я тебе на огороде Байконур отчебучил? Литр водки, и стартовая площадка готова. У меня и материал припрятан.

Пашко насторожился: растрепал электрик, вот и верь после этого людям. Мите сказал:

– Ты все правильно рассчитал, теперь надо кабана завалить, а нечем. Не одолжишь двустволки?

Митя стал серьезней:

– Зачем тебе оружие, если ты сроду не охотник? Вот я без выстрела недели прожить не могу. Представь себе, без бабы могу, а без ружья нет. А, помню, в детстве ты постреливал, пока менты не отобрали. А сейчас зачем? Объясняй!

Пашко встал:

– Ладно, Дмитрий, извини, не знаю отчества, и на том спасибо, что поучил уму-разуму, – и пошел.

Митя крикнул вслед:

– Приходи с литрой, поговорим.

Пашко промолчал и направился к Гоше Семиколенному, вроде водилось у него ружьецо. Гоша спал на диване, а в телевизоре президент на весь дом рассказывал ему на пресс-конференции, как хорошо в стране российской жить. Гость понял, что в доме больше никого нет, выдернул розетку телевизора, президент на мгновение задумался, произнес неслыханный звук и исчез. Гоша вскочил.

– Что, опять едем?

Пашко засмеялся:

– Понравилось?

– Хорошо платишь, Пашко, потому и понравилось. Да, водитель, права заberi, все путем.

– Еще есть шанс заработать. Мне ружье надо, причем, сегодня, и на время, к весне свое куплю.

– Споемся. А патроны?

– Надо и патроны, но только картечь.

Гоша аж присел:

– И на какого зверя?

– Не задавай вопросов. Или ты даешь мне ружье и пяток патронов с картечью, либо я нанимаю другого водителя.

Гоша вскочил:

– Обожди, не гони. Ружье сначала найти надо, потом обслужить, потом пристрелять хоть малым зарядом, да тебе картечи зарядить. Слушай, Пашко, а ты не надумал ли кого-то мочкануть?

Пашко засмеялся:

– Кого у нас в деревне можно мочкануть, и за что? И так все ходят, как убитые.

Гоша согласился и полез на полати искать ружье. Выволок двустволку, вполне приличную на вид, переломил, заглянул в стволы – надо чистить. Шомпол отдал Пашке, сам стал снаряжать патроны. Все у него получалось быстро, и ружье, и патроны были готовы разом.

– Пошли за огород, возьми вон фанерку, пальнем пару раз дробью, да один картечью. Не жмись, я тебе семь штук зарядил.

Посмотрели пробитую фанеру, и дробь кучкой, и картечь в самую серединку с обоих стволов. Гоша пару раз заставил Пашку разобрать и собрать ружье, потому что это не вилы, на плече не понесешь. Патроны сложил в карман, ружье в футляр и мешком обернули. Донес до дома, никто и внимания не обратил.

Загудел мобильник.

– Это Пашко?

– Да.

– Здравствуйте, я Адия, подруга Гули. Ничего не изменилось? Тогда так. Я сейчас звоню Петру Петровичу, владельцу магазина и назначаю ему встречу на завтра. Приеду в село, сразу вам позвоню, будьте на месте.

Адия приехала в десять часов, позвонила, сказала, чтобы на всякий случай терся в кампании любопытных. А чтобы сразу узнала, газетку в руках держал. Сама подъехала к офису торговца, он даже встретить не вышел. Начала с порога:

– Петр Петрович, вы работаете в зданиях, обладающих большой исторической ценностью. Это постройки конца восемнадцатого века. Я уж не говорю о том, что право пользоваться ими вы не получили в нашем ведомстве, вы хоть какой-то договор аренды предъявите.

Петька, конечно, трухнул. Какой договор аренды, сунул, кому надо, в комитете по имуществу, так и оформили все бумаги. Платит в год копейки. Но достал и предъявил. Адия глянула, даже в руки не взяла:

– В сортире на стенку можете их повесить. Сколько лет эксплуатируете объекты национального достояния?

Петька на то и бывший парторг, пошел в атаку:

– Какое достояние? Шесть лет. Отопление подвел, проводку заменил, крышу перекрыл. На всех.

– Судить вас придется. Старая кровля какая была?

– Черепица.

– Черепица? Да вы варвар! Мы по всей области ищем старую черепицу, чтобы восстановить музей книги, а вы все на свалку? Ну, варвары! Договора ваши передам в областной департамент по госимуществу, думаю, за шесть лет они вам насчитают на годовой объем товарооборота. Поехали, посмотрим, как выглядят полуразграбленные исторические здания. Да, по экскаватору вы все решили?

– Будет экскаватор. Только я так и не понял, для чего?

– Копать будем с задней стороны здания и смотреть фундамент. Вы представляете, что третий век метровые стены давят на фундамент. Что в нем, в каком он виде – все это я должны

проверить. Возможно, эксплуатацию зданий, как мест скопления большого количество людей, придется прекратить.

– Какое скопление? Денег нет у людей, какое скопление? Им хоть живого осетра привези, все равно купят только минтая.

Посмотрели два магазина, подъехали к хозяйственному. Экскаватор уже стоял у крыльца. Пашко вышел из магазина как раз к подъезду комиссии. Адия махнула ему рукой:

– Молодой человек, вы не очень заняты?

– Свободен.

– Прошу помочь мне, я оплачу. Так, Петр Петрович, трактор с той стороны пусть заходит. Как вас зовут?

– Пашко.

– Определите середину стены. Следите, чтобы копал не по камню, не царапал фундамент, а небольшой слой мы потом лопатой снимем. Верно?

– Понятно. А глубина?

Адия обратилась к трактористу:

– На какую глубину вы можете зарыться?

– А сколько надо? – тракторист улыбнулся.

– Метр двадцать.

– Влеготку, – мужик хохотнул.

– Смотрите, осторожно.

– Да, а кто мне платить будет? – поинтересовался тракторист.

– Петр Петрович, конечно.

– Ну, с него соскользнешь...

Тракторист расставил лапы экскаватора, поерзал трактором по снегу, встал напротив Пашкиной отметки и начал рыть. Мерзлый грунт поддавался плохо, но с каждым движением ковш вынимал приличное количество земли. Адия ушла в машину греться, Пашко не мог покинуть пост, на котором оказался вроде как случайно. Дело пошло совсем хорошо, когда прошли мерзлый грунт, Пашко стоял над ямой и следил, чтобы ковш не касался фундамента. Сунул палку в яму – нет метра, кивнул трактористу: еще. С запасом перекрыли метровую глубину, подошла Адия, посмотрела фундамент.

– Как думаете, Пашко, чем крепили кирпичи древние строители, ведь вездесущего цемента еще не знали?

Пашко смутился:

– Что-то слышал, но не знаю.

– Известью. На Руси при строительстве церквей в раствор добавляли яйца и молоко. Но довольно об этом. Как вам ямка?

– Спасибо. Вполне...

– Тогда я поехала. Еще забегу к Гуле. Привет ей передавать? Что вы так смущаетесь? Деревня сохраняет скромность и стеснительность. Господи, а какими мы были в своих аулах? Так, что с Гулей? Имейте в виду, вы ей нравитесь. А она совершенно свободная девушка, в отличие от меня. Я к свадьбе готовлюсь.

– Поздравляю.

– Будьте счастливы. До свидания.

– А Петр Петрович?

– Я пришлю ему бумагу. И сдам с потрохами, магазинами он пользуется незаконно. Подошел тракторист, злой и нервный.

– Вот суки! Она в партком отправила за деньгами, а Петька к ней. А ее уж дырка свись! Зарою нахрен эту яму!

Пашко спохватился.

– Обожди, она оставила деньги, возьми, а зарывать только завтра, она какие-то анализы будет делать. Ну, тебе скажут.

От души отлегло, когда ушел трактор. Смеркалось. Хоть бы скорей! Не стал ждать темноты, прыгнул в яму, быстро лопатой стал отбрасывать землю, и уже скоро услышал металлический стук. Упал на колени, руками выгребал землю, пока не выкопал свинцовую шкатулку. Выбросил наверх лопату, выкарабкался сам, огляделся, тропинкой школьников пошел домой. Сашко уже в котельной, на плите вареная картошка, на столе бутылка с подсолнечным маслом. Пашко осмотрел шкатулку, нашел маленький замочек, скovyрнул его ножом и открыл крышку. Вывалил на стол всякие дамские побрякушки: кольца, браслеты, цепочки, перстни, часики и какие-то еще непонятные безделушки. Собрал все в шкатулку, опять в подпол, в завалине у печки зарыл в землю. Все. Клад взят. Надо принимать решение. Учитель – ладно, дать ему денег на прожитье. А что с Сашко? Сунуть чуток, сказать, что больше ничего нет? Понял, что глупость. Ладно, об этом потом. В сенях в шкафу отыскал сверток с колбасой, отрезал кусок хлеба и пошел в котельную.

Сашко испуганно вскочил:

– Что, брат, пусто?

– Пусто опять, – буркнул Пашко и отвернулся, закашлялся.

– Мне все равно, – с улыбкой сказал Сашко, – не жили богато, и начинать не надо. Так спокойней. Богатство уж столько людей зверьем сделало. А ну, если и мы так? Не надо, вот есть картошка, маслице, весной корова отелится. Слушай, брат, и дай совет. Аниска настаивает на женитьбе, и домой вести некуда, и к ним идти нет охоты.

– Ты говорил, что она беременна, и точно от тебя.

Сашко расплылся в улыбке:

– В положении, точно, она вчера ко мне приходила. Тянуть-то больше некуда, а то на свадьбе родит. Позор.

– Успокойся. Никакого позора нет.

– Ты, брат, за клад не переживай. Я и сразу не шибко надеялся, а теперь понимаю, что только своими руками. Заведем с Аниской хозяйство и будем поживать. Еще в гости на свежую сметанку ходить будешь.

Со смены Пашко пришел никакой, Сашко заметил, что брат не в себе:

– Ты не заболел? Ну-ка, дай лоб. Брат, горячо. Обожди, я сбегаю в медпункт.

Принес пакет с лекарствами и привел Аниску:

– Боюсь тебя одного оставлять. Аниска, поставь градусник. В сенках клюква мороженая, принеси, сок выдави и дай с горячим чаем. Да покорми хоть чем-нибудь.

Аниса выпила все таблетки и капли, какие дала фельдшер, поставила горчичники на грудь и на спину, сварила кашу на молоке, кинула в тарелку ломоть масла:

– Поешь, Пашко, сытому болеть легче. Вот. А теперь я тебя укутаю, и спи, а я рядом буду.

Пашко забылся, голова кружилась, и вместе с нею кружились магазины, лом и лопата, кучи земли, потом прямо перед ним встало золотое солнце, оно палило глаза и сжигало лицо. Парень хватался руками за лицо, девчонка едва его удержала.

– Не бойся, это бред. Что я говорил?

– Да ничего. Мычал что-то.

Он опять забылся, и уже монеты стали кататься по столу, прыгать на подоконник, потом на пол, проваливались в щели и падали в подпол. Он пытался их поймать, но все скользило сквозь пальцы.

Увидел мать, она как всегда сидела вот на этой кровати и что-то вязала, носки да рукавички, а потом подала Пашко толстый свитер из овечьей шерсти. «Поди, и не примешь теперь, сказывают, ты сделался богач. И с братом не делишься. А неуж-то не дашь брату его долю?». Пашко закричал, что ничьей доли тут нет, все мое, я все нашел, я все вырыл, и ни с кем не буду делиться!».

Аниска пошевелила его, он очнулся, попросил пить, дала ему морс теплый из клюквы. Попил. Она обтерла лицо полотенцем, сняла горчичники.

– Долго я спал?

– Да минут десять.

– А чего говорил?

– Да всякую чушь. Жар, вот и лезет в голову всячина. Про золото кричал, что никому не отдашь. Успокойся, спи. Жар-то сняло немного.

Пашко боялся уснуть, чтобы еще что-нибудь не выболтать. Почему он матери сказал, что ни с кем делиться не будет? Значит, уже сложилось это в башке, жалко отдавать. Представил, как уедет в большой город, купит дом, женится на Гуле, машину возьмет самую шикарную. Да, он имеет право, а дать кому или не дать – это его дело. Когда денег много, хочется, чтобы их было больше. Он опять провалился в тяжелый сон, опять увидел того черта, что приходил в прошлый раз и ругался матом. «Слышь, сумел хапнуть богатство – никому ни гроша! Ты представь, что творилось бы на свете, начни богатые делиться с бедными? Это же смех! Такого нигде в мире не бывало, уж я-то знаю! Ты богач, тебе все поклоняются, двери открывают, ручку целуют. А раздашь – и кто ты будешь? Как был Пашко, так и останешься. Вам бы для компании еще пару чудаков, и было бы, как у нас заведено: Сашко, Пашко и Колупай с братом. Колупай – это как бы легонький умишком, ну и брат его соответственно. Отдашь богатство – пришлю тебе Колупая с братом, и будет полный комплект. Ни копейки никому, слышишь? А то я могу в обиду впасть!».

Проснулся под утро, Аниска спала, раскинувшись на диване. В слабом свете, падающем из избы прямо на ее фигуру, Пашко вдруг заметил, как похорошела Аниска, видно, беременность ей на пользу. А брат? Будет чужого растить, как своего? Или дите в самом деле его? Да пусть как хотят. Дам брату немного, может, дом куплю и хозяйство. Нет, в деревне нельзя, заметно: из грязи в князи. А куда их, в район? Все равно узнают. В город Сашко не поедет ни под каким предлогом.

Задремал, встала Аниска, опять лекарства, градусник. Улыбается:

– Нет температуры, организм у тебя здоровый, скоро переборол. Ты лежи, я домой сбегаю, управлюсь, потом уж с вашим хозяйством.

Голова шумела и побаливала, но не это беспокоило Пашко, из ума не выходили сны и видения, больше всего черт. Откуда он взялся? Из материнских вечерних страшных сказок,

которые она наговаривала, чтобы парнишка никуда не бегал вечерами, а тянулся к дому? Но это было так давно. Из читанных позже жутких книжек Гоголя, где черти жили и творили свои дела на земле, между людей? Те черти были пакостливые, но почти безвредные. Один даже паренька свозил к царице за тапочками для невесты. Правда, не по доброй воле, но свозил же. А тут – угрозы, и все похоже, как в молитве сказано.

Гуля же снилась, как он забыл! Жемчуга перекачивает с руки на руку, любит, просит подарить, а те штучки из оловянной шкатулки, которые и сам Пашко путем не рассматривал, не интересны ему, он соображает, как это на деньги перевести – так эти штучки она примеряет, и все ей баско, все к лицу. Молчит, но глазами просит подарить ей эти безделушки. Пашко тряхнул головой: вот сон, пустяк, а как теперь на Гулю смотреть? Может, у нее в головке именно такие мысли и бродят? Может, не Пашко ее волнует, а богатство, о размерах которого она еще не знает?

Пробел

Пашко крепко запер калитку, дверь в сенки хоть и худая, но все равно на жердочку припер, входную в избу защелкнул на крючок. Крючок самокованный, в косяк вбит на четверть, петля тоже кована, два острых жала через дверную плаху–пятидесятку пропущены, загнуты и в избу возвращены. Было время, всего боялись люди. А Пашко сейчас стал бояться. Специально в район съездил, купил пачку патронов дробовых, и пачку картечью заряженных. Продавец потребовал охотничий билет, Пашко сказал, что дома на рояле оставил и положил на стол солидную бумажку, дорожке стоимости всех патронов. Выходил под вечер на огород, стрелял просто так, чтобы к ружью привыкнуть.

В этот вечер опять размышлял над богатством. Знающие люди говорят, что все можно продать, только надо в приличный город ехать и находить интересующихся. Про всю хрень в свинцовой коробке узнал, что можно в разных местах по разным паспортам сдать в комиссионные магазины, а бриллианты только ювелирам или иностранцам, но до них Пашко не дотянется.

Полежал на диванчике, почитал какую-то книжку, Гуля подсунула. Хорошая девчонка, только другой народ, сколько она добра для него сделала, а все время от времени прочкивается грязная мыслишка, что не Пашко, неграмотный деревенский парень примитивной культуры, да и не красавец, если честно сказать, не он, а то богатство, которое волею случая оказалось в его руках, прельщают ее.

Пашко выпил кружку горячего чая с плиты и лег под одеяло. Плохо протопил Сашко, печка уже остывала, а ночь вся впереди. Ружье, заряженное двумя патронами, один с картечью, другой с крупной дробью. По патрону из магазинных пачек положил на полку дивана. Так делал каждый вечер, когда ночевал дома, отправлял в ночную смену Сашко. Про ружье брат знал, потому что Пашко уносил его в котельную на смену, но даже спрашивать не стал. Оба чувствовали, что чужими становятся с каждым днем. Ладно, все утрясется, завтра с Сашко про богатство поговорим, может, махнем в город, ему квартиру с Аниской и себе тоже приличную, чтобы не стыдно было Гулю и Адию в гости пригласить.

С такими мыслями и уснул, не слышал, как подошла прямо к воротцам машина, как сломалась задвижка на калитке, как хрустнула жердочка на сеночных дверях. И только когда

рванули кухонную дверь, очнулся и мигом сообразил: это они! Подергав дверь и поняв, что открыть ее не удастся, гость подал голос:

– Пашко, это дантист, стоматолог. Отдай мне золото, сколько есть, и я уеду. Не откроешь – будет хуже. Браток твой уже в котельной лежит, я его зарезал, или не знает ничего про золото, или полный дурачок. Но ты все отдашь, потому что я пойду окно вышибать, если дверь не смогу сдернуть.

Пашка схватил ружье, взвел оба курка, подошел к двери:

– Не ори на всю деревню, повтори свои условия через дверь, я ухо подставляю.

Услышал четкий вкрадчивый шепот, поднял ружье и дважды выстрелил, на уроне шепота и живота. Стоматолог молча завалился, Пашко перезарядил стволы крупной дробью, прислушался, осторожно снял крючок и резко пихнул дверь. Она открылась только наполовину, тело мешало. Пашко выполз в ограду, присмотрелся – никого. Из калитки резко осветил салон машины – никого. «Вот дурак, – подумал, – на такое дело один пошел. Или жадный через чур». И вдруг – Сашко! «Братец твой лежит!». Набрал «Скорую», кратко сказал, что сам бежит к раненому брату. Сашко лежал на топчане на правом боку, кровь стекала на грязный пол.

– Сашко, брат, очнись, Сашко!

Он распахнул куртку, разорвал рубаху и припал к груди. Сердце билось. Выскочил на территорию, помахал фонариком, машина со стороны райцентра свернула к котельной. Врач и медсестра осторожно сняли с парня одежду, поставили две капельницы, перевязали три колотых раны.

– Доктор, это мой брат. Он должен жить. Я вас умоляю, я заплачу любые деньги, чтобы он жил.

– Не мешай доктору, – шепнула медсестра. – Будет жить твой брат.

Уже из машины врач сказала:

– Надо полицию вызвать. Звони, а то наши сообщат.

Проводив машину, Пашко вернулся домой, стоматолог лежал на спине, неловко подогнув ноги. Он вышел во двор и набрал полицию.

– Я застрелил человека. Село Сладчанка, улица Зеленая, 21, – и нажал кнопку. Спустился в подпол, собрал в один мешочек все ценности и закинул на пологую крышу домика, покрытую рыхлым снегом. Мешочек сразу провалился. Прошел в дом, разжег приготовленные Сашкой дрова, стало потеплее. Через полчаса с диким воем подлетела машина, на всей улице в домах загорелся свет. Двое полицейских вошли в избу, третий остался с доктором в снях, потом и они вошли.

– Где ружье?

Пашко указал на диван.

– Почему долго не сообщал?

– Он брата моего зарезал в котельной, потому я сразу туда. Потом уж врач сказал, чтобы позвонил.

– Виктор Иванович, это же наш стоматолог! И что он тут делал? Что он к тебе ломился?

– Спросите у него. Не знаю. Грозил окно выломить. Ни пить, ни есть не просил.

– Ты, парень, шутки не шути, хотя ясно, что с твоей стороны самооборона, но причина, причина разбойного нападения врача-стоматолога на бедный деревенский домик? – Тот, кого

назвали Виктором Ивановичем, внимательно посмотрел на Пашку: – Может, у тебя клад в подполье?

Когда написали все бумаги, Виктор Иванович сказал:

– Поедешь с нами. Я следователь, тебя не арестовываю, понимаю, что надо еще с братом встретиться. Мы им займемся, когда немного очухается. А ты будешь под подпиской.

Пашко спросил:

– Можно, я во двор выйду?

– Иди.

Пашко свернул за плетеный сарайчик и позвонил Гуле. Та ответила сонным голосом.

– Гуля, случилось страшное, брат ранен и в больнице, ко мне приехал стоматолог и грозил на ремни порезать, чтоб забрать золото. И я его убил.

– Какое золото, Пашко, ты же ему все продал. Ладно, что делать мне?

– Будь у милиции, меня сейчас привезут. Прошу.

– Буду.

Она действительно пришла, и Виктор Иванович, предупредив вопрос задержанного, кивнул: «Иди!». Гуля обняла парня и стала говорить ему на ухо, что «все продал» – значит, у тебя ничего нет. Карточки забрала и дважды попросила повторить код рублевой – деньги потребуются, и немалые. Утром пообещала съездить к Сашко. Чмокнула в щеку и побежала домой.

В камере было человек пять, все уже спали, грохот дверей разбудил, потому ворочались и матерились. Утром Пашко вызвал Виктор Иванович:

– Слушай внимательно. Ружье не твое, зачем ты его взял у знакомого? Ждал кого-то? Почему? Откуда у тебя при зарплате коту под хвост две банковских карточки, к тому же одна валютная? У стоматолога в сейфе нетронутая плитка золота еще царской отливки. Отсюда вывод: ты нашел клад. Хорошо, нашел, но ты должен был, как законопослушный гражданин, отдать его государству, а оно определило бы, сколько вернуть тебе в качестве вознаграждения. Что скажешь?

Пашко знал, что надо будет отвечать на эти вопросы и сразу поднял голову:

– Вот что скажу: этому государству у меня и мысли не было отдать найденное. Что я от него видел, от государства вашего? Мать угробилась на работе, мы с братаном вместо школы на ферму, а когда коров новые князья и бояре на колбасу перевели, пошли по рукам: сегодня похороны, завтра туалет рыть, к зиме вот на котельную взяли, спасибо им. А я нашел ничье и отдать? Да я лучше еще дальше закинул бы, знай такой расклад. Теперь о деле. Коли вы знаете про карточки, я отдам вам валютную, там приличная сумма в евро. А вы отпустите меня, ведь я ни в чем не виноват. Зубодер думал, что у меня ящики этих слитков, раз пошел на такое, брата порезал, сволочь, и меня обещал кончить. И кончил бы, потому что дать ему нечего, но он никогда в это не поверил.

– В твоём доме провели обыск, действительно, ничего нет. А ты не боишься, что карточку я возьму, а тебя не отпущу?

– У меня что, выбор есть?

– Верно, – улыбнулся Виктор Иванович. – Собирайся, сбегай к брату, твой телефон у меня есть. Код карты напиши и принеси. Пока ты все дела свои устроишь, я подготовлю постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Встретимся около районной администрации, со стороны садика, ты мне карту и код, я тебе постановление.

– Виктор Иванович, со мной будет девушка, Гуля из банка, она своя в доску, но настаивает, чтобы был свидетель.

– Ох, пугаешь ты меня, дорогой, но я согласен, потому что ты действительно хороший парень. Кстати, она и код подтвердит. И наличку валюты обеспечит. До встречи.

Аниске утром отец сказал, что Сашко порезанного ночью в больницу увезли, будет-нет живой, крови много вытекло. Она наскоро оделась, выскочила на большак, кто-то посадил, довез до района, бегом прибежала в больницу, а тут не пускают.

– Да как же, девоньки, жена я ему, отчего нельзя-то? Разве ему хуже будет, если меня увидит?

Медсестры поняли, что она не отступит, одели в белый халат и в шапочку, провели в палату. Сашко лежал с закрытыми глазами. Она встала на колени перед его лицом и прислушивается, дышит ли. Сестра тронула за плечо:

– Он в сознании, видимо, уснул.

– Я тихо, девоньки.

Лицо потрогать боялась, только шептала:

– Милый ты мой родной, Сашко, пусть ты меня бросишь, может, я того и стою, только ты не умирай, живи, и я как-нибудь рядом, хоть изредка погляжу. Знаю, что не простишь ты мне всех моих грехов, и обмана не простишь. А все одно признаюсь, сниму грех с души, человек, когда он между небом и землей – он все равно, что святой, ему можно всякие тайности доверять. Вот и покаюсь. Прогонишь – уйду, зато душу облегчу. Всю жизнь врать не будешь.

Сашко облизал пересохшие губы и открыл глаза:

– Аниска, это ты бормочешь, а я понять не могу, то ли еще сплю и сон вижу, то ли обморок со мной. А это ты. Про чьи грехи ты говоришь?

– Про свои, Сашко, родно мое! Грешна я перед тобой. И ребеночек может тоже не твой. Сучка я подзаборная, любимый мой, гони меня со двора. Видно, проклята я людьми какими или род наш такой непутевый. Прости меня, и я уйду.

– Куда же ты пойдешь? Тебя никто не гонит, если врач придет, скажу, что жена.

Аниска тронула его за плечо:

– Сашко, а ты все слышал, что я говорила? Ты все понял? Ты не будешь меня убивать потом каждый день, как тятка мой увечил мать, что не девицей пришла?

Сашко грустно улыбнулся:

– Дура ты, Аниска, ты мне любя, и я тебе тоже, и кто нам что может переменить? Вот встану, оклемаюсь малость, и перейдешь к нам жить. Брат против не будет, он добрый.

– Кто это у нас загостился? – грозный голос хирурга. – Ты кто ему, сестра, подружка, а может быть – жена?

Аниска кивнула.

– Я давно заметил, что любовь способствует выздоровлению более, чем лекарства. Но, извини, у нас свои дела, пойди погуляй. Есть ему ничего не бери, мы сегодня малость кишочки ему укоротили, так что будет питаться святым духом и вот из этих пузырей.

Доктор осмотрел заклеенные швы, позвал санитарок сделать перевязку:

– Не тошнит? Пить хочется? Пока нельзя, не балуйся, раны у тебя серьезные, но не смертельные. Через недельку верну тебя к твоей красавице.

– К кому? – не понял Сашко.

– Вот чудак! К жене.

Пашко к брату пустили сразу после обеда, сказали, что не более пяти минут. Сашко лежал на спине, в обеих руках капельницы, лицо бледное.

– Брат, ты его убил? Скажи, тебя не посадят? Мне казашка сказала, что не посадят. Правда?

Пашко кивнул головой, хотел что-то сказать, но ткнулся лицом в вонючий матрас, прикрытый испачканной кровью простынкой. Слезы стыда и вины душили его. Как он мог столько времени скрывать от брата свои находки? Что он возомнил о себе? Как думал жить с таким камнем на душе? И совсем хотел скрыться. Не криви душой, Пашко, совсем хотел скрыться, оставив брата наедине с бедностью. Было! И как теперь сказать?

– Братко, ты не реви, я живой, все срастется, мы с тобой еще и женимся, ко мне Аниска приходила, зареванная...

– Сашко, брат, ты прости меня, ведь я все закладки раскопал и везде нашел, что искали, а тебе не сказал. Прости меня, хотел скрыть, жадность обуяла, будь я проклят на том и на этом свете!

– Пашко, ты зачем так? Нельзя себя проклинать. Я ведь без претензий. Нашел, и слава богу. Да я и понимал, что нашел, только не говорил ничего. Мне и сейчас ничего не надо.

Пашко рыдал и не мог выдать слова. Был смертный стыд перед братом, но уже ослабла внутренняя пружина, давившая грудь в последнее время, преодолел себя, и от того был счастлив.

– Брат, мы с тобой заживем, клянусь матерью своей, нет у меня других святых, клянусь, что все до копейки поделим.

– Ты про учителя не забудь.

– Не забуду. Домик ему приличный купим и на книжку положим, чтоб до смерти хватило.

– Ко мне Аниска приходила, я начал рассказывать, да ты смешал. Плачет, кается, что обманула меня в первую ночь. Ревет, вот тут же уткнулась, медичка хотела ее увести, я попросил. Аниска и говорит: «Милый мой Сашко, я изоправды беременна, может, и не от тебя, только ты меня не бросай, я буду тебе верной женой и хозяйкой, и любить буду всегда».

– А ты что ответил?

– Что я отвечу, брат? Хорошая она, ласковая, заботливая. Женюсь на ней, если ты не против.

– Ну вот, придумал, почему я буду против твоего счастья? Рад за тебя буду, Аниска правда, девка славная, и любит тебя.

Медсестра подошла проверить капельницы:

– Молодой человек, вы злоупотребляете.

Пашко встал. Ему было легко и свободно. Он впервые за несколько недель открыто смотрел на брата.

– Лечись, я с врачом поговорю, может, надо чего.

– До встречи, Пашко, ты бы Аниску вместо меня определил в котельную, чего она без дела будет?

– Нет, я ее к тебе отправлю, вместе вам веселей будет.

Спросил сестру, и она проводила его до кабинета врача. Пашко поздравствовался:

– Доктор, я брат этого вчерашнего резаного. Вы мне скажите, может, надо что из лекарств? Чтоб быстрее на ноги поднять.

– За ваши деньги – любой каприз. Я напишу рецепт, если есть возможность купить. Но предупреждаю: это недешево.

Пашко вышел, подозвал медсестру:

– Девушка, вот деньги, – он сунул в нагрудный карман халата. – Попросите нянечек, пусть у брата матрас и все остальное заменят. Если нет свежего – купите. И вот эти лекарства купите. Я отблагодарю. Пойдет?

– Пойдет, – улыбнулась девушка.

Митя Зырянов выследил, что Пашко прошел к Гоше, и тут же нарисовался, поздоровался, сел в передний угол:

– Все каюсь, Пашко, что отказал тебе в ружье. Для лучшего друга пожалел! А Гошкино могло дать осечку, старье есть старье. Теперь бы и девятый день справили, зарезал бы зубодер, как пить дать. Вот только Сашку-то он за что? Меня тоже вызывали, допрашивал следователь, по почкам бил, пистолет к виску приставлял: зачем парень просил ружье? Но я ничего не выдал.

– Врешь ты все, Митя. Никто тебя не вызывал. И что ты мог выдать? Ну, я попросил, ты не дал, я ушел.

– Откуда им знать? А, может, мое стреляло? А мне это ни к чему. Свадьба у меня намечается, перехожу к Мякеше. Вот бражку на самогон перегоним, и загудим медовый месяц.

Пашко стало интересно:

– Она же старше тебя, да и намного, поди, годов на десять.

Митя рукой махнул:

– Бери выше, на тринадцать, на чертовую дюжину. Но, как говорится, любовь ровесников не ищет. А хозяйство какое у Мякешки? Мотоцикл «Урал», бензопила «Дружба», телевизор «Рекорд». А какая кровать! Только доползешь, ткнешься – и уже спишь.

Пашко засмеялся:

– А Мякеша?

– Понял. Маху дал. Ребята, это не любовь, это сказка. Мякеше, по-доброму, в фильмах надо бы сниматься, красавица! Пашко, дело прошлое, скажи, почему именно тебя хотел добыть зубодер? Лучшему другу! Неужто правда, что пообещал ему золота на зубы, а потом трекнулся?

Пашко насторожился:

– Какое золото я мог ему обещать, Митя? Знаешь, кого раньше золотарем звали? Не того, у кого золота, а того, кто сортиры чистил. Ты меня к этому хочешь приравнять?

Митя тяжело вздохнул:

– Пашко, лучшему другу! Почему я должен узнавать архиважные новости от полоумного Викентия? Он сказал Мякеше, чтобы меня не принимала, а дождалась его, Вику, что он скоро станет богатым, как арабский эмират, потому что они с Пашко, с тобой, то есть, нашли золотой клад.

Пашко так и обмер, хохотнул только:

– Ну, Викентий Амбросимович горазд по части выдумок. Это он мозги туманил твоей Мякеше, а ты и поверил.

Но сообщение Мити всерьез встревожило Пашко. От Гоши, не простившись, забыл, зачем и приходил, бегом к учителю. Тот встретил гостя в дверях, радовался благополучному исходу, и не переставал улыбаться. Пашко начал с матерков:

– Викентий Амбросимович, твою мать, почему вся деревня знает о кладе?

Таратутин даже не вздрогнул:

– Ну, положим, не вся, не вся, а только особо доверенные лица. Не вся деревня, а только возлюбленная Мякеша.

– А разве это не одно и то же? Если деревня на утро знает, с кем ночью она переспала, вы думаете, про клад у нее хоть на минутку задержится?

Учитель обиделся:

– Пашко, вы почему так плохо думаете о людях?

Пашко взревел:

– Мне о людях – насрать! Я о кладе думаю! Если этот слух дойдет, куда надо, меня опять возьмут за задницу, и тут уж десяткой евро не открутишься.

Викентий Амбросимович просиял:

– Пашко, значит, клад найден? И почему я узнаю об этом только сейчас?

– Наверное, и в этом мое счастье. Не зря сказано: избави бог нас от таких друзей, а с врагами мы сами справимся. Конечно, теперь уже все пойдет, как по маслу, и уже завтра мы встретимся со следователем, но уже на других условиях.

Викентий Амбросимович засуетился:

– Пашко, в чем проблема? Выкладывайте, и будем искать решение. Это я вам как математик, говорю, решение всегда есть.

Пашко без деталей и подробностей рассказал о том, что клад – это не демократические многорублевые бумажки, а драгоценности, которые продать не так просто. Учитель попросил уточнить, что за драгоценности. Когда узнал, что это золото, бриллианты и ювелирные украшения, оживился и забегал по комнате. Пашко терпел, сколько можно, потом окликнул:

– Эй, гражданин Таратутов, вернитесь в реальность! Вам срок светит, как соучастнику, а вы радуетесь.

– Дорогой мой юный друг! То, чего вы так испугались, и подтолкнуло меня к верному решению. Коли пошли разговоры о кладе, его надо легализовать.

Пашко еще не дослушал, но уже отрезал:

– А вот хухо ни хохо? Ни грамма никому не отдам!

Учитель саркастически улыбнулся:

– И будете всю жизнь сидеть на куче злата, как тот Кашей? Никто не знает реального объема клада, тем более в ассортименте. Я же вам предлагаю явиться в финансовые органы и сдать золотые слитки, не все, но так, чтобы премия позволяла вам жить без забот. Моя мысль понятна?

Пашко думал. Да, это выход, но надо кинуть им хоть с килограмм, тогда поверят и заплатят четвертую часть цены всего золота. А уж после...

– Хорошо, Викентий Амбросимович, я сегодня все решу. А это вам на первый случай. – Он положил на стол небольшую пачку денег.

Сашко лежал на кровати и ждал. Аниска убежала домой по своим делам.

– Что, брат, плохие новости?

– Не могу ума дать, что теперь делать. Сообщник предлагает часть золота сдать, за него получить законную премию, и тогда можно потихоньку продавать остальное, и открыто жить в достатке. Но это надо обдумать.

И он думал: «Действительно, учитель прав в одном: сдача части клада легализует деньги, и тогда уже никто не спросит, откуда машина или дом в городе. Но велик риск, что просто обманут, обожмут какой-нибудь бумажкой, найдут нужную статью и все конфискуют. А что, если сыграть в открытую? Окончательно запутавшись, он позвонил Гуле. Девушка сразу спросила о самочувствии Сашко, потом о состоянии самого Пашко. Ответил, что состояние жуткое. Очень нужна помощь, совет, но это не по телефону. Гуля засмеялась и похвасталась, что на днях купила маленькую японскую машинку и сейчас приедет.

Он встретил ее у ограды, не хотелось, чтобы она видела всю их нищету, но Гуля настояла, что должна увидеть Сашко. Она села у его кровати и, как мать, тихо спрашивала и тихо же давала советы. Пришла Аниска, Пашко их познакомил. Гуля наказала невесте, чтобы берегла и быстро выходила жениха.

Сели в машину, Пашко кратко все рассказал. Гуля несколько удивилась:

– Пашко, ты будь немного психологом. Деревня, такое событие, все в неизвестности, и вдруг деревенский дурачок объявляет, что есть клад, и он уже почти Рокфеллер. Да об этом поболтают с недельку, и все. Пашко, прости, я вмешиваюсь в твои дела, но как друг, тебе от этого хуже не станет. Я ездила в область по делам и добила приема президентом банка. Сказала ему о царском золоте в слитках Императорского Банка, он очень заинтересовался. Я уточнила, можно ли совершить сделку без особой огласки, запросов и вопросов. Сказала, что примерно три килограмма, да? И назвала цену, конечно, Пашко, чуть ниже той, по какой золото сегодня торгуется, чтобы у президента был корыстный интерес. Десять процентов он готов выплатить наличными, десять положить на карту нашего банка, а остальные на депозит, они будут работать в банковской системе, а ты получишь от этого проценты. Пашко, это самый надежный способ. Сдать государству – выбросить на ветер. Думай, я готова тебе помочь. Да, слитки не протирай ничем жестким, чтоб никаких царапин, сколов и прочего. Если хочешь – я свожу тебя к президенту. Но сначала в магазин, все новое и приличное, потом в гостиницу, душ и переодевание, потом салон красоты, прическа, ногти, руки. Ты должен произвести впечатление. Ну?

– Я давно согласен, Гуля.

– Решено. Едем послезавтра. Возьми один экземпляр, пусть порадует. Ты даже не знаешь, что он будет иметь от этой сделки. Золото – это государственный запас, тем более такое.

Пашко вышел из машины и помахал рукой в след уезжающей Гуле. Он согласился, но что так беспокойно на душе?

В магазине Гуля знала, кажется, все, и во всем разбиралась. Она замучила юных продавщиц, бракуя костюм за костюмом, и те терпели только потому, что впервые пара русский-казашка в предсвадебной суете. Потом выбрали дубленку, дюжину рубашек, легкие полусапожки, красивую шапку, перчатки и шарф. Белье и носки девочки принесли уже в пакете.

В гостинице сняли небольшой номер, Пашко помылся, побрился сунутым Гулей в пакет невиданной трехрядной бритвой, обтерся мягким и пушистым полотенцем, накинул халат (Гуля предусмотрела). Девушка подошла и крепко его поцеловала, он хотел ухватить ее на руки, но Гуля засмеялась:

– Пашко, у нас не остается времени. – Подошла, расчесала влажные волосы. – Я тоже люблю тебя, Пашко. И я буду твоей. Даю тебе слово: как только мы сдадим золото в банк, первая ночь – наша. Тебе не кажется, что я через чур откровенная? Не думай, я не столь развратна, как может показаться, и ты в этом убедишься. Просто судьба нас свела, а я чувствую, что золото как-то стоит между нами. Стоп, про любовь ни слова, до банка десять минут езды. Одевайся.

Президент банка, крупный и сильный мужчина лет сорока, безукоризненно одетый, вышел навстречу, поцеловал ручку Гули и крепко пожал руку Пашко:

– Мы не будем терять время, оно дорого.

Пашко достал из нового портфеля уложенный в красивый футляр золотой брусок. Президент вынул большую лупу из приготовленного футляра и оглядел брусок со всех сторон.

– Удивительный экземпляр. О цене вы знаете, формальностей никаких, деньги наличными и на карточку по десять процентов, остальные на депозит на три года. Снимите раньше – потеряете проценты. Когда вы привезете остальное и сколько?

– С этим бруском три килограмма. Я могу только через два дня.

– Мы приедем 13 февраля в это же время, – добавила Гуля.

– Все будет готово. Ваш брусок, – он бережно положил золото в футляр и пожал им руки на прощание.

Уже в машине за городом Гуля спросила молчащего Пашко:

– Тебя что-то не устраивает?

Пашко очнулся:

– Меня что-то беспокоит. И президент твой какой-то... Будто его, как и меня, одевали к этой встрече.

Гуля засмеялась:

– Родной мой, президент в этом кресле со дня основания банка. Говорили, что это деньги мафии, в основе банка, но теперь он стал авторитетным, входит в сотню самых надежных в стране.

Пашко проворчал:

– В этой стране уже давно нет ничего надежного. Все строится на лжи и природной доверчивости русского человека. Даже в быту. Парень переспал с девчонкой, она в плаче показывает ему примаранное белье. А все знают, что в уборку она жила в общежитии шоферов всю осень. И он верит.

Гуля не повернула головы:

– Это ты про Сашко?

Парень вспылил:

– Да при чем тут Сашко, Гуля, я про весь советский народ! И давай к тебе заедем, я переоденусь, деревня с ума сойдет, явись я среди бела дня в таком прикиде.

Пашко переоделся в свой домашний костюм, все новое положил в кресло, только белье и носки кинул в пакет.

– Оставь, я постираю, – попросила Гуля. – Оставь. Я хочу на мгновение почувствовать себя твоей женой. Ты на работе, а я стираю трусики и майку.

– Не надо, Гуля, я так боюсь, что у нас ничего не получится. Я тупой и необразованный, бескультурный, галстук завязать не умею. Тебе будет со мной просто скучно.

Гуля заплакала:

– Пашко, почему ты мне не веришь? Или ты не хочешь меня, потому что я казашка?

Он быстро поймал ее и легонько прижал к груди, и вся она, легкая и гибкая, сразу стала частью его, он всю ее чувствовал, от дрожащих коленышек до густых черных волос, всегда аккуратно окаймляющих ее чуть скуластое личико с темными глазами и губками, чуть припухшими и влекущими. Он осторожно коснулся полураспахнутых губ, снова прижал головку к груди и надышаться не мог ее запахами.

– Я никогда не любил девчонок, не пришлось. Было, нравились, но это так, баловство, пообжимались у калитки, и вся любовь. А тебя я боюсь, казашка тут не при чем, ты очень красивая, образованная, у тебя квартира, машина, специальность.

Девушка вздохнула:

– Ладно, милый, сейчас увезу тебя домой, в четверг я за тобой приеду, и закончим эту эпопею с золотом.

Он вышел из машины, кивнул Гуле, вошел в дом. Подумалось: как низко мы пали, неужели в старые времена так жили? Даже при коммунизме был какой-то порядок, продавали новую мебель, на заработок можно было купить всю обстановку. Недавно Аниска заставила его отодвинуть от стены шифоньер, чтобы пол вымыть, он отодвинул тяжелый деревянный шкаф и глазами уперся в пожелтевшую этикетку: шкаф стоил 38 рублей. Мать получала когда сто, когда больше. Она что, три шкафа могла купить? А сейчас? Заносили мебельный набор начальнику котельных, попросил в магазине Петьки–Парткома погрузить, а дома выгрузить и занести. Шептались: комплект стоит двадцать кочегарских зарплат. А мать говорила, что, когда домик был еще новый, стены белили два раза на году, к Октябрьской и Пасхе. Вот и возьми их за рубль двадцать: к советскому и церковному праздникам. Праздник был, когда крышу покрыли шифером. Красота, нигде ни капельки не промокает. А теперь все течет, не белено годами, запах какой-то нежилой, тухлый. Надо сестер позвать, пусть все побелят и перемоют, на постель надо все свежее купить, привезу тихонько, никто не насторожится. Твою мать, а я Гулю сюда заводил! Что она про меня подумала? А целует. Неужто вправду мне так повезло, что такая девушка полюбила? Казашка. У нас их много, разные, но такой красивой, как Гуля, нету. Он даже боялся вспоминать, что пообещала девушка, когда закончим все дела с золотом. Боялся спугнуть. Суеверный стал с этим кладом.

Сашко пришел с работы веселый, говорит, весь день просидели с Анисой и проговорили, как жить станут, сколько ребятишек заведут, дом новый построят, хозяйство чтобы полный двор, а ребетня с колыбели чтоб к работе привыкали, дармоедов в семье не будет.

– Правильно я понимаю, брат? – спросил Сашко, хлебая деревянной ложкой сваренный Аниской суп. Мяса доброго Пашко в городе купил, Сашко можно только крученое на мясорубке, вот Аниска и старается. А Пашко иногда найдет кусок пожирнее и в кастрюлю, а потом с хлебом и луковицу раздавит ладонью на табуретке, аж сок пойдет. Так мать делала. Так вкуснее.

Положил в пакет полбулки хлеба и шмат сала соленого, тоже на рынке прикупил, пошел в котельную. Вчера поздно ночью взял под сараем длинную лестницу, приставил ко крыше и поднялся на самый верх. Бураны все сравнивали, ровная крыша, Пашко не по себе стало, хотя понимал, что никто не залезет и мешок не утащит. Ткнул тонкой палочкой и в мешок попал. С разных сторон его обследовал: лежит, дожидается. Палочкой дырки разровнял, спустился, лестницу на место, два следа от опорных жердин снегом присыпал, притоптал.

Ночь отдежурил, день проспал, ночью опять на крышу, подтянул мешок, нашел пакет с пластинками, сунул аккуратно за пазуху, остальное вытряхнул и в снег подальше сунул, а мешок вниз скинул. В этот раз лопату снеговую с собой взял, разровнял поверхность, вроде сойдет. Двери плотно закрыл, занавески на окнах еще старыми материнскими шальями завесил, свет выключил – даже соседний уличный фонарь не просвечивает. Вынул бруски, сложил в ряд – двенадцать штук по 250 грамм, несколько маленьких отложил в сторону. Три килограмма. На этот случай купил два метра байковой ткани, наструг двенадцать одинаковых кусков, завернул бруски и перевязал бечевкой. К Гуле заедем переодеваться, там она сама распорядится и переложит в портфель. Спрятал надежно в сарае, пошел в котельную, Сашко отправил домой. Сутки провел на работе, только раз сбегал домой, пару котлет закинул, с Аниской поговорил.

– Сына ждешь, Аниса? – спросил с улыбкой.

Аниска кивнула на Сашко:

– Это папаше сына надо, а мне дочь, чтобы сперва нянька, а потом уж ляльки. И матери помощница.

– И много ты надумала рожать? – опять улыбнулся Пашко.

Аниска подняла голову от цела горячей русской печки, вытерла лицо фартуком:

– А это, Пашко, как Бог даст и как Сашко сможет. Сколько будет, столько и рожу.

Пашко собрался:

– Завтра я в город, так что отсыпайся, а я ночь отдежурю.

Сашко встал с кровати:

– Нет, брат, ты бы отдыхал перед дорогой, а мы с Анисой и в котельной ночуем. Как, Аниса?

– Знамо дело, что ночуем, только я сперва хлебы выну из печи.

Когда они ушли, Пашко понял, что брат правильно решил, день завтра непростой, надо основательно отдохнуть. Сходил за свертком в пригон, положил в изголовье кровати, прилег. Завтра все решится. Сдадим это проклятое золото, вернемся в район, ночь проведем у Гули. А потом уедем куда-нибудь, она лучше знает, куда, и будем жить. От всех этих ожиданий было томительно сладко. Часто ли бывает такое состояние у человека? Редко. И не у каждого. Ему повезло, такое чувство посетило его. Они с любимой девушкой сделают огромной важности дело, а потом, приехав домой, станут мужем и женой, потом свадьба, и – прощай, Сладчанка! Пашко поедет смотреть белый свет. Он так крепко уснул, что не слышал сигнала Гулиной машины. Быстро оделся и выскочил на улицу. Уже светало.

Заехали к Гуле, и все повторилось: он тщательно вымылся, побрился, одел чистое проглаженное белье, халат, она встретила у дверей ванной, горячо поцеловала в губы и шепнула:

– Любимый мой джигит, сегодня наш день.

Президент был так же предупредителен, осмотрел каждый брусок, уложенный в красивую бархатную коробочку, это уже работа Гули, и кивнул головой. Тут же вошла девушка, положила на стол в две стопки одинаковое количество пачек денег в банковской упаковке, запечатанный конверт с банковской картой и два экземпляра уже напечатанного договора на депозит. Гуля все посмотрела, взяла конверт с картой и прочитала договор. Положила его перед Пашко:

– Можно подписывать.

Пашко расписался в указанных местах, они встали, президент молча пожал им руки, и гости покинули кабинет. В операционном зале Гуля подошла к окну, перекинулась несколькими словами с девушкой, и та указала, куда им пройти. В отдельной комнате Гуля положила на банковскую карту половину наличных денег, конверт и карту подала Пашко. Он прошептал:

– Оставь у себя, куда я с ними?

Гуля кивнула и спрятала бумаги вместе с договором на депозит в своей сумочке, поблагодарила коллегу, они вышли из банка, и через полчаса их машина выехала из города. Найдя укромное место, Гуля остановилась, потянулась, потом резко повернулась к парню:

– Поцелуй меня, Пашко, я очень устала и хочу любви.

Он нежно целовал ее в губы, в щеки, в глаза, она что-то мурлыкала, потом оттолкнула парня:

– Все, чуть остынь, а то нам до дома не доехать.

Она включила поворот и выехала на трассу. Машин было немного, да и неопытный водитель, Гуля была очень осторожна. Останавливались еще два раза, чтобы просто размяться, подышать морозным воздухом. Когда выезжали на трассу, Пашко показалось, что они уже обгоняли этот джип, видимо, ребята тоже останавливались по своей нужде.

Гуля долго была в ванной, вышла в легком халате и села в кресло. Пашко быстро разделся, обмылся под душем и вышел в халате. Оба засмеялись. Он опять стал ее целовать, девчонка обмякла и шепнула ему:

– У меня есть спальня...

Часа через два раздался звонок телефона Пашко. Он нажал кнопку, говорила Аниска:

– Пашко, милый, Сашко плохо, кровь идет, и до «скорой» не можем дозвониться. Мы с Гошей уже к больнице подъезжаем, ты скажи, где тебя забрать.

– Я все понял, пусть едет на Калинина 26, я встречу.

Гуля сдернула с кровати простыню и накрылась халатом.

– Милый, иди обмойся и одевай свое. Деньги заberi, бумаги останутся у меня. Ты не против?

– Конечно, мы же договорились.

Подошла машина, Пашко поцеловал Гулю, успел сказать, что очень ее любит, и побежал на улицу. Гоше крикнул, чтобы гнал к больнице. Аниска плакала в коридоре, Пашко сидел рядом, охватив голову. Прошел томительный час. Хирург распахнул дверь операционной:

– Все нормально. Он тяжелое ничего не поднимал? Мясо кусками не ел?

– Откуда мне знать? Я на работе – он дома, и наоборот. Мясо? Жена его хорошо готовит, мог и заглотить.

– Шов разошелся, будет лежать, это хуже, чем плановая операция.

Пашко достал деньги и подал доктору две бумажки:

– На коньяк после удачной операции.

Доктор улыбнулся:

– При такой оплате я бы день и ночь оперировал. Ну, будьте здоровы!

На выходе его ждал Виктор Иванович, Гошу и Анфиску он отправил в машину.

– Вы сегодня весь день провели с гражданкой Касеновой, так?

Пашко похолодел:

– Да. Мы расстались три часа назад. Меня вызвали к больному брату в деревню. Но что случилось? Что с Гулей?

– Тогда мужайся, Пашко. Ее убили и дом сожгли, выгорело все, видимо, было использовано мощное сверхгорючее вещество, потому что пожарники даже подойти не могли без спецкостюмов.

Пашко сел на ступеньки крыльца:

– Может, она успела выскочить? Подожди, кто мог ее убить? За что? Я порву этих людей, я найду их. За нами из города шла машина, джип, а потом, когда за мной приехал Гоша, мы ее осветили. Гоша, иди сюда. Когда мы отъезжали от дома, ты не заметил джип на той стороне? Ну!

– Пашко, гадом буду, стояла машина. Обожди. Такая же, как у Петьки–Парткома. А номер...

– Гоша, припух!

Подскочил Виктор Иванович:

– Вы номер запомнили? Говорите!

– Не видел я никакого номера. Только джип. – Гошу трудно переубедить.

– Виктор Иванович, ее нашли, хоть что-то? – Пашко посмотрел с надеждой, как будто это что-то меняло.

– Что ты имеешь в виду? Золото, драгоценности?

– Ох, и сволочь ты, майор! И здесь у тебя подозрение!

– Не обижаюсь, Пашко, прими соболезнования, ничего не удалось найти. Там чуть ли не напалм был использован. Кому она была так нужна, или то, чем она владела? Что скажешь, Пашко? Но есть у меня подозрения, что все это как-то связано с золотом.

– Больше, майор, это связано с любовью. Мы сегодняшней ночью стали мужем и женой. Если бы меня не вызвали к брату, все было бы по-другому.

– Да, было бы два сгоревших тела, только и всего. Тут действовали профессионалы высшего класса.

– Найди их, потому что если я найду вперед, я их зарюю.

– Ты что-то знаешь. Поделись.

– А если ничего не знаю?

– Свободен. Поезжай в свою Сладчанку.

Два дня Пашко не выходил из дома, прямо из горлышка пил коньяк, плакал, и думал, думал. Не давало покоя какое-то скрытое выражение жестокости на внешне благообразном лице президента банка, закрывал глаза, и всплывал в памяти джип. Позвонил Гоше Семиколенному, тот пришел и даже испугался вида Пашко: синюшный, опухший, глаза красные.

– Гоша, напряги память, что на номерах ты заметил?

Гоша присел на стульчик:

– Ты не мстить ли собрался? Выкинь из головы, это бандиты. Номер я видел и помню, но не скажу, иначе и ты пропадешь.

Пашко посмотрел на него жуткими глазами:

– Я так и так обречен, если только это из банка, а других вариантов нет, и они узнают, что я не сторел вместе с Гулей – отдельно сожгут. Потому я должен знать, кто это, чтобы опередить. Помоги, Гоша!

– Ладно. Но только аккуратно. Номер 123, две буквы О видел. А номера эти спецом выдаются, только для своих, их и милиция не трогает, я от ребят знаю.

Пашко помолчал, прикидывая:

– Поедем завтра в город, надо одно дело проверить.

Гоша насторожился:

– Пашко, если со смертельным исходом, то я пас.

Парень ухмыльнулся:

– Паси, паси, да пораньше пригоняй.

Утром выехали рано, к десяти часам были в центре. Пашко оставил Гошу на стоянке, сам пошел в оружейный магазин, подошел к отделу пистолетов. Подозвал паренька, под ноль стриженного, со шрамом на щеке, попросил наклониться:

– Нужен «Макаров» и три коробки патронов, разных, ты понял?

– Базара нет. Бумаги давай.

Пашко вытащил бумажник и выдернул две долларовых сотни. Парень испугался:

– Ты с ума сошел, убери!

– Я тебе еще дам. Решай, я пойду за винтовкой.

Невысокий и толстый, как колобок, продавец винтовок начал было давать характеристики, Пашко через прилавок поймал его за воротник рубашки:

– Мне нужна хорошая винтовка с оптикой и глушаком. Говори, сколько надо, я плачу и ухожу.

Толстяк вспотел, но ответил резко:

– Ну, знаете, молодой человек! Без разрешительных документов...

– Дурак, – шепнул Пашко. – Я через дорогу перейду к вашим конкурентам, и куплю, тебе не обидно будет терять такой бонус?

Толстяк улыбнулся:

– Вы умеете убеждать.

Все покупки ему уложили в большую охотничью сумку, он позвонил Гоше, чтобы тот подъехал, не гулять же с таким набором мимо областного УВД. За городом Гоша спросил:

– Ты оружие купил?

– Рогатки.

– А я тебя обрадую. Вышел покурить, а джип наш мимо меня и к банку, к стекляшке. Я посмотрел, вышел здоровый мужик с портфелем, видно, начальник, два клоуна в машине.

Пашко одернул:

– Гоша, гонишь! В машине стекла должны быть тонированы.

Гоша обиделся:

– Пашко, если считаешь меня дураком, нахера спрашивать? Они дверцы открыли, чтобы покурить. И дверцу эту, Пашко, я видел с торца: в три пальца толщиной, бронирована машина!

Пашко кивнул: это хорошо, он и без того догадывался, что такой бандюга на «Запорожце» ездить не будет. Значит, надо выследить, где останавливаются, сколько стоят, осмотрительны или беспечны. На другой день, спрятав оружие, автобусом уехал в город, зашел в общагу, договорился с администратором, взял ключи от комнаты. Полдня провел около банка, наблюдая издалека, чтобы не попасть в камеры, без четверти двенадцать вышел шеф, Пашко сразу его узнал, оценил обстановку, справа выскочил охранник и открыл заднюю дверь. Так, срочно такси, и проехать за этой машиной. Таксист лох, туркмен или таджик, велел остановиться метров за пятьдесят. Та же картина, правый открывает дверь, шеф выходит, ребята курят, приоткрыв дверцы. Сбегал в общагу, переоделся, опять к банку. Ровно к двум подъехали, выпустили шефа, поехали. Все, можно до вечера ждать у банка. Три дня наблюдений дали результат: приезжает и уезжает точно по графику, все вместе никогда не выходят, водитель остается за рулем. Брать их только отдельно: водилу и охранника, а потом шефа. Или наоборот? По первому варианту шеф так замкнется, что никогда его не достать, а это Пашко не устраивало. Убрать его – эти разбегутся, как тараканы. Нет решения, и спросить не у кого.

Пошел на рынок, присматривался к молодым русским мужикам, торгующим мелкими запчастями к машинам, безделушками разными. Несколько раз подходил к здоровяку, на столике лежали блесны и рыболовные крючки. Настораживал краповый берет, а на дворе минус десять. Раз прошел Пашко, второй, пока здоровяк не остановил:

– Тебя, я вижу, размеры моих снастей не совсем устраивают?

Пашко ответил:

– Совсем не устраивают.

– На крупную рыбу собрался?

– Да, но ума не хватает, как ее взять... разом.

Здоровяк кивнул: иди за мной. Зашли в вагончик, там грелись четверо:

– Ребята, погуляйте, разговор с человеком. Говори.

– Мою девушку убили и сожгли. Хочу отомстить. Я их нашел, выследил. Они бугра привозят и покуривают, тут бы я мог их шлепнуть, но самый главный потом спрячется – не найдешь. А его надо обязательно.

Здоровяк снял бушлат, сдернул тельняшку, повесил над батареей, снял теплую, одел. Пашко увидел все опознавательные татуировки ВДВ.

– После ранения потеть начал, ни с того, ни с чего. Вот, сушу тельники. Так ты их из пистолета хотел? Молодец! Они же тренированы, как собаки, ты и вынуть свою свистульку не успеешь, как тебя изрешетят. А ты уверен, что это они?

– Уверен. У главного дважды на приеме был, а джип я видел и на трассе, и когда от дома девушки ночью отъезжали с другом. Друг даже номер усек. Я три дня проверял: все сходится.

– А если убивали и жгли другие?

– Исключено. Я к вахтеру подходил, спросил, как на эту машину водилой устроиться. Тот засмеялся, говорит, у шефа эти двое незаменимы, три года с ним.

– Это хорошее уточнение. Вот что я тебе скажу, ты, я вижу, парень деревенский, я тоже, только давно из дома, озверел. Отомстить – святое дело, тем более, что уверен: ошибки нет.

Но ты же вахлак, убьют сразу. Поверь мне, я сам был на подхвате, там такие орлы тренированные, что только рот открыл, а он уж понял. Если все, что ты сказал, верно, то брать их надо разом, одним ударом.

Пашко не понял:

– Как это?

– Как на фронте, «Стрелой».

– Да, автомобиль бронированный.

– Это херня, броня там детская, не танк и не членовоз президентский. Бронебойный пройдет, как в масло.

Пашко вздохнул:

– Тогда плохи мои дела. Куплю гранату и взорву их вместе с собой.

Здоровяк засмеялся:

– Можно, конечно, но это глупо, когда есть решения попроще. Конечно, это будет стоить денег.

– Сколько?

– Не могу влет сказать, надо изучать объект и обстановку, но в пределах... – Он взял карандаш и написал на листочке цифру.

Пашко глянул и кивнул:

– Согласен.

Здоровяк удивился:

– Где ты в деревне такие бабки возьмешь? Это же доллары, дурень!

– А мне Гуля перед отъездом все свои деньги отдала, мы с ней собрались зарегистрироваться и за границу поехать. Есть деньги.

– Добре, тогда информация о клиентах.

Пашко рассказал все, что знал, рассказал и о сделке с золотом, только золото якобы Гули, ее родители нашли в древнем кургане. Карточка с кодом на миллион рублей в долларах и договор на депозит на пять миллионов, переведенных в евро, это все у нее на руках. А они и ехали следом, чтобы обстановка не успела смениться.

Здоровяк написал на бумажке и подал Пашко:

– Это мой телефон. Его больше никто не знает. Напиши свой, я тебе с этого позвоню, как все будет готово. Это значит, клиент опознан и обозначен, находится под контролем. Тебе достаточно быть в городе. По радио и ящику сразу сообщат. Если скажут, что все трое холодные, сразу вези расчет сюда, на рынок. Если кто-то выжил, умрет вечером в больнице, у нас это отработано. Все, ехай домой.

Пашко встал и задержался:

– Я вам поверил. Не о бабках речь, о смерти их поганой. Не будет промаха?

Здоровяк тоже встал:

– Прوماх, брат, всегда может быть, но на то мы и спецы, чтобы без промаха. И повторяю: ни один не уйдет. Потому и расчет только после полного выполнения договора.

Пашко простился со здоровяком, так и не узнав его имени, да оно ему и не надо. Грохнет он этих уродов, вопросов нет. Увижу, отдам деньги, а дальше? Разве появится в душе хоть сколько-то успокоения, разве может принять душа любимой Гули такое отмщение, сделанное

чужими руками за деньги? Если ты действительно любишь, если ты воистину джигит, как любовно называла тебя в постели стройная, как газель, юная казашка, ты сам должен это сделать, своими руками, вот этими, которым она позволяла обнимать и дотрагиваться до самых сокровенных мест своего прекрасного тела. Пашко заплакал от стыда, закрывшись руками, чтобы соседи в автобусе не увидели.

В райцентре купил старенький «УАЗик», в котельную вместо себя и больного Сашко определил парней из безработных, а сам каждый день выезжал в лес, ставил листы фанеры, уходил за триста метров и стрелял из винтовки по паре обоем. Вернувшись, считал пробоины и удивлялся: все пули приходили в цель. Десяток тренировок убедили его, что можно продолжать дело.

Дома надежно спрятал бриллианты и украшения из оловянной шкатулки, в укромное место положил деньги, достаточно, чтобы Сашко с Анисой жили безбедно, если с ним вдруг что, и ранним утром уехал в город. В том же общежитии снял комнату с металлической дверью и крепкой решеткой на окне, перенес туда сумку с оружием. Пошел на перекресток, к банку, проверил, вовремя ли питается президент. Оказывается, привычка – вторая натура, без четверти двенадцать подлетал джип, ровно в два часа он вставал на то же место. Как заведенный, выскакивал с переднего места охранник, не спеша поднимался по широким ступеням президент. Водитель опускал стекло и курил, выпуская дым красивой струей.

В тот же день Пашко подошел к подъезду пятиэтажного дома на противоположном углу, у третьего подъезда сидят старушки, беседуют. Его сразу обыскали взглядами.

– Извините за беспокойство, – обратился к ним Пашко, – не подскажете, нельзя ли в вашем доме снять квартиру, только не на первых этажах, я работаю, пишу, мне нужна тишина. Лучше бы на четвертом или пятом.

Старушки осмотрели его и остались недовольны внешним видом. Пашко быстро исправил оплошность:

– Не обращайтесь внимания, я снял комнату в общежитии, и уже порядок стал наводить, но понял, что не смогу там работать, очень шумно, даже ночью. Я писатель, понимаете? Так что вы мне скажете?

Подружки переглянулись, перешепнулись, и одна удостоила ответом:

– Анна Ивановна уехала к дочери в Томск, разрешила сдавать квартиру, но, молодой человек, это три комнаты, будет стоить довольно дорого.

Пашко едва скрыл радость:

– С кем решать вопрос? Я готов платить разумные деньги.

Через пять минут привели распорядителя. Егор Сергеевич, крепкий пожилой человек, придирчиво осмотрел Пашко и спросил:

– На какой срок вы бы хотели снять квартиру? И какая семья?

Пашко для приличия помялся:

– Можно пока на полгода? Но я один, не беспокойтесь.

– Можно и на полгода, но оплата за первый и последний месяц вперед. Деньги мне, а коммуналку и прочее оплачиваете сами.

Парня абсолютно все устраивало, и он вежливо отвел распорядителя в сторону:

– Я буду вам отдавать полуторную цену, но освободите меня от коммунальной суеты, пожалуйста.

Мужик крикнул: это ему понравилось. Пошли смотреть квартиру. Пашко сразу прошел в гостиную и к окну: банковский подъезд как на ладони. Это то, что надо.

– Молодой человек, я отдам вам ключи, но мне нужны гарантии. Например, паспорт. А то, знаете, обчистят квартиру и поминай, как звали.

Пашко задумался. Отдавать паспорт нельзя, город, в любой момент могут спросить. Что ему дать, чтобы он отвалил и не надоедал? В общаге, в сумке лежат несколько ювелирных безделушек, привезу и отдам, вроде как залог.

– Квартиру я снимаю, вот аванс, а по гарантии мы с вами решим, когда я привезу вещи. Ключи пока оставьте у себя.

К вечеру он был полноправным хозяином. Егор Сергеевич остался очень доволен залогом, и вообще квартирантом, парень обходительный, состоятельный, писатель, просил ему не мешать. При таком наваре можно раз в месяц приходить и получать свое.

Еще два дня наблюдал Пашко за жертвами через оптический прицел, привыкал к живым людям за мгновение до смерти. Выходило, что самое удобное время – вечер, когда клиенты уже не спуют туда и обратно, лестница совершенно пуста, президент выходит устало–медленно, брать его надо на верхних ступеньках, чтобы ребята оба успели выскочить. Сложно, но не отрепетировуешь. Надежда только на сноровку и удачу. Выхода нет, звонок здоровяка он проигнорировал. Вечером решил: завтра. Купил бутылку спирта, в аптеке пару резиновых перчаток, мягким полотенцем протер все, к чему за эти дни прикасался. Пистолет с патронами положил в карман куртки, вынул обойму с патронами и тоже прошелся полотенцем. Винтовку после стрельбы обработать, в бутылке остался спирт. Бутылку обмыть остатками, мокрой тряпкой вытереть дверную ручку, и вниз. Все рассчитано, осталось самое главное.

Спал хорошо, никаких снов, видимо, сказалось успокоенность принятым решением. Весь день никуда не выходил, еще раз протер дверные ручки, кружку, из которой пил кофе, кофейную банку, краны в ванной и кнопку на туалетном бачке. Надел перчатки, чтобы больше нигде не наследить, ничего нельзя упустить, ведь «пальчики» есть у Виктора Ивановича, одна ошибка, и он раскрыт.

С четырех часов стоял у приоткрытого окна на коленях на диванной подушке, машина могла подойти и раньше. Нет, в пять с минутами дверь распахнулась и на крыльце появился президент. Он дошел до ступенек и остановился, сняв богатую шапку и вдыхая чистый холодный воздух. Оставив крестик по центру лица, Пашко нажал спуск. Президент рухнул на верхнюю ступеньку, отбросив в сторону портфель. Первым выскочил охранник уже с пистолетом, кинулся к шефу и, поняв все, выпрямился. Пашко выстрелил в грудь, а потом в спину подбежавшего водителя. Все трое лежали без движения, по ступеням стекали три ручейка крови. Пашко сунул винтовку под диван, надел куртку и шапку, прошелся полотенцем по ручке входной двери и вспомнил: ручка окна! Быстро вернулся, закрыл окно и протер ручку, вернулся к выходу, опять прошелся по ручкам внутренней и внешней, полотенце бросил в угол. Скатился по лестнице, на ходу сорвав перчатки и сунув их в карман, никого не встретил, из входной двери свернул вдоль стены, на соседней улице сел в автобус, идущий в сторону общаги. Тут его начало колотить от нервного перенапряжения, бледность выступила на лице. Контролер подошла и спросила, все ли нормально. Пашко кивнул:

– Лишнего выпил вчера, сердце клинит.

– То-то я чувствую, что от тебя спиртным несет.

Гоша Семиколенный, вызванный еще вчера, ждал у общаги. Пашко забежал в комнату, схватил свои вещи, открыл бутылку водки и тоже протер все, что можно и нужно. Остатки водки выпил прямо из горла, обихоженную бутылку поставил на стол. Снова ручки, ключи, и – тряпку в мусорное ведро. Сел в машину:

– Гони, Гоша, за городом остановишься у магазина, надо бутылку коньяка взять.

Гоша смотрел на друга с испугом:

– Пашко, с тобой что-то неладно, натворил чего?

– Натворил, – согласился парень, – драку вчера устроил, потому из города скорей.

Выбрались на трассу, остановились у магазина, Пашко сбегал за коньяком, приемник включил еще в городе, а сейчас прихлебывал коньяк из бутылки и ждал новостей. Наконец, пропала веселая музыка, и диктор сказал, что будет передана экстренная новость. Следственный комитет сообщил, что в центре города произошло дерзкое преступление, бандой снайперов на крыльце «Мегабанка» убиты президент банка и два его охранника. Введен план «Перехват», создана оперативная группа, просьба ко всем гражданам оказывать следственным органам всемерную помощь.

– Слышал? – спросил Гоша.

– Про что? – Пашко будто и не понял, о чем речь.

– Банкира с охраной замочили, ты разве не слышал?

Пашко отмахнулся:

– Да оно мне надо? Убили – стало быть, есть за что. Нас с тобой не убьют.

Гоша пробурчал:

– Дай-то Бог!

– Хелло, это месье Пашко?

Пашко вздрогнул от неожиданности:

– Да, это я.

– Вы прислали нам письмо и в нем этот телефон. Я Ефросинья Кутельникова. Я бы просила вас подтвердить то, что вы заявили в своем послании.

...Пашко две недели не выходил из дома после совершенного возмездия, думалось о Гуле, что надо узнать у знакомых казахов, где мусульманское кладбище, и сходить на могилу. На похороны Адия идти не советовали, чужих не пускают, да и разговоры может вызвать это появление. Думал о дальнейшей жизни, и чем больше думал, тем больше росло в нем презрение и даже ненависть к этому проклятому кладу, к золоту с бриллиантами. Вот тогда он достал из щели в стенке сарая французский конверт с письмом и адресом, адресок переписал, а ночью сочинил письмо:

«Господам Кутельниковым в город Париж из села Сладчанки.

Господа Кутельниковы, много лет назад ваш родственник, отец он вам или кто иной по родству, Афанасий Артемьевич, прислал в наш сельсовет письмо, в котором уже второй раз, после отца, по его завещанию, указал, что под вашими магазинами, которые и сегодня в добром здравии, зарыты клады. Там были указаны некоторые хитрости, но в то время никто не стал искать клады, потому что капиталистам никакой веры не было. И вот минувшей осенью я случайно нашел письмо это и с помощью Викентия Амбросимовича, учителя, разобрался, что к чему, и клады те добыл. Лучшие бы я этого не делал. Золото не принесло

мне счастья, а одно только горе, потому что из-за него была зверски убита и сожжена в своем доме моя любимая девушка. Я проклял богатство и отказываюсь от него, а потому предлагаю вам приехать и забрать все, что осталось. Пишу свой телефон, адрес вы знаете, а зовут меня Пашко, любого в деревне спросите, вам скажут.

Пашко».

С письмом поехал в райцентр, на главпочтамт, спросил, как отправить письмо в Париж. Женщина порылась в справочниках, подала конверт и велела писать адрес. Наклеила кучу марок и бросила на стол.

– Дойдет оно до Парижа? – с недоверием спросил Пашко.

– Дойдет, извещение получишь.

И вот звонок.

– Месяе Пашко, скажите, пожалуйста, что из заложенных кладов вы предлагаете вернуть?

– Все, кроме золота. Оно украдено.

– Я вас поняла. Вы один владеете этой тайной?

– Барышня, если мы с тобой еще минут пять поболтаем, об этом будет знать вся Европа!

Барышня засмеялась:

– У вас прекрасный юмор!

– Так вы едете или нет?

– Мы с братом сегодня все обсудим и я вам позвоню.

В субботу Пашко ждал гостей. Как сообщила Фрося, они с братом Пьером вылетели в Москву и сразу сели на самолет до областного центра. Здесь их встретил Гоша, удививший своей машиной, которая, не смотря на ужасный внешний вид, ехала вполне прилично.

Наблюдая за встречными машинами, Пьер спросил Гошу:

– Простите, а эти машины почему здесь едут?

– А где им ехать? – хохотнул Гоша.

– Но есть же полоса встречного движения?

– Вот это она и есть, – кивнул водитель.

– Боже! Тогда прошу вас ехать медленнее. Это безумие, почти лобовое столкновение!

– А мы привычны, нам и так хорошо, – Гошу веселил страх француза.

Подъехали к дому Пашко, он вышел, познакомились, пожали друг другу руки.

– Вы здесь живете? – с удивлением спросила Фрося.

– Живу, – мрачно ответил Пашко и пригласил в дом. – Я вам все отдам, и Гоша отвезет вас в город.

Фрося вдруг запротестовала:

– Нет-нет, я хочу несколько дней прожить на родине предков. Пьер, ты не против?

– Согласен. Мы можем поохотиться?

Пашко усмехнулся:

– Нечем. У меня все оружие конфисковали.

– Как это? – удивился француз.

– Как? У вас полиция есть? И у нас есть. Закон нарушил – оружие забирают. Да и некогда мне с вами гостевать, я на работе.

Пьер опять ничего не понял:

– Пашко, имея на руках целое состояние, вы еще и работаете. Кем?

– Вот дободался, – проворчал Пашко. – Кочегаром в котельной.

Пьер возмутился:

– Но это же грязная работа.

– А другой нет, – развел руками хозяин.

Фрося осмотрела избу и горницу, тронула Пашко за рукав:

– А где мы можем спать?

– Скажу Гоше, увезет вас в гостиницу в райцентр, там и рестораник есть.

– Но утром мы вернемся, ваш водитель сможет за нами приехать?

– Куда ему деваться, заплатите – приедет.

Кое-как проводил гостей. Драгоценности они только посмотрели, но брать с собой поопасались. Весь день гости ходили по селу, сравнивали с планом, нарисованным еще дедом, и возмущались. Потом Пашко нашел им лыжи и с Гошей отправил в лес, однако через полчаса Натали вернулась:

– Пашко, почему вы не хотите погулять с нами? Вы очень приятный молодой человек, я бы с удовольствием с вами побеседовала.

Парень усмехнулся:

– Так в чем дело? Снимай лыжи и заходи в избу, там и побеседуем.

За ночь Пашко успел кое-как прибраться, стало уютнее. Шубку гости он унес в комнату и повесил на гвоздик.

– Пашко, вы редкой порядочности человек, отказаться от такого богатства, живя, по существу, в нищете. Может, вы передумаете?

– Слушай, барышня, я отдаю вам все, что есть, забирайте и уезжайте. Ничего больше объяснять вам не буду.

– Пашко, я бы хотела остаться на родине... на некоторое время, например, на год. Пожить на земле предков. И познакомиться с вами, вы такой милый, хоть и сердитый. Я понимаю, вы потеряли любимую девушку, но вы еще совсем юноша, и это скоро забудется. В это время я бы хотела быть рядом с вами. Пашко, давайте проводим Пьера, вы поможете мне найти приличный дом в городе, и будете приезжать ко мне в гости.

Она подошла к парню и прижалась к нему, слегка обняв за талию:

– Пашко, ты мне нравишься, очень нравишься. Если бы ты согласился поехать со мной в Париж, я была бы счастлива.

Пашко чувствовал ее сильное тренированное тело, тугую грудь под свитерком, запах тонких духов, легкая дрожь прошла по его телу, он вдруг вспомнил Гулю, вот так же прижавшуюся к нему в последний раз, резко и осторожно снял руки Натали с пояса и сказал внятно:

– Барышня, ты что такое несешь? Пашко в Париже? Да в Сладчанке куры со смеху подохнут! А насчет того, что я понравился: одичала ты за это время без ухажеров, вот и запала на первого попавшего. Сегодня Гоша увезет вас до района, а до Парижа вы дорогу знаете.

Фрося покраснела:

– Значит, вы меня отвергаете, отвергаете Париж и остаетесь в этой дыре?

Пашко едва сдерживал себя:

– Значит, в тебе русского ничего не осталось, если ты не можешь меня понять. Это моя деревня, я тут родился, тут моя мама похоронена и отец, здесь могила моей первой и единственной женщины. Уезжай, все барахло в пакете на столе.

Фрося подошла к столу:

– Пашко, я вам оставлю немного бриллиантов и ювелирных безделушек.

Он встал и подал даме шубку, пакет с драгоценностями запихал в самовольно расстегнутую дамскую сумочку и повел ее на улицу. Гоша уже сидел в машине, Фрося что-то резко сказала Пьеру, он убежал переодеваться, и через пять минут Пашко захлопнул за ним дверцу машины.

Неделю Пашко пил, Аниса приносила ему в постель квашеную капусту, соленые огурцы, горячий суп, ходила, как за ребенком. Он благодарно смотрел ей в глаза, доставал из-под кровати бутылку и пил из горлышка, через силу глотая жгучую жидкость. Спал или нет, просто забывался, старался ни о чем не думать. Попросил Сашко протопить баню, долго парился, изгоняя хмель, после бани пил горячий чай на травах, потел, менял полотенца. Вечером оделся, пошел в котельную к брату. Сашко обрадовался гостю, стряхнул одеяло с топчана, усадил, предложил чаю:

– Брат ты мой родной, хорошо, что ты остановился, я боялся, что так и кончишься с этим коньяком. Ладно, теперь успокаивайся, жить-то надо.

Пашко поднял на него глаза:

– А зачем, брат? Зачем мне жить? Я проклял это письмо французское, этот клад, эти деньги. Как я рванул к богатой жизни! Как! Все забыл: тебя, маму, деревню, как будто и не я уже, помнишь? А потом Гуля... Ты знаешь, что я к девкам не особо льнул, так, побаловаться. Я и не знал, что есть любовь. А Гуля – она как приснилась. Сашка, ты счастливый человек, у тебя Аниска, скоро ребеночек родится, будет семья. У меня немного денег осталось, тебе отдам. И карточка тоже, на нее дом купим в деревне, пусть Аниска слух пустит, что отец ей на свадьбу подарил. Будешь ты жить, как человек.

Сашко потянул за рукав:

– А ты как же, брат?

Пашко не ответил. Не станешь ведь брату рассказывать, что пару раз доставал пистолет, уходил в край села, стрелял в воздух, проверял, чтобы осечки не случилось. А себе в сердце выстрелить не смог.

– Нормально, Сашко, ты за меня не переживай.

Вечером позвонила Адия:

– Здравствуй, Пашко. Я тебя не беспокоила, знаю, как тебе тяжело. Наверное, ты хотел бы побывать на могиле Гули, я приеду, вместе сходим. Когда можно?

– Адия, да хоть завтра. И фотографии Гули привези.

Она приехала через два дня, заплакала, но только руку подала для приветствия. В машине достала пакет с фотографиями, но он, не глядя, положил в карман. Поехали на кладбище, по тропинке в снегу дошли до могилы Гули. На холмике земли, укрытом свежим снегом, небольшой камень. Пашко встал на колени и коснулся лицом камня, шепнув заветное имя. Встал, бледный и погасший. Адия сбоку обняла его за плечо:

– Пашко, надо пережить это горе, ради Гули, чтобы она на небесах радовалась за тебя.

Парень повернулся к ней, горько усмехнулся:

– Какие небеса, Адия, она вот тут, полтора метра от меня, а смерть стоит между нами.

Он еще раз поклонился дорогой могиле и первым пошел к выходу. Уже в машине Адия рассказала, что последний звонок Гуля сделала ей, сказала, что Пашко уехал и вне зоны, а в ее

доме какие-то люди ломают двери. Сказала, что телефон полиции занят. Успела крикнуть, что это люди из банка, и сразу кто-то выключил аппарат. Адия взяла Пашко за руку, сжала ее крепко:

– Я сразу поняла, что это твоя месть. И душе Гули легче.

Парень молчал. Все слова казались лишними.

– Я увезу тебя домой, а сама вернусь на кладбище. Пашко, за неделю до свадьбы мой жених разбился на машине.

Ехали молча, каждый думал о своем. Около дома Адия спросила:

– Если нужно, я помогу тебе с продажей драгоценностей. Гуля мне все рассказала, как будто чувствовала.

– Не надо. Их нет. Все, что осталось, отдал хозяевам.

– Хозяевам? Каким?

– Тем, кто зарывал этот проклятый клад. Написал им в Париж, приехали и забрали. И не надо больше об этом, Адия.

Девушка смутилась:

– Прости меня.

– Да ладно. Если мне станет совсем плохо, я тебе позвоню, ты напоминаешь мне Гулю.

Поверь, я понимаю твою горе. Но ты сильная девчонка, выдержишь. Поезжай аккуратно.

Дома радость: Сашко нашел хорошую усадьбу, хозяева уже уехали, цена назначена, ключи у родственников. Зовут Пашко посмотреть дом. Пашко идет, надо же брата поддержать. Дом не старый, рубленый в чашу, обшит тесом, крыт оцинкованным профилем, им же ограда вся обнесена. Во дворе под одной крышей теплая стойка для коровы, пригончик открытый, сарай, баня, колодец.

– Нравится тебе, Аниса? – спросил невестку.

Та заплакала:

– Пашко, родной, да как же не глянутся такому чуду! Ты погляди, чего в доме только нет. Кухня большая, плита газовая и с электрой, а через коридор горница, да спальня, да для ребенков комната. Жить и радоваться!

Брату сказал:

– Сегодня же съезжу в район, деньги сниму. Не рядись, не унижайся. Сколь запросили, столь и отдай. Документы все оформи, как следует. Я Гошу попрошу грузовик завести, привезем вам мебель, а то ведь и сесть не на что.

Со двора хозяйственного магазина «Все для вас» положили в кузов простенькие комплекты кухонной и гостиной мебели, холодильник, телевизор, тарелку антенную, ковры, рулоны паласов для пола, даже люстры. Приехали под вечер, загнали машину в ограду, все разгрузили.

– Это мне на неделю работы, – сокрушался и радовался Сашко. А Аниса не успевала слезы вытирать. Пашко дал ей денег и на другой день отправил с Гошей на легковушке закупить посуду. Среди дня позвонил Гоше:

– Как вы там?

Гоша заорал, можно было без телефона услышать:

– Ты кого со мной отправил? Она загрузила «жучку», что самой сесть некуда, говорит, автобусом поеду.

Пашко засмеялся:

– Что ты хочешь, Гоша, если мы слаще морковки ничего не ели? Вези и Аниску домой, она на сносях, по автобусам-то толкаться.

Параня с Гараней, обе в положении, пришли, все вместе побелили стены, вымыли потолки. Пашко помогал собрать и расставить мебель, повесил люстры, ковры на стены укрепили, и паласы на пол раскинули. Аниса как будто ждала этого момента, заявила:

– Все, муж мой любимый, вези меня в роддом.

Вечером Сашко прибежал в котельную:

– Братка, девочку родила Аниска, все благополучно. Порадуйся за меня, ты за последние дни не улыбнулся ни разу.

Пашко обнял брата и вытер ненужную слезу.

Через неделю привезли мамашу с дочкой, сестры с мужьями пришли, на ребенка мать дивиться не давала, чтобы не сглазили, сели за стол.

– Дочку-то как называли, родители? – спросила Параня.

Аниса поглядела на мужа, Сашко встал с рюмкой:

– Брат мой, если ты не против, назовем дочку Гулей.

Пашко как током пронзило, он вскочил, замотал головой, замычал невнятно:

– Не-е-е-т! Никогда! Слышите, никогда!

И выскочил из дома. Сашко кинулся за ним, догнал в воротах:

– Брат, прости, мы же хотели, как лучше.

Пашко уперся головой в ворота, его трясло и мутило:

– Пальтишко мне принеси, я домой уйду.

Сашко принес пальто и шапку.

– Не обижайся, Санька, не смогу я слышать это имя. И на счастье твое смотреть не могу. Пойду домой. А вы живите счастливо, раз вам с Аниской так повезло. И не ходи ко мне пока, не звони. Все, пошел я.

Весна за несколько дней согнала снег, с Горы мутными потоками в Кизиловку и Сухарюшку неслись талые воды. Зазеленела на склоне Горы пахота на матерном слове, словно кто краской буквы вывел. Подперло изнутри и подняло лед на старицах. Только не гудят тракторы, не тащат на поля сцепами во всю ширину улицы бороны, культиваторы и сеялки. И грузовики не везут со склада семена для раннего сева. Но мимо села проскользнули несколько иностранных агрегатов, которые и боронят, и сеют и одновременно удобрения вносят. Это хозяин большого молочного комплекса договорился с главой района и взял бывшие колхозные земли в аренду чуть не на полвека. Когда его люди приехали оформлять договора на аренду земельных паев, чуть восстание не случилось, потому что пишут оплату за аренду пая в четырнадцать гектаров – три центнера зерна, даже не указывая, какого. Поднялся шум, но приехал районный глава и сказал, что земля вообще станет бросовой, если будете выпендриваться, потому что свободных земель в районе полно. Выпендриваться перестали, хотя понимали, что их просто используют.

Весна буйствовала на лугах, где раньше травы стояли чуть не в рост человека, косилками выстригали все, стога ставили рядами, как на параде, приговаривал тогда еще молодой Архип–Знаменосец. Нынче травы не косят, нет в деревне фермы, редкая коровка подаст голос утром на чьем-то подворье.

Птицы нагрянули с южных голодных краев, все болотинки, все старицы накрыли утки, гуси, лебеди. Малая пташка вернулась к родному гнезду, скворец, ласточка. Все к жизни, все в радость.

Пашко постарел за это время. Какой год он пережил, страшно подумать. И лихорадку эту золотую, и порыв к богатой роскошной жизни, и зарождение в душе самолюбия и собственника, а потом убийство, вспыхнувшая сердечным жаром любовь, смерть Гули и страшная месть за ее гибель. Приезжал Виктор Иванович, не как следователь, чисто по-человечески. Сказал, что дело по убийству Гули Касеновой зависло, никаких следов, никаких свидетелей. Областники с убийством банкира тоже в тупике, ничего не могут найти, кроме снайперской винтовки в соседнем доме. Соседи помогли составить фоторобот, но это ничего не дало.

– Зачем ты мне это рассказываешь? – спросил Пашко.

– Думаю, тебе это интересно, – ответил Виктор Иванович.

Пашко помолчал, потом сказал:

– Теперь уже мне ничто не интересно. Живу, как во сне.

– Женится тебе надо, Павел, семья, дети – это лечит.

Пашко улыбнулся:

– Ты меня первый раз полным именем назвал, даже не сразу понял, что это я. Жениться? Как, если она всегда рядом со мной? Я с ума сойти боюсь, и нет мне выхода.

– В церковь не ходишь?

– Нет. Да и за мусульманку как молиться? Я и за себя не умею. Нет, не пойду.

Виктор Иванович встал:

– Прощай, Пашко. Меня в область переводят. Хорошо, что я тебя тогда не посадил, не стал рыть под золото. Правда, не за спасибо, но те деньги были у тебя не последние. Прощай.

Пашко тоже встал и пошел в свою мастерскую, оборудовал дома хорошую столярку в горнице, детскую мебель стал делать. Кроватки двум племянникам и племяннице, столы и стульчики, игрушки деревянные. Приезжала Адия, весь день провела в его мастерской, приготовила вкусное мясо, вместе посидели за новым самодельным столом на крепких табуретках. К вечеру собралась ехать, Пашко вышел проводить. У машины остановились:

– Паша, можно, я к тебе еще приеду?

– Можно.

– Ты ничего больше не хочешь мне сказать?

– Пока ничего.

Машина пошла тихо, потому что три мамы с колясками шли впереди. Пашко подождал, пошел навстречу, и только Аниса заметила, как потеплели всегда потухшие его глаза.

Над деревней собиралась гроза, мамы, показав своих малышей, покатали по домам. Пашко остался на дворе. Он любил грозу, и она показала себя во всю мощь. Молнии ударили в землю, и она содрогалась, а громы разрывались прямо над головой, даже уши глохли. Пашко ждал ливня, и он хлестанул, выплескивая широкие потоки воды, купая и омывая одинокого человека посреди большой жизни.

-0-0-0-

